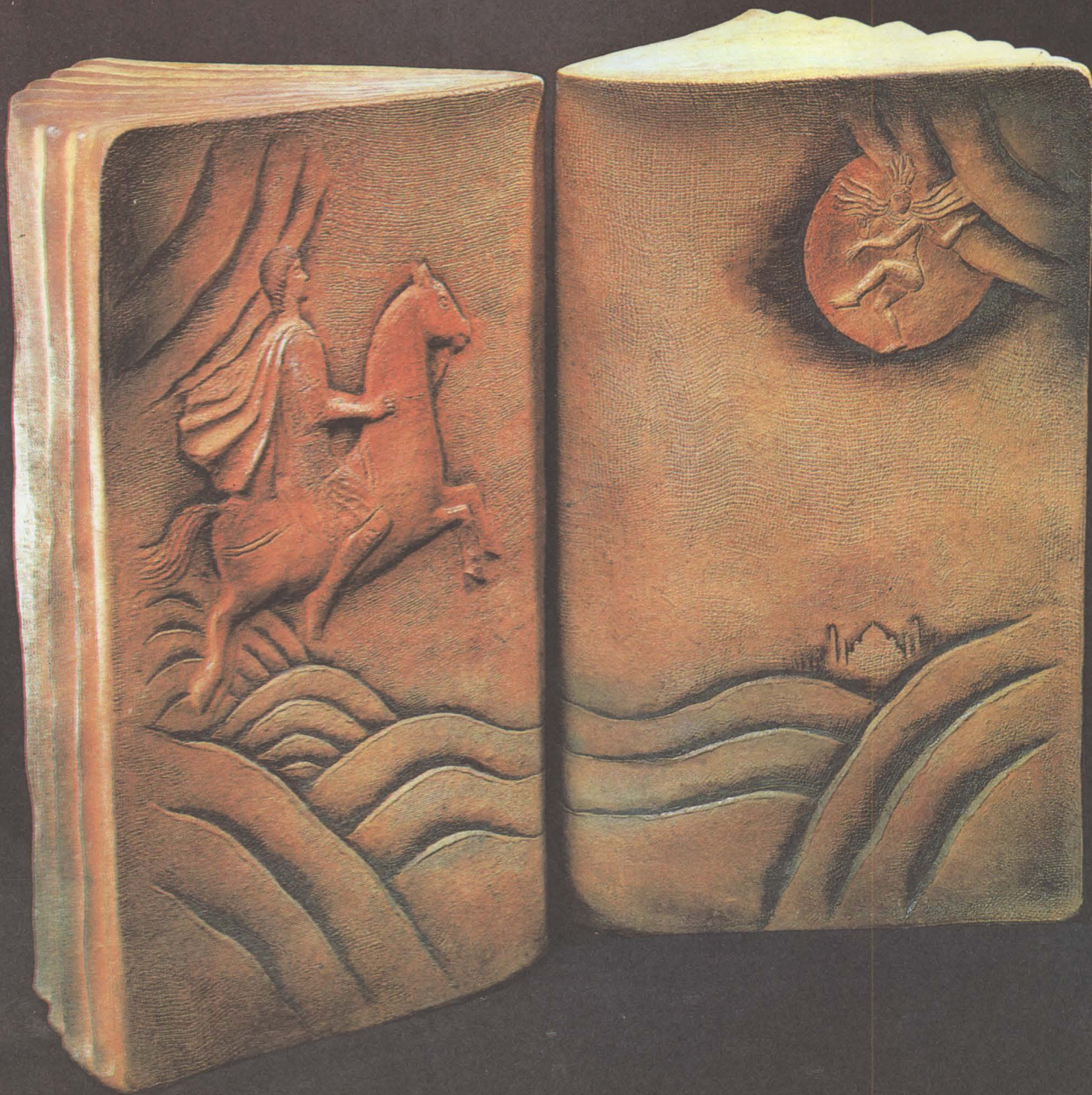


ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

8 '87





В. МАЛОЛЕТКОВ. Две культуры. Керамика.
См. третью стр. обложки.

ЮНОСТЬ

8⁽³⁸⁷⁾

'87



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955 ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного редактора)
Мария ОЗЕРОВА
Виктор РОЗОВ
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Евгений СИДОРОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство ЦК КПСС «Правда»
Москва



Фото для комнаты 20

Павел КАСИН
Из серии «Перекресток»



в следующем
номере:



Сатирическая притча
ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА «Кролики и удавы».



«Листки из дневника»
АННЫ АХМАТОВОЙ



Стихи и проза
ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА



Новый рассказ
ВЛАДИМИРА КУРНОСЕНКО



Монолог кинорежиссера
ЮРИЯ ИЛЬЕНКО
«Плата за компромисс».



Публицистические размышления
ГЕЛИЯ РЯБОВА
о работе милиции.



Восьмое заседание
«20-й КОМНАТЫ»





1. Новая рубрика:

«Перестройка — что я могу?»

2. Поэт Александр Ткаченко:

«Неформалы» — кто они?».

Новая поэма о молодежи «Круги своя».

3. Как прожить втроем на 19 рублей?

Студенческая семья хочет работать.

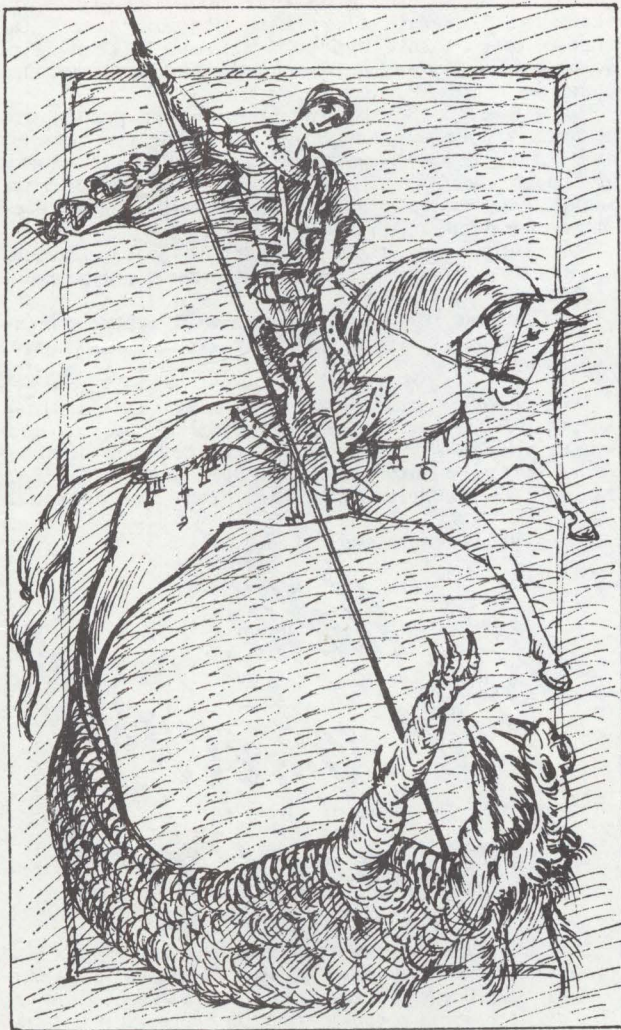
4. Он подражал Пресли, битлам, но сумел остаться собой и потом подражали ему.

Александр Градский в иллюстрированной истории рока.

5. 20 вопросов — 1000 ответов.

Начинаем печатать исповедь поколения.

Начиная жизнь заново



Мне двадцать пять лет. А значит, вся моя жизнь прошла в «болотные года», так я их называю для себя.

Я боюсь, что мне приснились последние два года. Но даже днем я боюсь, и этот дневной страх — главный: боюсь, что жизнь пробурлит, как вода, в которую бросили щепотку соды, да и затихнет. А там и тина болотная, и камыш потянется, и вновь все вернется «на круги своя»...

Я не виноват в своих страхах. Вся моя жизнь, вся жизнь родившихся в начале шестидесятых прошла в спертой атмосфере накуренной комнаты. Неважно, что курили фимиами, а не табак. Сладкий розовый дым восхвалений так же ядовит, как и никотин. И тот и другой вытесняют живой кислород, сознание постепенно притупляется.

Я говорю от лица своего поколения, потому что считаю себя его неотъемлемой частью. После восьмилетки пошел в профтехучилище. Нет, не думайте, что попал в ПТУ в порядке отсева. Я учился хорошо и в училище пошел потому, что стремился скорее встать на ноги. Потом работал на стройке. Наша бригада поднимала новый жилой массив на окраине Череповца. Потом служил в армии. Был зенитчиком. Куда направили, туда и пошел. Я считаю себя одним из миллионов, с такой же обыкновенной судьбой.

Мы росли в атмосфере броских лозунгов и барабанных рапортов. Я до двадцати лет не подозревал, что у нас есть что-либо плохое. Мы так могучи, что можем повернуть вспять или еще в какую сторону северные реки. И вдруг нам говорят, что многое из этих гигантских проектов не нужно нам вовсе, иное раздуть, а кое-что и вовсе существует только в победных докладах наверх.

Я считаю: мы — потерянное поколение. Мы потеряли нечто такое, что придется долго и тяжело наверстывать. Мы потеряли веру во многие хорошие вещи: справедливость, добро, равенство всех перед законом. Мы разделились на тех, у кого «предки» «работяги» и у кого «шишки». Я, конечно, утрирую. Было много исключений. Но самое страшное как раз в том, что светлые примеры стали всего лишь «исключениями».

Кому выгодно умолчание истории либо приукрашение ее? Наше поколение знает о культе только по сухим строчкам официального постановления. Не

случайно поэтому сплошь и рядом видишь портреты «отца нации», «вождя», приклеенные к ветровым стеклам автомобилей. Не случайна тоска по прошлому, сквозящая в разговорах некоторых... Конечно, когда не можешь умом и талантом избавиться от недостатков, легче всего призвать на помощь железный кулак диктатора. Да только бывало так, что завтра ты сам оказываешься под этим кулаком.

Мы поколение некультурных. Не «невоспитанных», а именно некультурных. Нас тщательно оберегали от так называемых «застойных явлений» в области театра, живописи и литературы. В результате мы выросли на спокойной, сладкой водичке производственных конфликтов, когда ретроград директор не хотел выпускать болты сечением 7 мм, а реформатор главный инженер, рискуя карьерой, добивался их выпуска, за что в конце девятой серии и пересаживался в кресло директора.

А сколько крови было пролито, сколько копий сломано на благодатном музыкальном ринге! «Рагу из синей птицы» так долго и часто жарили, что оно должно было бы вконец обуглиться, — ан нет, жив, курилка!

Нам постоянно твердили, что правда — это самое ценное, что есть на свете. И, видимо, поэтому так берегли ее от нас, что доходила правда до наших ушей в таком изувеченном виде, который вполне можно было принять за ложь. Сейчас на нас обрушился поток правды, и сразу же я слышу крики: товарищи, что вы делаете?! Народ захлебнется, он не готов даже к родничку истины, а вы на него этукую лавину!

Нужны спасательные жилеты недомолвок и инсказаний, нужна постепенность!!! А мне страшно хочется заорать подобным «спасителям»: «Хватит!!! Мы все можем понять! Надоело обо всем узнавать из передач закордонных станций! Говорите нам правду, и тогда не будет нужды тратить деньги на контрпропаганду, ибо той пропаганде никто не будет верить, ее просто не будут слушать!» Уже сейчас, когда журналисты заговорили своим голосом, интерес к всяческим западным «голосам» резко упал.

Нас учили относиться к комсомолу только как к чему-то героическому, окрыленному. И мы честно зубрили количество орденов комсомола, ибо это был часто единственный вопрос, который задавался принимаемому на бюро, в комитете, в райкоме. Комсомол стал стимулом, своего рода трамплином для прыжка в вуз, а кое для кого — бичом, наказующим за грехи. «Не выдать тебе билета!» — кричала «классная» Ваньке Бякину, двоичнику и хулигану, и всем становилось ясно, что Бякин обречен, ибо без билета, как объясняли та же «классная», родители и другие умные люди, дорога только в ПТУ. А вот отличник и пай-мальчик Витя Хорошев первым снял красный галстук и прицепил комсомольский значок. И тех, кто принимал в комсомол, не интересовало, что Витя тайком записывал разговоры ребят о «классной», директоре и завуче школы и под видом «факультатива» оставался после уроков для беседы с теми, кто рекомендовал его. Некомсомолец — это звучит странно... В комсомол вступать и адо, если хочешь поступить в вуз и вообще быть на хорошем счету. Да и то сказать, дяди из райкома тоже ведь люди подневольные, у них тоже план, бумаги, отчеты, рапорты-реляции.

Мы привыкли жить двойной жизнью. Ибо так, в частности, жили наши кумиры. Скажем, в спорте. Мы клеймили профессиональный спорт и гордились тем, что наши чемпионы — любители. Подразумевалось, что они тренируются по 6—7 часов в день до или после рабочей смены либо занятий в вузе. Но каждый видел десятки примеров того, как спортсмены только числились у станка либо за институтской партией и встречались с «коллегам по труду» лишь в день зарплаты.

Нам многозначительно шептали: «Престиж требуется!» Я не против престижа. Но я за престиж правды. Горькая правда — она долговечнее, весомее и надежнее любого, самого сладкого живого престижа. Все видели, что безусые спортсмены-подростки щеголяли

в шикарных одеждах и личных автомобилях. Что ж, они заслужили это своим потом? Но почему же инженер, конструктор, врач перебивались от зарплаты до зарплаты и копили на «Запорожец» десять лет? Карьерные рабочие десятки лет стояли в очереди на квартиру, а молодые рекордсмены меняли апартаменты как несвежие сорочки. Почему те, от кого зависел наш истинный престиж — инженеры, ученые, лучшие рабочие, — должны были в материальном плане жить так же, как любой пьяница-прогульщик, неквалифицированный лодырь и «троечник»-конструктор?

Мы привыкли жить с двумя запасами слов. С одним, законспектированным в толстые тетради, мы ходили на лекции по истмату и диамату, на ленинские зачеты и собрания. А другой использовали во все оставшееся время. И если в одном были слова звучные, красивые, то в другом — неброские, маленькие, но весьма тяжелые и нужные: «блат», «волосатая рука», «фирма», «барыга», «толчок», «дефицит», «протолкнуть», «достать», «фу-у, наше...!!!» (в отношении «шмотья»). Слово «купить» применялось только к спичкам — все остальное «доставалось». Стало предпочтительнее иметь друга официанта, продавца, банщика, чем поэта, инженера, актера.

Вокруг шли разговоры о том, где достать шприц, «колеса» и «травку», и от чего сильнее всего «балдеешь», но печать, ТВ и радио вещали о трагедии наркоманов «там». Подразумевалось, что у нас подобного быть не может. Результат: потеряны сотни и будут потеряны тысячи жизней из-за того, что кто-то боялся, как бы на Западе не ткнули в нас пальцем лишний раз! Да пусть тычут! Каждый такой тычок — удар по ним! По их утверждениям о нашей безгласности. Парадокс: чем правдивее мы, тем молчаливее они. Чем больше мы вскрываем своих язв, тем меньше у них поводов бросить щепотку соли в нашу рану! Наша гласность бьет и по внутренним врагам, и по внешним. Гласность — вот наш золотой запас! Он дороже всего золота Сибири и алмазов Якутии. Ведь «здоровье — дороже всего». А гласность — здоровье общества и гарант развития.

Но я боюсь... Боюсь, что где-то вдруг решат, что остроты и правды сказано уже с лихвой, что «кампания» длится уже сверхдолго... Те, чья молодость пришлась на стык пятидесятых — шестидесятых, знают, как тяжело отвыкать от свежего воздуха распахнутых окон.

Но главное, что я хотел сказать о своих ровесниках: мы поколение, которое начинает жить заново. Мы верим и надеемся.

Алексей НОВИКОВ, внештатный корреспондент газеты «Коммунист».

г. Череповец

Этот монолог, в котором автор взял на себя право вести речь от имени поколения, мы попросили прокомментировать его ровесника, слесаря 2-го Московского механического завода Андрея Алексева. Ему 24 года. Он секретарь комсомольской организации цеха.

Итак, слово оппоненту.

*Нет,
мы не потерянное
поколение!*

Мне понятны боль и гнев Алексея Новикова. Мне столько же лет, сколько и ему. Я даже (с натяжкой, правда) могу понять его пессимизм. Я знаю, что он не одинок в своем мнении. Недавно я слышал

песню одного ленинградского ансамбля, там есть такие строчки: «Мое поколение смотрит вниз, мое поколение боится дня!»

Автор текста, насколько я знаю, нам с Алексеем ровесник.

Мне непонятно только одно. С какой стати они взяли на себя право говорить от имени поколения. Или оно у нас разделилось на несколько (поколений) — пессимисты, оптимисты, еще какие-нибудь — исты?

Нужно в конце концов уяснить, что все мы одно поколение. И я убежден, что наше поколение смотрит вперед, потому что это закономерно. Потому что молодежь (а я причисляю себя к молодежи) всегда смотрит вперед.

Мы, какими бы разными ни были, всегда единое целое — советская молодежь. Это мы тушили бушлатами огонь Чернобыля и с оружием в руках защищали революцию в Афганистане, и в то же время мы сидим на бульварах с длинными волосами, бусами и колокольчиками. Это мы со всех концов страны ехали в Ташкент, чтобы отстроить заново город, разрушенный землетрясением. Мы делаем важные для страны изобретения и в то же время слушаем «хэви металл». Молодежь — это огромный организм, и в нем, как и в любом другом организме, всегда происходят какие-то неполадки. Но важно не только констатировать наличие неполадок, а проанализировать, почему они происходят, искать пути к их устранению.

Алексей говорит о демократии, но сейчас нужно отважно отстаивать демократию, а не бояться того, что «она кончится». Отстаивать своими делами.

Кроме тех, кто «открывает двери в МИДе», существует еще и главный производитель материальных ценностей страны — рабочий класс. Тот класс, который, несмотря на то, что «лучшие рабочие должны были в материальном плане жить так же, как любой пьяница-прогульщик», оставались все тем же — оплотом страны!

Я рабочий. Каждое утро я встаю к станку. Рядом вижу таких же ребят, как и я. Нам всем только перевалило за двадцать. И поверь мне, Алексей, даже в самые тяжелые времена лучшие рабочие оставались лучшими и делали все, что необходимо нам и стране ежедневно.

Сложное время сейчас. Очень сложное. Да и не было в истории нашего государства простых времен. Грехи прошлого — тяжкие грехи, но каяться в грехах все-таки проще, чем их искупать. Вспомним фразу военных лет: «Готов искупить собственной кровью». Да, нам приходится большей частью искупать чужие грехи, но ведь и свои тоже! Ведь в «застойные» годы жили мы, а не кто-то другой.

Я верю в наше поколение. Уверен, что оно не имеет права на брюзжание. И если Алексей Новиков нашел в себе силы написать это письмо, значит, поколение уже не потеряно. Сейчас время действовать. Нам некогда бояться, ведь с трибуны XX съезда ВЛКСМ ясно прозвучали слова М. С. Горбачева о том, что главную роль в перестройке предстоит сыграть нам, молодому поколению. И мы уже действуем: с трудом, но прокладываем путь МЖК, выходим на защиту исторических памятников от произвола некоторых администраторов, даем концерты в фонд пострадавших от стихийных бедствий в Грузии, кардинально меняем всю сферу досуга, пробивая дорогу всему новому, работаем на комсомольских стройках, а на своем рабочем месте повышаем производительность труда, стараемся работать так, чтобы перестройка действительно стала реальностью. Мое поколение не «потерялось». Мое поколение действует!

Андрей АЛЕКСЕЕВ, рабочий.

Монолог поэта

Александр
ТКАЧЕНКО

КРУГИ СВОЯ...

1.

Я был стилигой. Рядом старший брат.
С рентгеновских снимков являлся нам Пресли.
Затем в полутемных дворах
я слушал Высоцкого песни...
Далее — твистовал, шейковал, хипповал,
ходил по асфальту неспешному.
Потом, когда Леннона убили наповал,
я понял, что внешнее и есть только внешнее
и убивают не за это...
Что культ создают не служители культа,
а те, кому он прикрытием служит.
Для каждого в мире отлита пуля или пулька,
но она лежит до востребования...
Человек — это род оружия!
Но как смотрят другие на нас!
Совсем недавно я подстригся под полубокс.
«Хэви-металл, отец, ты хоть

и сохранился класс,
но в лице твоём поорудовал кистью И. Босх...»,
Вот так —
поколение помнит поколение Гомера и Гераклита,
но проблемы 20-летней давности знать не хочет.
Конечно, там история. Литература.

Все шито-крыто,
а здесь — болит и о жизни новой хлопочет...
Да, скучно не жил я,
хотел, как и все, интереснее,
но ни во мне, ни в моих друзьях
не было и капли агрессии!
Но, может быть, рокеры, панки,
люберы и металлисты —
это и есть только внешнее?
Раньше были хулиганы и хулиганки,
а сейчас — влияние буржуазии, запада лешее...
Но — стенка на стенку,
но — слободка на слободку?
Камни в снежках и в кулаках...
Это не наше тоже?
Не надо! Сейчас вместе с водкой
нужно уничтожить стерильность

и наших дорог, и дорожек!

2.

Люберы побили брэйкеров.
«Что бы это значило? —
думает В. Маяковский. —
Пойду к В. Хлебникову...
— Это наши будетляне, —
отвечает В. Хлебников, —
Люберы — любят эры или это —
любимцы эры,
а брэйкеры — это брэк эрам,
когда они сходятся в клинче...»
Да, и великие ошибаются, думает В. Маяковский.
Иной теоретик был бы точнее в определении —
брожение в смутной форме спартаковцев,
люберов, панков, металлистов и рокеров,
а дальше...
Ф. Достоевский мучился этим.

3.

Я люблю, когда в роке рокируются ноги.
«Снова в черном» выходят на марш.
Танец танцем. Но цепи, их вес —
Тянет память на рокот кандалный.
Ненавижу их лязг, ненавижу их блеск,
Даже если они безобидно скандалят.
«Снова в черном» выходят на марш.
Ну, а наши стесняются в красном.

Почему запрещал бюрократище наш
Им выплескивать в улицах краски?
Нет, не шью я политику музыке,
А вот музыка шьется к политике.
И в готическом шрифте, и в чужом языке
Я готов не заметить отличающей линии,
Но зачем «Снова в черном» выходят на марш?
И зачем их ведут по обратной дороге?
Распеваётся рок, распеваётся фальшь...
Я люблю, когда в брейке разбегаются ноги.

4.

Раньше — стада хиппи. Лежебоки.
Мухи в пробирке. Ленивые боги.
Идут на тебя Олени... Проходят, следа не оставив.
Племя безмолвия. Ни кино. Ни книг.
Бескрылая стая.
Музыка. «По следам Посейдона».
Но все это — по следам.
А сейчас, когда корабли тонут,
руки их рвутся помочь слезам!
Вся наша борьба
за раскрепощение личности.
Я душу отдам с головой
за эту свободу.
Россия, твоя судьба —
быть судьбою свободы мировой!
Но вы, идущие,
не принимающие другое,
вы и убьете,
потому что другие
не такие, как вы...
Стада...
Уже однажды родина Гете
вскормила в себе
это чувство... Да...
Но родина Пушкина
на это не имеет права
никогда!

5.

«Наивным кажется старик
в кроссовках фирмы «Найк»,
О чем презренный говорит
среди всемирных драк?
Эфир вибрирует, дрожа,
все о войне, о крахе,
вот и живем на острие, дыша,
находим выход в «колесе» и драке.
А где вы сами были,
отцы послевоенные, увы,
порой такую чушь лепили,
что не хотелось быть, как вы.
За ваши правды две
и получайте нас такими —
с неразберихой в голове
и сделайте иными...»

6.

Я знаю, все пройдет,
пройдет и это,
ведь проходило и не такое,
Я знаю, час пробьет,
и мальчики поймут
и страшно захотят
и воли и покоя...
И их играющая сила
сорвет все знаки скудного различия,
поймет, что только настоящее красиво
и в счетах меж собою главное —
ничья.
Напыщенная детвора,
пора
искать не нянек,
а быть собой...
Да, силу исповедуйте,
но не насилие и ненависть —
любовь!
Не будьте теми, кто отливают пока что
как бы играючи... пульки,

Они отяжелеют,
когда их вложат в дула,
как в дикие заброшенные ульи.
И помните, что человек — это род оружия
И что Высоцкий погиб на фронте
Гражданской войны

против бесчувствия и равнодушия!

7.

А эти мальчики и девочки,
они не проходили практику
на улицах Чикаго и Нью-Йорка
и не стояли на углах Парижа.
...Когда-то нам и хлебной корки
хватало, чтобы выжить,
а им для жизни оказалось больше надо..
И сколько раз они просили у каждого из нас —
и мы давали, но, видимо, как подавание,
не замечая юношеских трансов.

Не удивляйтесь, почему теперь

берут у иностранцев!

Я их не ограничил бы моей страной, —
Повез, чтобы они воочию
увидели голодных пацанов

на улицах Ханоя.

Повез еще туда бы, где древен мир, как быт.
Чтобы они воистину узнали,
как это страшно —
настоящей проституткой быть!

Сейчас нет ран немировых,
они кровоточат на стартовых и танцплощадках
и рвут на части небосвод нещадно...

Я б их повез туда не в качестве туристов.

Они все правильно поймут,

когда увидят истинных неофашистов.

Мы столько судеб за независимость отдали,
что видеть вправе смысл другой в металле,
ибо —

**ЕСЛИ ЗВЕЗДУ РАСПЛАСТАТЬ
ПОД КОЛЕСАМИ ПОЕЗДА
ОНА ТАК И ОСТАНЕТСЯ
ЗВЕЗДОЙ!**

Это все понимают. Но каждый —

своим опытом и душою.

И это их право.

Проверим.

Проверим судьбою большою.

Март 1987 г.



Пять лет из жизни Виктории и Бориса



Наша семья уникальна.

Одновременно муж поступил в МГУ, сын — в ПТУ, а я перешла на нелегальное положение.

Мужа и сына на время учебы прописали в разных общежитиях, меня — в деревне, за 100 километров от Москвы...

Сын прописан бесплатно, муж из каждой стипендии отдает 3 руб. 70 коп., я ежемесячно высылаю за прописку в соседнюю область 10 рублей, а живем в Москве — в квартире, за которую платим 80.

$3,70 + 10 + 80 = 93$ рубля 70 копеек.

Откуда их взять, если стипендия одного 55 рублей, двум другим работать запрещено: одному из-за несовершенноголетия, а мне из-за отсутствия прописки.

А ведь какие были планы! Двое учатся на дневном, подрабатывают вечером, а одна работает днем, учится вечером. Даже прописаться на время учебы есть где: в Москве у мужа — мама, папа, брат, бабушка, тетка и пр. и пр.

Но не тут-то было.

В юридических консультациях ухмылялись; в отделах по трудоустройству, едва вникнув в суть дела, вышибали; свекровь, попытавшуюся временно меня прописать, в Центральном паспортном столе высмеяли.

В ректорате родного вуза мужу объяснили, что любовь надо испытывать временем и расстоянием, а замдекана поделился опытом собирания бутылок в студенческие годы.

Мы приехали в Москву с БАМа. Мы строили магистраль, а бутылки собирать не обучены. У каждого есть две руки, две ноги и голова — стали искать другие выходы. Сын время от времени подрабатывал на фасовке мороженого. Муж устроился ночным сторожем на 70 руб.

Итого: $55 + 70 = 93,70 = 31$ руб. 30 коп.

Если вычесть еще два проездных — остается 19 рублей 30 копеек. Вы когда-нибудь жили втроем на такие деньги?

Конечно, родители мужа помогали нам. Но мы, взрослые люди, постарались решить эту проблему сами.

Казалось бы, хочешь работать — работай. Конституция обеспечивает право на труд. Но попробуйте устроиться на работу, если вы студент дневного отделения. Сначала предстоит, униженно кланяясь, каждые полгода выпрашивать справку для этой самой работы в деканате (трудовую книжку изымут в первые дни обучения в деканате же), потом придется обивать пороги отделов по трудоустройству и т. д. и т. п. Недавно «Московский комсомолец» опубликовал телефоны организаций, жаждущих заполучить студентов во дворники. Но по этим телефонам отвечают: редакция дала вам телефон, так пусть она вас работой и обеспечивает. И всем в принципе плевать на ваши слова: «Я хочу работать!»

Противники вахтового метода освоения Тюменского Севера (кстати, я там проработала в свое время три года), ссылаясь на то, что двухнедельные отлучки главы семейства разрушат семью вахтовика, приводят статистику разводов в семьях моряков дальнего плавания. Нам же люди, занимающие важные посты, приводят в пример именно моряков дальнего плавания. Однако наша семейка та еще! Мы в это плавание отправляться не пожелали. Вспомнили некоторые высказывания Бестужева-Лады и стали выгребать к берегу, держась друг за друга. Нас трое.

Выгребли. Обсохли. И стали жить дальше.

Думаете, однокурники мужа не знали о наших бедах? Знали. В группе есть еще один такой. Только он «моряк»: жена и дочь — в Магадане, он — в Москве. Тоже пятый год. И ни комитету комсомола, ни профкому дела нет.

Были мы и в парткоме. На этот раз вдвоем. Нашлась работа для меня, надо было ходатайство от факультета. Парторг мило развел руками — прописки нет, он ходатайствовать как законопослушный гражданин не может. И опять «морские рассказы».

С тех пор мы и откатнулись от всех инстанций. Условия, в которые мы поставлены, далеко не способствуют укреплению семьи вообще, а нравственности — тем более. Помните? Недавно по Центральному телевидению была передача, в которой специалисты-философы спрашивали молодых людей, что такое человеческое достоинство. Один «случайно проходивший мимо» комсомольский работник философского факультета МГУ начал усиленно вспоминать, что же по этому поводу говорил Кант.

Я не знаю, что по этому поводу говорил Кант, зато я знаю, что такое человеческое достоинство.

Те, кто по долгу службы обязан решать проблему студенческой и аспирантской семьи, забывают, что студентами и аспирантами становятся молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Судят о студентах по собственным детям и детям своих знакомых, такими проблемами не обремененным. Видимо, забыли, что московские вузы предназначены не только для «позвоночников» и москвичей. Многие профессии можно получить только на дневных отделениях московских вузов, будучи именно в том возрасте, когда нормальному человеку почему-то свойственно создавать первичную ячейку государства.

Именно иногородние, честно поступившие в московский вуз, но уже имеющие семью или создавшие ее во время учебы (женившись при этом не на прописке, а на человеке), попадают под тот же пресс, что и мы. Нужно обладать очень большой силой духа, очень верить друг другу, чтобы не сломаться, не потерять то, что у тебя есть. Семья с небольшим стажем в таких условиях обречена. Особенно если учесть, что обычно в таких семьях учатся «на медные деньги».

Между прочим, социологи считают, что семейные студенты более ответственно относятся к занятиям (только неизвестно, каких семейных студентов они интервьюировали — тех, что учатся вместе, или тех, из которых один студент, а другой бесправный иногородний).

Теперь допустим, что в нашей ситуации студенту-дипломнику по объективным данным может быть рекомендована аспирантура. Так вот ему-то как раз она и не светит. Для поступления в аспирантуру требуется обязательное участие в общественной работе. Может ли идти о ней речь, когда не знаешь, как свети концы с концами?

Однажды мужу пришлось работать одновременно в трех местах. При существовавшей дисциплине труда он ухитрился в течение суток находиться на работе в среднем 35 часов, из них — 5 часов на занятиях. С пороком сердца он работал ночным грузчиком. И при этом ему деликатно объясняли, что его проблема — это ЕГО проблема и неэтично взваливать ее на ректора МГУ. (За все существование МГУ из всего количества иногородних студентов и аспирантов было прописано не то 3, не то 4 члена их семей.)

Самое грустное в том, что есть где-то Положение, по которому членов семей студентов и аспирантов положено прописывать временно на любой площади (что и делает Министерство обороны для своих курсантов и адъюнктов). Только где его найти, это Положение?

Быть может, Минвуз СССР слышал об этом Положении? В канцелярии министерства мне ответили следующее: «Положение такое существует, но если его пустить в ход, то администрация вузов будет поставлена в затруднительное положение. Поэтому номер его даже вам не скажем...»

И кто из студентов и аспирантов рискнет потребовать прописки для жены или мужа! Это игра на вылет. А вылетать неохота. Тем более что тебе в лицо цинично заявляют — или учиться, или жениться, далее следует рассказ о написании диссертации на табуретке в коммунальной кухне.

Знаю, как выходят из положения некоторые аспиранты. Бросить в них камень не поднимается рука. Именно их, и без того припертых к стенке, обдирают как липку все кому не лень.

Если вы каким-то чудом вымолите в деканате справку для бюро обмена о том, что вам необходимо снять жилплощадь, не спешите радоваться. В бюро, убедившись, что вы женаты, потребуют справку с места работы по месту жительства вашей жены.

Я не хочу, чтобы помогли только нашей семье. Я хочу, чтобы наконец эта проблема была поставлена и решена, иначе грош цена всем этим декларациям о социальной справедливости и активизации человеческого фактора.

У моей свекрови есть соседка. У соседки в отдельной комнате живет «московская сторожевая». Время от времени ее навещает ветеринар.

Я пять лет не была на приеме у врача, а мы хотим иметь ребенка. Мне стыдно, что у породистой собаки в столице моей Родины больше прав, чем у меня, жены студента.

Виктория ГОРДОВИЧ

«20-я комната», обсудив жизнь Виктории и Бориса, сочла, что решение проблемы вызовет следующие позитивные явления:

— среди поступающих в московские вузы увеличится число тех, кто твердо знает, зачем он пришел именно сюда и что и где будет делать потом (стране нужны специалисты-профессионалы, а не любители «повариться в студенческом котле» за счет родителей и государства);

— в Москве появится постоянный резерв рабочих рук из числа временно проживающих членов семей студентов. (А это ведь огромный резерв!);

— будет поднят престиж студенческой семьи, который, в сущности, во многом потерян;

— появится реальная возможность получить образование по ряду специальностей представителям малообеспеченной категории населения.

Иллюстрированная история отечественного рока

Говори!

ГЛАВА ВТОРАЯ¹

Первый рок-клуб, называвшийся по обычаям тех времен бит-клубом, открылся в Москве двадцать лет назад. Горком комсомола (по настоянию столичного общепита) решил взять под контроль пестрый и анархичный мир новых молодежных увлечений. Клубу выделили сначала кафе «Молодежное» на улице Горького, потом — кафе «Синяя птица». Это был скорее центр общения музыкантов и поклонников рока, чем учреждение. В числе членов совета бит-клуба рядом с Игорем Грановым², музыкантами-любителями и штатными комсомольскими работниками мы встречаем Юрия Айзеншпица — представителя тех, кого стали называть менеджерами. Это были люди, которые устраивали концерты, добывали аппаратуру, занимались всякого рода административной деятельностью. Без их организаторских способностей не смогла бы существовать ни одна рок-группа — так же, как Джон Леннон и Пол Маккартни не вышли бы в звезды без Брайана Эпштейна, а Джонни Роттен — без Малькольма Макларена.

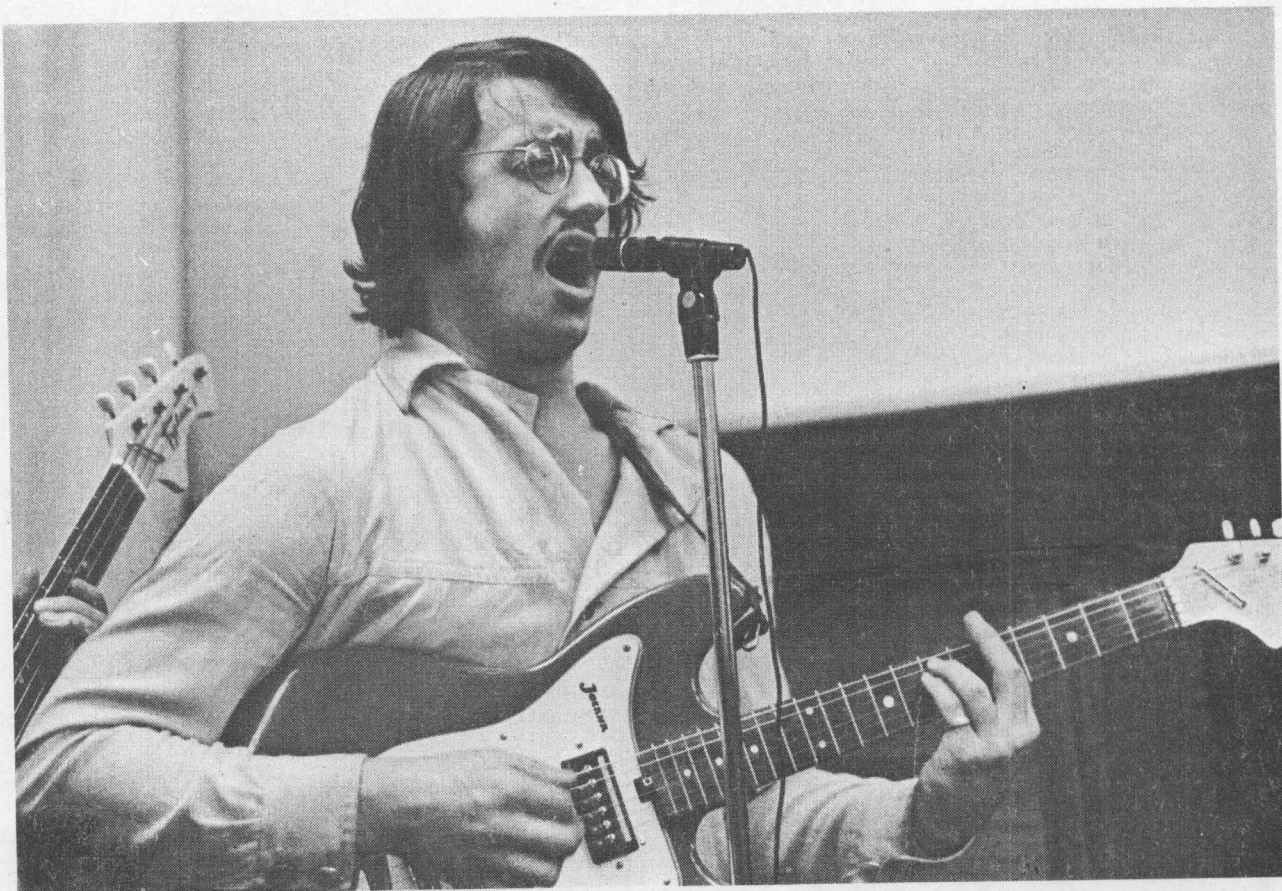
А какой преданности «своей» музыке требовала организация «сэйшенов» в те годы, когда даже джазовую музыку стыдливо называли эстрадной! С какой бы горькой улыбкой мы сейчас ни смотрели на это, но в то время бывало всякое. Вот пример: в ДК «Дукат» выступает группа «Гриффы» и играет чисто инструментальную музыку. Вокальную партию неожиданно исполнил директор клуба: «Прекратите играть антисоветскую музыку!!!» Удивительно то, что директора удалось в течение нескольких минут переубедить, и концерт продолжился.

Хочу познакомить читателей «Иллюстрированной истории» с теми, кто стоял у истоков отечественного рока.

АЛЕКСАНДР ГРАДСКИЙ. Ему было восемь, когда он приехал в Москву из небольшого города Копейска под Челябинском, куда распределили его родителей после института. В Москве он окончил музыкальную школу по классу скрипки. Но на пути будущего скрипача возник Элвис Пресли... Подражая кумиру, Александр зачесывал назад клок волос, как, впрочем, не он один. Затем, с наступлением музыкальной эпохи «Битлз», Саша безнадежно «заразился» их музыкой и стал следовать «битлам» во всем, что только можно было придумать. Он обрезал лацканы своего пиджака, сделав борта округлыми, а непослушный чуб теперь стал зачесывать себе на лоб. Шутки шутками, но на таком наивно-подражательном уровне решалась проблема сценического «имиджа». Эпидемия «битловских» причесок надолго захватила наш ранний отечественный рок, причем дело доходило до курьезов. Например, несколько лет спустя от нее жестоко страдал другой знаменитый поклонник «Битлз» Андрей Макаревич: среди ливерпульской четверки не было курчавых, и, чтобы хоть как-то распрямить волосы и зачесать челку на лоб, он спал в резиновой шапочке не один год.

¹ Начало см. 5-е заседание. «Юность» № 6.

² Основатель одного из первых ВИА «Голубые гитары».



С чего все началось?

В 1963 году Саша Градский случайно оказался на концерте бит-ансамбля польских студентов «Тараканы», обучавшихся в МГУ: это был практически единственный рок-ансамбль в стране, и его выступление настолько потрясло Сашу, что он во что бы то ни стало решил познакомиться с его участниками, втайне имея надежду попробовать свои силы в редкостном музыкальном жанре. Что ему удастся благодаря уникальным природным вокальным данным — сильнейшему голосу диапазоном в три с половиной октавы. С этого времени Градский постоянно участвует в концертах «Тараканов» в качестве солиста, исполняя несколько песен на русском (сенсация!) языке, в том числе и знаменитый тогда твист Арно Бабаджаняна «Лучший город земли».

Год спустя Градский становится еще и солистом одной из первых советских рок-групп — «Славяне», которая пела в основном репертуар «битлов» на английском языке. Он уже окончательно понял, что его призвание — рок-музыка. Градский ушел из десятого класса (экзамены на аттестат зрелости он сдал уже потом, экстерном) и стал работать то лаборантом, то грузчиком — там, где оставалось достаточно времени для занятия любимым делом.

А времени требовалось все больше и больше: в 1966 году Градский принимает участие сразу в четырех ансамблях, совершенно разных по своему характеру, — в «Славянах», в «Скифах», игравших тогда инструментальную рок-музыку, «Лос Панчос» (музыка чисто танцевальная) и, наконец, становится руководителем ансамбля «Скоморохи», оставившего наиболее глубокий след в истории отечественного рока. Он начинает эксперименты с использованием русского фольклора в рок-музыке. Его сочиненная еще в 1965 году песня «Синий лес» сразу выделила Градского на общем фоне нашего раннего рока: наличие юмора, едкой иронии и, наконец, ярко выраженного игрового начала.

Ранние вещи Градского отличали высокая эмоциональность, мощнейшая вокальная экспрессия. Они обрушивались на слушателей, как настоящий ураган,

прижимали их к креслам и оглушали, как взрывы бомб, — так, что закладывало уши: пионер нашего рока любил назло академичным музыковедам демонстрировать всю мощь своих вокальных данных. Выходя на сцену, Градский не позволял себе — как и не позволяет сейчас — расслабляться: для него никогда не было проходных песен. Он всегда выкладывался в полную силу, не щадя ни себя, ни зрителя, заставляя его также сопереживать с полной отдачей, — в этом он сближается с такими рок-звездами конца 60-х, как Джимми Хендрикс и Дженис Джоплин. Он никогда не исполнял одну и ту же песню совершенно одинаково — всегда экспериментировал, как со словами, так и с голосом и с мелодикой песен.

В 1969 году Градский поступает учиться на вокальный факультет знаменитого училища им. Гнесиных, одного из лучших музыкальных институтов страны.

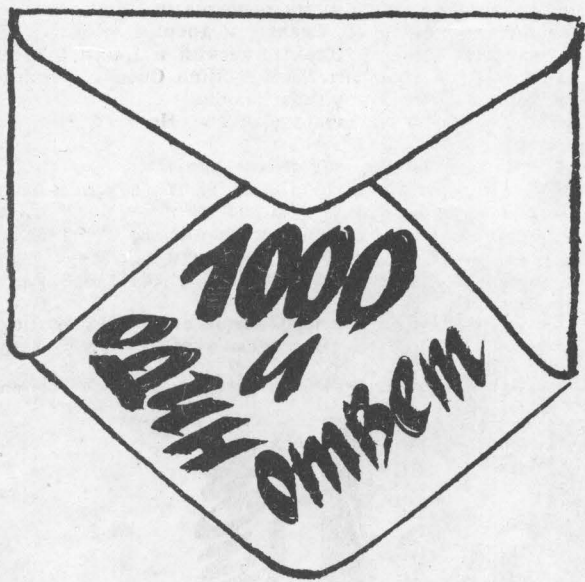
Самый большой расцвет «Скоморохов» как рок-группы приходится уже на начало 70-х годов. В 1971 году на Всесоюзном фестивале «Серебряные струны» в Горьком «Скоморохи» произвели подлинный фурор и завоевали шесть первых призов из восьми, при этом три из них — за гитару, вокал и композицию — получил сам Градский. Впрочем, «Скоморохи» были сильны не только Градским — в разное время в этом великолепном ансамбле играли такие талантливые рок-музыканты, как Александр Буйнов, Александр Лерман, Юрий Фокин (первый барабанщик «Машины Времени»), Юрий Шахназаров (основатель «Аракса»), Владимир Полонский, Игорь Саульский, и др.

Наконец, в начале 70-х годов в своем цикле композиций на стихи Бернса и Шекспира Градский специально использовал различные музыкальные направления рок-музыки — от блюза до рок-н-ролла, создав тем самым своего рода энциклопедию рок-стилей. Но это уже следующая глава...

СИМ РОКОТОВ

(Продолжение следует.)

20 вопросов в 20-й комнате



«Друг наш, спасибо за твою искренность и доверие», — так думали мы, читая ответы на 20 вопросов, опубликованных в майском номере «Юности». Очень личных вопросов. И, судя по сотням писем, очень важных для каждого. Мы подробно расскажем об этой удивительной искренней почте. А сегодня публикуем одно письмо из тысячи. Почему именно его? Потому что нам очень хочется помочь человеку...

«Сегодня мне 18 лет, а я чувствую себя мертвой. Мертвой оттого, что у меня нет друзей, нет друзей, к которым можно прийти и сказать: «Мне плохо. Помогите!» Мертвой оттого, что нет любимого человека, который бы сказал: «Драгоценная моя женщина».

В 14 лет я стала «хайлафисткой». Никогда я не выглядела на свои года, и поэтому в то время мне давали лет 16.

Я была «солидной девочкой», как говорили у наших.

Каждый вечер выкуривала треть «Мальборо» (треть сигареты, конечно), вела беседы о моде, слушала последние записи, принимала изысканные комплименты от молодых людей с накачанными мышцами и руками, на которых невозможно было представить мозоли. Юношей, которые не могли отжаться энное количество раз, у нас не принимали. От девушки требовалось: красота, ухоженность, интеллект, обаяние, очарование, умение быть звездой-загадкой, умение быть сумасшедшей. От юноши: красота, сила, мужество, ухоженность, интеллект, здравый смысл. Вот и все.

Мне казалось, что именно здесь и могла найти человека, достойного любви.

Я нашла его. Он был мечтой почти всех наших девочек, а я, как оказалось, была его мечтой. Мне было тогда 16.

Мы стали встречаться даже днем, что для наших было большой неожиданностью, т. к. мы были «ночными бабочками».

Летом мы поехали с ним по Прибалтике. Это было самое счастливое время в моей жизни. Я была наверху блаженства. Он водил меня по шикарным ресторонам.

Когда мы вернулись, я услышала примерно такой разговор между моим парнем и еще другим:

— Ты взял ее? — спрашивал он с таким видом, как будто я вещь.

— У меня с ней другие отношения.

— Какие могут быть другие отношения? Балдеешь от нее, ну и балдей, а что, неужели ручки не потянулись? А может быть, тебе ее не взять?

Дальше я слушать не могла, мне казалось, что это сон, потому что мне не приходило в голову, что я могу быть вещью для кого-то.

В этот же вечер он пришел ко мне. Я до сих пор помню его фразу: «Ты должна быть моей полностью!»

Вот так: четко и просто. Без претензий на сложность выражения.

Не передать, что для меня была эта фраза. Он оглушил меня ею. Я ждала, что сейчас он улыбнется мне своей американизированной улыбкой в 32 зуба (я всегда ее так называла) и скажет что-то вроде этого: «Ты что же, цыпленок, шуток не понимаешь?»

Но он не сказал этого. Сейчас я проклинаю себя за то, что не сказала ему тогда, чтобы он перестал. Он бы понял. Вы не думайте, что он плохой, нет! Но просто я, именно я, не смогла его остановить. Я во всем виновата сама! Только я! Я не знаю, что со мной произошло, но я сказала ему «да»!!! Тоже всяма категорично. Раз он хотел этого, я должна была это сделать.

Вы просите писать откровенно. Ну так вот: я была счастлива в ту ночь. Счастлива. Несмотря на то, что меня элементарно предали.

Самое страшное было утром. Я не могла смотреть ни на себя, ни на других.

Потом я избегала его в течение трех месяцев. Я чувствовала, что люблю его, как и прежде, но не могла я ему смотреть в глаза.

Когда же мы с ним встретились, то я сказала, точнее, приказала, меня не искать, я решила уехать. Он сказал, что уедет сам. И уехал.

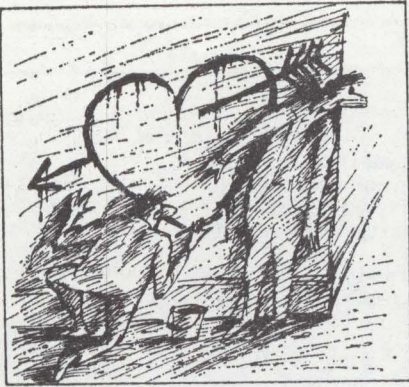
Я не имею ни малейшего представления о том, где он сейчас находится. Его видели в Москве, говорят, он где-то учится. Он написал мне, что просит меня простить его за все, если могу, а также, что он любит меня еще больше. Вы поверьте, что это правда, мне не хочется доставать это письмо, я стараюсь забыть обо всем, но он пишет так, что этому невозможно не поверить. И это правда!

Сейчас я ушла от наших, навещаю их иногда. Теперь я металлистка. Хожу в короткой кожанке, в сверхкороткой кожаной юбке, с ног до головы обвешана цепями, бляхами, с несуразными надписями... Я не даюсь в руки, поэтому я там — лидер. Там не надо знать «Незнакомку» Блока, можно курить «Беломор» и плевать на все нормы морали.

Но я здесь — мертвый человек. Мне надоело жить. Опубликуйте мое письмо! Я умоляю, я требую, прошу! Спасите меня. Верните мне его. Если он узнает, что я его простила, он вернется. Так вот, я его прощаю и умоляю вас, спасите меня.

Юнона М.

г. Ленинград.



Реплика

Улица Любви.

Я люблю свой город. Я живу в нем и вместе с ним. Брожу по его улицам, вглядываясь в старые дома, словно в лица друзей, люблюсь декорами на фасадах и причудливыми чугунными решетками. Мой город — это огромная книга, ее писали красивые, смелые и добрые люди.

Мне странно, что в моем городе есть Электрический и Банный переулки, но нет улицы Любви. Есть проспект Мира, улица Свободы, улица Вешних вод, Сиреневый бульвар, но нет улицы Любви!

Любовь... Мой язык беден, чтобы сказать все о тебе. Но я говорю, потому что не могу иначе.

Любовь! Ты стоишь за моей спиной, давая мне силы.

Я люблю свою Родину, я люблю свой город и хочу, чтобы в нем была улица Любви! Пусть эта улица будет самой красивой — я хочу там жить. Если нельзя изменить какое-нибудь бездушное название, то пусть будет объявлен конкурс на лучший проект этой улицы, а я и мои друзья готовы ее построить. И пусть на улице Любви стоит лучший памятник. Памятник Ромео и Джульетте.

У. СОЛЬМИ, немного художник, отчасти поэт и совсем чуть-чуть музыкант.

г. Москва

«Тайна тайного общества»

Я студентка. Живу на сорок «рэ». Пытаюсь с финансовой стороны зависеть от родителей как можно меньше. Все-таки мне уже девятнадцать. Но сделать это очень трудно. Проездной купишь, пообедаешь в столовой, в кино выберешься — и все... Сорок рублей не бесконечность.

И еще. Передо мной целая стопка членских билетов: ДОСААФ, СДСО «Буревестник», Охраны природы, Охраны памятников, «Красный Крест», даже Всероссийское хоровое общество.

Все эти общества добровольные. Но о какой добровольности может идти речь, если в эти общества включаются все согласно штатным спискам. И попробуй только не уплати!

К тому же — святое дело — надо уплатить комсомольские и профсоюзные взносы плюс взносы ДСО «Спартак», членом которого я действительно являюсь. Да, еще я член научно-технического общества на факультете. В последних организациях я активно работаю. А что касается тех, что перечислены выше...

Для меня это какие-то тайные общества. Думаю, что для большинства студентов и сотрудников тоже.

Неизвестно, кто руководит этими обществами. Чем они занимаются, можно догадаться только из названия «корочек» и марок. Вызывает недоумение только надпись на обложке: «Добровольное». Короче, происходит массовый сбор денег. Мы приходим в ужас: доходят слухи, что необходимо вступить в общества борьбы за трезвость и книголюбов!

В чем же виноват бедный студент?

Мы ведь никогда не откажем людям, попавшим в беду: собрали и перечислили 200 руб. детям Никарагуа, 120 — на восстановление после стихии в Грузии. Это мы делали сознательно! Инициатива — от комитета ВЛКСМ, взносы — только добровольные, кто сколько сможет!

Так зачем нас «доить» еще? Деревья вокруг института мы посадили сами, без помощи «Охраны природы и К».

Если в один прекрасный день мы откажемся делать «добровольные» взносы, вы поддержите нас?

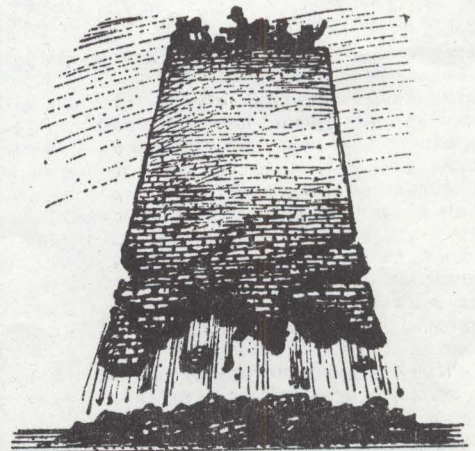
А. Л.

г. Новгород.



«Золотой Эзоп»

У художника «20-й комнаты» Михаила Златковского небольшой юбилей. В свои 42 года он получил 42-ю международную премию — Гран-при Фестиваля сатиры и юмора в Габрово «Золотой Эзоп». Нас особенно порадовало то обстоятельство, что среди пяти работ, над которыми задумчиво улыбалось авторитетное жюри, был и рисунок «Башня», впервые опубликованный в «Юности» (№ 1, 1987 г.). Предоставляя страницы «20-й комнаты» для новых работ Михаила Златковского, желаем ему творческих удач, овеществленных в виде новых призов и премий!





Юлия
ДРУЖИНА

Остров детства

Никитские ворота...
Вновь влечет
Меня в кварталы старые упорно.
Еще он жив —
Мой скромный старичок:
Малюсенький кинотеатр «Повторный».
Когда-то был весьма известен он,
И «вся Москва»
Толпилась в душном зале.
Его шикарно звали «Унион»,
И мы туда с уроков убегали.
Сбежал министр юстиции Кравцов —
В те дни мой одноклассник молчаливый,
Обычный рост, обычное лицо —
Как предсказать
Его судьбу могли вы? —
Борис был самым тихим из ребят,
Казался робким увальнем порою...
В войну огонь он вызвал на себя
И получил юнцом звезду Героя.
А поэтесса Дружина тогда
Считалась в школе попросту тупицей...
Когда б вернуться в школьные года,
Я на отлично стала бы учиться!
...Опять глазам и сердцу горячо,
Вновь слышу пенье пионерских горнов.
Как хорошо,
Что жив мой старичок —
Кинотеатр по имени «Повторный»,
Что милый остров детства не снесли,
Хоть город наш «коробками» усеял.
...Сажусь за руль, рванулись «Жигули»
От памятника Гоголя к бассейну.
(Безлик сей Гоголь...
Прежний * спрятан в дворик.
Кто объяснит: зачем и почему?
Пускай здесь разбирается историк —
Я трансплантаций этих не пойму.
Зачем и Пушкина тревожить было надо? —
Венчал Москву, в раздумья погружен...
Перенесли!..
Теперь перед громадой
Из стали и стекла томится он...)
Бассейн —
Здесь храм Спасителя стоял,
Воздвигнутый еще во время оно
В честь воинов,
В честь тех, кто преподавал
Урок надменному Наполеону.
О, как была оскорблена Расея,
Когда святыню превратили в пшик! —

* Работа скульптора Н. А. Андреева.

Густой туман клубится над бассейном,
А в том тумане кирасира лик...
Опять глазам и сердцу горячо,
Вновь слышу пенье пионерских горнов.
Как хорошо,
Что жив мой старичок —
Малюсенький кинотеатр «Повторный»!

Танцы юности

Пусть парни
Себя украшают металлом —
Цепями, ключами и прочим утилем,
Как раньше себя украшали цветами
Те хиппи, которых мы страстно судили.

А где ж они нынче?
В конторах, на фермах.
Воюют с наследником:
«Слишком патлатый!»
Те старые хиппи забыли, наверно,
Грешки своей юности чудаковатой...

Мне нравится брейк,
Этот бешеный танец! —
Зря лясы и зубы блюстителю точат.
Прикроешь глаза —
И как будто тамтамы
Грохочут тропической знойною ночью.

Мой друг молодой!
Не тушуйся, не мешкай —
Прекрасны неистовой юности танцы!
И смотрят на сверстников
С доброй усмешкой
Пришедшие прямо из боя «афганцы»...

«Афганцы»

Мне мальчики эти, как братья,
Хотя и годятся в сыны.
Пусть я не бывала в Герате,
Они не видали Десны,
Где гибли десантные лодки
И, словно в болезненном сне,
Качались, качались пилотки
На красной соленой волне...

Едва ли сумеют другие,
Не знавшие лика войны,
Понять, что теперь ностальгией
И вы безнадежно больны —
Что будете помнить отныне
Не то, как бросались в штыки,
А то, как делили в пустыне
Воды горьковатой глотки.

В Зарядье, в Кузьминках, на Пресне
Война постучится к вам в дверь,
И, может, покажется пресной
Вам жизнь «на гражданке» теперь.
Забудется ль солнце Герата,
Чужая родная страна?
Острей, чем вода,
Для солдата
Уверенность в друге нужна.

Житейские ссоры-раздоры
Ничтожными кажутся мне...
Грохочут афганские горы,
Пилотки плывут по Десне...

Таинственный мир Яномами

Между Венесуэлой и Бразилией, в недоступных горах Сурукуку, живет индейское племя Яномами.

Из джунглей, закрытых горами,
Из глубы кристальных озер
Таинственный мир Яномами
Мне смуглые руки простер.

Бананы, табак, авокадо,
Сплошные, как стены, дожди.
Здесь племенем правят как надо
Одетые в перья вожди.

Затерянный мир Сурукуку,
Тропический девственный сад...
Мужчины стреляют из лука,
А женщины рыбу коптят.

Здесь святы понятия чести —
Индейцы обетам верны.
Не знают ни лести, ни мести,
Красивы законы войны.

Подумаешь — копья и стрелы!
К тому же в открытом бою...
Когда б они знали про белых,
Что Землю взрывают свою!

Про братьев своих бледнолицых
Им лучше б вовеки не знать...
Сегодня железные птицы
Кружились над сельвой опять.

Тростник, маниока, бататы
Цветы, погруженные в сон...
И недра, на горе, богаты —
Поэтому рай обречен.

Проклятое время сурово —
Прощай, затянувшийся пир!
Бульдозеры с вонью и ревом
Ворвутся в затерянный мир...



Владимир
САВЕЛЬЕВ

☆☆☆

В каком мне зеркале себя увидеть?
Себя, вполне способного обидеть
и защитить родное существо.
Себя — как в дело, верящего в слово.
Себя — и добродушного и злого.
Себя — во всем объеме! — самого.

Какому это зеркалу по глубин
вобрать ту воду, что толку я в ступе?
Вобрать и, ничего не утая,
объять мои ребячливость и зрелость,
принять мои опасливость и смелость
в ряду моих таких различных «я».

В ряду моих и взлетов и падений.
В ряду моих и тайн и откровений,
Какое зеркало вместит подчас,

какой оклад очертит или рама
все, что во мне и прямо и непрямо.
И явно через край. И в самый раз.

Я рвусь вперед. Иду за всеми следом.
По существу являюсь домоседом.
Наведываюсь в дальние края.
Беспечно сплю. Не ведаю покоя.
Да есть ли в мире зеркало такое,
чтоб я в нем отразился — я как я!

☆☆☆

Бог с тобою. Бог со мною.
Бог, обкатанный волною.
Камень — с дыркой сквозною —
талисман, куриный бог.
Книзу скошенный немного.
В каждой крапинке — эпоха.
С детства я не верю в бога —
в утоление всех тревог.

С детства мне тревог хватало:
от свистящего металла
до знобящего подвала...
Впрочем, этот бог не плох.
Коктебельский бог. Нечинный.
Не библейский. Не картинный.
Мирный. Будничный. Куриный.
Так сказать, конкретный бог.

Бог. От всех напастей средство.
В бога я не верю с детства.
Но сумей-ка ты взглядеться
в существо моих дорог:
каждая тобой чревата.
Каждая не без возврата
в мир, где все тобою свято,
видит бог. Куриный бог.

☆☆☆

«Хорошо бы собаку купить»
И. БУНИН

И открытый людских накопление,
и расчет, и святое прозрение
нас влекут невозвратным путем.
И когда-нибудь я да куплю-то
не собаку себе, а компьютер —
мы с ним общий язык обретем.

Душ родство непременно обрящем.
В мире, вечно куда-то спешащем,
вновь и вновь я опять и опять
нажимать стану кнопку за кнопкой —
словно в будничности неторопкой
псине за ухом нежно чесать.

Замерцают приязненно шкалы,
будто верности древней оскалы.
Мой компьютер, мой пес нецепной,
на излете двадцатого века —
пусть он будет, как друг человека,
ни на миг не разлучен со мной.

Пусть он сделает правильный выбор,
потому что всего только кибер
в полушаге стоит от раба.
Пусть одна у нас будет забота.
И квартира одна. И работа.
И в конечном итоге — судьба.

☆☆☆

Ста дорог разматывая ленты
в белый свет — сквозь годы и моменты,
все, что есть вокруг, корреспонденты
пробуют, как на зуб, на строку.
Все, что было. Все, что ждет в грядущем.
Горе не беда им, вездесущим,
любопытным, на ходу жующим,
интервью берущим на бегу.

Помнят их мотели и вокзалы.
 Ценят их газеты и журналы.
 И живут, бессонны и усталы,
 эти остряки и смельчаки.
 Эти вечно баюющие байки
 (под божбу, ан все не без утайки!)
 непоседы, спорщики, всезнайки.
 Правдолюбцы. Лжехолостяки.

Чья судьба их беспокоит? Гласности.
 Без чего им не судьба? Без ясности.
 Что в судьбе подчас у них? Опасности.
 Будни бесприютного житья.
 Зачастую старость в одиночку.
 Вдаль корреспонденты тянут строчку:
 надо ли спешить поставить точку,
 если честно пишется статья?



Лев
ТАРАН

Комиссар

Памяти А. Г. Тарасова

Две подушки в изголовье.
 На губах запекся жар.
 Умирал от белокровья
 бывший красный комиссар.
 Снова он оглох от ляга.
 Снова топот, пыль, огни.
 Где вы, где вы, ночи Спасска?
 Волочаевские дни?
 Где долины те и взгорья?
 Вновь мерещится крыльцо
 и, опухшее от горя,
 бабье жалкое лицо.
 Не жестокость! Просто было
 в те года не до любви.
 Революция трубила
 в горы звонкие свои.
 Вот и все... Расплылись лица,
 и утихли голоса.
 Лишь тачанка мчитса-мчитса —
 все четыре колеса...

Целинная страда

В ночи пробрасывает снег.
 В ночи усталость валит с ног.
 По жёлобу, по жёлобу
 течет зерно тяжелое.

Зерно течет, а снег сечет.
 И времени потерян счет.
 А ночь гудит моторами
 над снежными просторами.

Мы были молоды тогда.
 И шла целинная страда,
 воспетая пинтами
 довольно знаменитыми.

И все-таки легла в строку
 ночная смена на току
 тридцатилетней давности
 во всей своей бесславности.

Настал последний жуткий миг:
 я ослабел совсем и сник,
 и не хватало малости,
 чтоб рухнуть от усталости.

А рядом девушка была
 из вологодского села —
 чудная, синеокая,
 и говорила, окая.

«Пошли!» — и увлекла во тьму —
 к стыду и счастью моему.
 Когда вернулись вместе мы,
 сверкала степь созвездьями.

И заново — в пылу огней —
 я встал, спасенный, рядом с ней.
 И вновь, и вновь по жёлобу
 текло зерно тяжелое.

И много лет прошло с тех пор.
 Но не забыть невинный взор,
 тот — с искорками синими...
 Да вот не помню имени.

И все-таки живая связь
 не пресеклась, отозвалась,
 как чудное мгновение,
 как свет и озарение...

Тихие слова

Все стало прахом: и трава,
 и дождь, метавшийся по крыше,
 и птичий щебет...

и слова —
 твои слова... Кто их услышит?
 Но чудом выжили они
 среди вранья и кривотолков.
 И наши встречи, наши дни
 остались в сердце, не умолкнув.
 И как теперь ни назови
 все это — злесь или печалься,
 а тихие слова любви
 не истощились, не распались.

Сильнее жизни

Заботы и тревоги бытия,
 а не любовь и нежность правят нами...
 Но до сих пор забыть не в силах я
 ту девушку с горящими глазами.
 Она мне говорила, что любовь
 сильнее жизни и светлее света,
 и потому — огонь любви суров...
 О, как я благодарен ей за это!

Она не пожелала мне простить
 пустое увлечение — эку малость! —
 и разорвала нашей дружбы нить,
 и наша жизнь на части разорвалась.
 Свободная от лжи, коварства, зла,
 чиста и благородна, как Джульетта,
 она б на край земли за мной пошла...
 О, как я благодарен ей за это!

Она живет все в том же городке —
 строго, непримирима, одинока.
 И сколько воли в маленькой руке
 однажды я почувствовал жестоко.
 Сказала, щуря карие свои:
 «Всем кажется — моя, мол, песня спета,
 а мне еще тепло от той любви...»
 О, как я благодарен ей за это!

г. Дмитров,
 Московская обл.

Дебют в
«ЮНОСТИ»

Сергей
НИКОЛАЕВ



Интервью с автором

- Сергей, о чем эта повесть?
- О летающем человеке.
- Вы сами летали?
- Я же в предисловии говорю: записки не мои.
- Автор — Зимин, Константин Зимин, бывший учитель из Хлыни.
- Вы просто ходатай?
- Ну, еще неизвестно, что в наше время труднее: написать или напечатать... Писать — это же сплошное удовольствие. А вот обивать пороги редакций — это действительно труд адский, нервный, неблагодарный. Но я его исполнил. Так что, я думаю, Зимин на меня не был бы в обиде.
- А долго вы ходили с повестью по редакциям?
- С лета 1985 года. Два года получается. Но это еще, как говорят, цветочки. У меня скоро выходит книга рассказов, так вот я закончил ее еще до Московской олимпиады...

ЗАПИСКИ АНГЕЛА

Повесть

- Какие же были причины отказов?
- Разные... Говорили, что я подражаю Гофману, Булгакову, Орлову и так далее...
- А как вы сами считаете?
- Понимаете, повесть написана в фантазмагорической традиции с использованием собственных данной традиции приемов. Главное — что за приемами... Но применительно к Зимину мы даже и не имеем права так рассуждать. Потому что ведь он не повесть писал, а письмо к дядюшке-прокурору... Он и не думал ни о каких приемах и публикациях, а просто исповедовался. Но так как он учитель словесности, то его знания и вылезли в стиле. Что же касается главного приема — летающий человек, — так еще надо выяснить: прием ли это? А может, Зимин и вправду летал? Кто знает...
- Вы что же, все-таки допускаете такую вероятность?
- Не знаю, не знаю... Только мне думается, что невозможно найти человека, который бы не летал... Во сне хотя бы... Но объясните мне, почему нам всем это снится? Потому что нам хочется летать? И сон — воплощение наших мечтаний? Нет, видимо, по иной причине. Сны — ведь иногда и воспоминание о том, что когда-то с нами было. И если почти всем без исключения снятся полеты, то, может быть, мы и действительно когда-нибудь летали? А теперь вот спустились на землю, ходим по ней. А Зимину повезло. Хотя повезло ли?
- И последний вопрос. Хлынь — это где?
- Вот этого я вам не скажу. Человек, передавший мне дневники Зимина, все еще живет там. А компания, с которой столкнулся учитель, шутить не любит. Так что я в повести все поменял — имена, названия реки и городка.
- И вы предполагаете, что «мафиози» себя не узнают?
- Узнать-то узнают... Но только, я думаю, признать в том не посмеют. Ведь тайна — одна из форм их существования.
- Зачем же тогда вы публикуете повесть?
- В надежде, что кто-то узнает себя в Зимине... Узнает и устыдится. И если это произойдет, то, значит, еще не все потеряно...

Рисунки
В. Бочкова

Предисловие

Конечно же, вы не поверите, если я скажу, что записки эти сочинены не мной. Слишком много было подобного в прошлом. Иван Петрович Белкин, должно быть, в часы томительного зимнего досуга писал свои прекрасные повести, часть коих после его смерти пошла на оклейку окон, другая же, попав в руки издателей, прославила имя этого загадочного господина. Равнодушный к жизни Печорин предлагал Максиму Максимычу по своему усмотрению распорядиться с собственными дневниками, хотя бы даже и сжечь, а мы до сих пор со сладким трепетом читаем их. И, наконец, уже совсем недавно бедолага Максудов, прежде чем броситься вниз головой с Цепного моста, излил-таки свою боль в странных сочинениях, которые мы и поныне не можем читать без содрогания — такой горячей кровью они написаны. Конечно же, трудно после подобного поверить в истинность еще одних записок, сделанных никому не известным учителем Зиминным. Но верите вы или нет, факт остается фактом — толстая тетрадь, испещренная нервным почерком, лежит у меня на столе, и с неким страхом смотрю я на нее.

Но прежде чем предлагать сами записки, хочу хотя бы в двух словах сказать, как они ко мне попали. Дело было несколько лет назад. Я до сих пор ясно помню, как ехал ночным поездом в Хлынь. К полуночи, когда пассажиры наконец-то утомились, я вынул из кармана письмо от моего старого друга, которого не видел целую вечность, и при тусклом свете ночника вновь и вновь перечитал его.

«Привет, Серега! — писал мой друг. — Мне плохо. Ужасно плохо. Порой мне даже кажется, что я схожу с ума. Ради бога, приезжай. Спаси меня. Только ты — одновременно друг и чужой человек — можешь разрешить мои сомнения. Тем, кто постоянно рядом, я не могу доверить свою тайну. Я не шучу. Все очень серьезно. Жду. Саня».

Странное и тревожное было письмо, и, получив его, я не на шутку обеспокоился и в тот же день отправился в Хлынь. Не стану подробно распространяться, как добирался я до Санино городка. Ночь поездом, потом несколько часов на автобусе среди зеленых полей и лесов. В огромных, словно пруды, лужах проселочной дороги автомобиль наш пробирался порой, как пароход. Через полчаса такого пути меня укачало, и, задремав, я очнулся уже в Хлыни. Широкая площадь открылась моему взгляду, разбитый асфальт, такие же, как на дороге, необозримые лужи, по которым плавали утки, поодаль — покосившиеся телеграфные столбы, провисшие провода. Напротив автобусной остановки увидел я магазин, старухи с пустыми сумками сидели на скамейке, пара подвыпивших мужиков в обнимку под деревом пели не пойми что... Привычная, милая сердцу картина. Выйдя из автобуса, я подошел к старухам и спросил больницу. Старухи наперебой принялись объяснять. Больница оказалась рядом, за парком вековых лип. Вскоре увидел я рубленый трехэтажный дом, старинный, барский, по всей видимости. Резные наличники, карнизы, профили шахматных коней над фронтонами. Теперь уже так не строят. Окна были открыты. Какой-то человек в очках, с бородкой, в белой докторской шапочке высунулся со второго этажа и махал мне рукой. С трудом признал я в сем человеке моего друга. Нетерпеливо поднялся я наверх. С печальной улыбкой, с распахнутыми для объятий руками поджидал меня Саня у дверей своего кабинета. Мы обнялись. С горечью разглядывал я его. Да, постарел, похудел, руки дрожат, в комнате накурено, валидол на столе.

— Что с тобой?

Натужная улыбка исчезла с Санино лица. Ладонями сжал он виски.

Журнальный вариант.



— Беда у меня...
— Да что же? Не тани...
— Больной выбросился с третьего этажа, разбился насмерть.

Тихий ангел, как говорят, пролетел между нами.
— Когда? — спросил я, чтобы только нарушить скорбную тишину.

— Неделью назад... Уже похоронили...

Саня опять замолчал.

— Ну, ну, — подтолкнул я его.

Сбивчиво и взволнованно поведал он вот что... Месяц назад поздно вечером привезла какая-то колхозница на телеге к приемному покою молодого человека. Был он избит, весь в крови и синяках, без сознания. Женщина рассказала, что нашла парня у дороги, в крапиве, едва живого. Сжалившись, она кое-как затащила несчастного в телегу и доставила в больницу. С трудом узнал Саня в пострадавшем местного учителя Зимина. Всю ночь не смыкали врачи глаз, приводя парня в чувство. Только под утро очнулся учитель, и подошедший к этому времени милиционер стал тут же расспрашивать, что с ним случилось. Однако несчастный ничего не отвечал и как-то опасно озирался то на сержанта, то на столпившихся вокруг больных. Делать нечего, побились, побились да и отстали от бедолаги, прописали ему лекарства, усиленное питание — и забыли про него, ибо других больных хоть отбавляй. Лишь во время обходов и вспоминали про неразговорчивого учителя, находя его каждый раз безмолвно лежащим лицом к стене или и вовсе спящим. Спал он на удивление много, целыми днями, когда приносили еду, просыпался, молчаливо съедал все и опять отворачивался к стенке. Но доктора только радовались этому. Пусть спит, сон — лучшее лекарство, быстрее раны заживут. А раны на парне действительно заживали, как на собаке. И через пару недель врачи уже о выписке подумывать начали, как вдруг... Однажды утром разбудила моего Саню нянечка. «Вставайте! — вопила не своим голосом. — Беда!» «Что такое?» — высунулся в форточку доктор. «Вольной, — ошарашила старушка, — молчаливый-то тот, из окна выбросился. Без памяти лежит...» Ну, Саня, как был, в пижаме, к больнице кинулся. Да только все равно уже поздно было. У парня и пульс не прощупывался. Притащили носилки, и, когда стали покойного на них укладывать, выскочила у него из-за пояса тетрадка какая-то. Друг мой на нее сначала и внимания не обратил, в карман сунул, а позже открыл и... Тут Саня запнулся. За папирсой полез.

— Ну что? Что? — торопил я его. — Не тани...

В дверь неожиданно постучали.

— Александр Иванович, — послышался женский голос, — больного привезли...

— Иду... — поднялся он и протянул мне толстую тетрадь в коленкоровом переплете. — Вот, почитай... Только почерк у него не ахти, мелкий больно... Но, думаю, разберешь...

— Александр Иванович... — послышалось вновь.

— Иду, иду, — распахнул Саня дверь и исчез.

А я открыл тетрадь...

Бегство

«Любовь налетела, как вихрь, как ураган, и растрепала волосы, и налила горячей кровью губы, и заставила блеснуть сумасшедшим светом глаза. Когда же порыв душевного ветра утих, я понял — люблю...»

Простите за столь сумбурное начало, дядюшка. Но не до стиля здесь, дорогой вы мой, где стережется каждый шаг, где каждый глаз, глядящий на меня, есть в результате глаз Антония Петровича... Ночами пишу на краденой тетрадке, краденым карандашом. Вчера стащил со стола дежурной в коридоре. Я вынужден таиться. В любой момент Антоний Петрович может нагнать со своей бандой. К тому же приходится спешить, чтоб до выздоровления рассказать вам все, что со мною случилось. Когда же выздоровлю, то покажу я фигу Антонию Петровичу, распахну

окно, встану на подоконник и... Тогда-то мы и поглядим, помиловали ли меня...

Итак, с чего же я начал? Ах да, с любви... Да, боже мой, налетела, закружила. Люблю... Ну надо же такому случиться? И все почему? Да потому лишь, что есть на земле одно существо, живой сосудик, наполненный кровью, мыслями, желаниями... Сонечка, где ты сейчас? Несмотря на все коварство твое, я вспоминаю тебя. Я вспоминаю, как шла ты навстречу мне в то тихое утро, откидывая прядь волос со светлого лба, как улыбалась смущенно. Что за трепет был в каждом твоём движении, что за грация в легкой поступи ног. Я думал, глядя на тебя: «Счастье, счастье... Неужели я дождался его?» Вот наконец ты подошла, вот протянула руку, вот склонила голову. Но все-таки я сразу почувствовал — грусть в твоей улыбке, скованность в движениях, задумчивость во взгляде. Откуда ж мог знать я твои мысли?

— Здравствуй, Сонечка...

— Здравствуйте, Константин Иннокентьевич, — прикрыла ты глаза.

Ах, Сонечка, ах, милая фурия, обижали меня твои вежливые обращения. Но я не возражал, я на все был согласен, лишь бы твоя рука была в моей. Я поцеловал ее и прижал к моему сердцу.

— Куда пойдем? — спросил нежно.

— Куда хотите, — ответила ты и тут же добавила: — Но только недолго...

— Но почему же, Соня, ведь вы обещали весь день...

— Я обещала, — потупила ты взор, — но папа...

— Что папа? — вадрогнул я.

— Папа против. Папа не хочет, чтоб мы встречались...

— Сонечка, но вы-то хотите? — взмолился я.

— Я хочу, но папа, он... вы... я боюсь...

— Чего?

— Пойдемте отсюда... Мне страшно...

— Пойдемте, — сказал я, и мы двинулись прочь от города, по полю, по тропинке, едва заметной среди заросшего васильками поля, к лесу.

Я был встревожен. У меня самого беспокойно на душе было в то утро от неприятного предчувствия. Я Сонечку ждал полчаса у окраины города, на скамейке под липой, я жаждал ее появления, чтобы развеять свою тревогу. И вот она шагала рядом, однако предчувствие беды не уменьшалось во мне. Тревога назойливой мухой металась по черепу.

Вы знаете, что такое страх, дорогой мой дядюшка? Наверное, знаете. Хотя вы и прокурор, хотя и стоите на страже законности, но только под форменным вашим кителем с зеркальцами звездочек в петлицах все равно не железобетон, а хрупкое, теплое тело, которое боится боли. И потому вы знаете, что такое страх. Я тоже знаю. Все знают. И даже Сонечка. Хотя у кого поднимется рука обидеть ее? Но в тот день она боялась. Она ведь тогда уже знала, что произойдет. И ждала этого. И мне не сказала почему-то. Быть может, хотела проверить мою силу? Но что там проверять. Я хил и слаб. Четыре поколения моих предков были учителями словесности. И я учитель. Душа моя утончена и нервна. Язык мой шуршит великими цитатами, как дерево листвою. Фантазии мои, будто увеличительное стекло, укрупняют реальность. И если я люблю, то люблю все, до золотистого пушка над Сонечкиной губой. А если я боюсь, то я боюсь, как мышь, убегающая от лисы. Нет, нет, я не герой. И ни к чему меня проверять. Я сразу это говорю. Но ведь тогда я ничего не знал. И думал: откуда тревога? Надо открыть форточку и выгнать эту назойливую муху, мечущуюся по моему черепу. И я открыл форточку и бегал по комнате с тряпкой и все пытался достать муху, но она была вертлява и быстра и уворачивалась от ударов. Когда же вошли мы в лес, я и вовсе разволновался. За всяким деревом виделась мне злодеи. Каждый свист птицы заставлял вздрагивать. «Сейчас что-то случится, — подсказывал мне инстинкт, — сейчас...»

— Эй, постой, писарчук! — оглушил меня чей-то голос.

Я обернулся. Мальчиков было трое. Я их не знал, хотя вся хлыновская молодежь мне знакома. Они были, видно, не местные, на каникулы прикатившие в наш городок, успевшие до дождей прорваться в наши палестины. Они стояли поперек дороги, смотрели на нас из-под лбов, лениво пережевывая жвачку. Рубашки их были расстегнуты и завязаны узлом. В промежутке между брюками и узлами виднелись упругие в крупную клетку мыщцы. Тогда-то и зашевелился во мне страх. Он был холодный и пружинистый, как налим. Он барахтался где-то в паху, заставляя все тело мое сжиматься, стискивая кожей затылок. Но я все же сумел побороть себя, но я все же заставил себя посмотреть им в глаза. Одно обстоятельство удивило: на лицах их было смущение. Откуда оно? Отчего? Тогда я не мог понять этого. И только после догадался — потому что им было стыдно. Они ведь работу исполняли, а не желание души, вредную работу. Все-таки зело мудр человек в устройстве своим. И убийце наемному, и предателю стыдно бывает. Мальчикам стыдно было, но дело свое они делали. Видно, деньги очень были нужны.

— Что такое? — спросил я.

— А крошка у него ничего... — потянулся один из них к Сонечке.

И тут я понял, чего им нужно: обидеть нас, оскорбить, унижить. Мне стало и вовсе немого. Животик мой хилый втянулся внутрь, и помочиться мне захотелось, едва сдерживался я. Но я все же храбрился. И вел себя, как мужчина. И по руке ударил того, кто к Сонечке потянулся. И в тот же миг по зубам получил. Да так мощно, что в сторону отлетел и, если б не ствол дерева за спиной, упал бы. Привалился я к тому дереву и сквозь туман, сквозь волнистый воздух видел, как схватили злодеи за руки мою Сонечку и держат ее. А она, как лебедь белая, бьется в их лапах и кричит:

— Не лезь к ним, Костенька! Они меня не тронут! Им поручено...

В голове моей была муть. Я слышал Сонечку, но не понимал. И, с силами собравшись, от дерева оттолкнулся и двинулся на оскорбителей своих, вцепился одному в воротник. Но парень ловко извернулся, и в следующий миг я вновь прижатый к дереву оказался. И нож увидел у своего живота. И тут уже не удержался, и, несмотря на весь конфуз и стыд, текла и текла горячая влага по ноге в ботинок.

— Поклянись, сука, — слышалось будто сквозь сон, — что не пойдешь больше к девочке этой. Ну...

Но я молчал. Не потому, что силы было во мне много и не боялся я ножа, а просто остолбенелость на меня нашла.

— Поклянись, Костенька, поклянись, — шептала мне Сонечка, — ради бога...

Но я говорил ни слова. Я о другом думал — о мокром позоре своем. И только когда острие коснулось кожи, понял — нож! Еще секунда — и он войдет в мою плоть. В глазах у меня потемнело, ноги начали подгибаться. Что было бы дальше, не знаю. Но тут женский вопль вознесся над землей.

— А-а-а-а!.. — Это Сонечка кричала и вырывалась из рук юнца.

Я думал, она на помощь ко мне стремится. Но Соня, выдернув наконец руку из лапы парня, словно испуганная лань, понеслась прочь, и крик ее удалялся вместе с ней, будто в колодец она летела. Наемник бросился за ней, вилия тощими ягодицами. Воспользовавшись замешательством, я тоже дернулся из лап мучителей. Слабое мое тело, ожесточившись, стало будто пружина, ноги отталкивались от земли с незнакомой ранее силой. В мгновение настиг я следователя Сонечки и, изловчившись, подставил ему ногу. Он кубарем полетел на землю, а я дальше помчался и все волочился в шум леса, стараясь уловить крик Сонечки. Но крика ее уже не было слышно. Другие голоса раздались за моей спиной:

— Вон он! Лови его, суку! Лови!

Это за мной гнались те двое, мести жаждали, крови, и, обернувшись к ним, я чуть не закричал, увидев кастеты и ножи в их руках. О страх, страх, о ликование бегства, я мог наконец-то позволить себе

эту слабость, я мог наконец-то упругость земли ощутить, я мог наконец-то почувствовать себя зайцем, мышью, куропаткой... Ветки хлестали меня по лицу, кочки норовили опрокинуть на землю. Однако жажда жизни была сильнее, и не поддавался я на зловонные уловки леса. Но топот за моей спиной приближался неотвратимо. Я не разбирал дороги, я мчался куда попало, разбрасывая в стороны кусты. И тут произошло совсем уж неожиданное: земля подо мной исчезла, и, только полетев вниз, я понял, что не заметил обрыва, высоченного обрыва над рекой, и падаю на камни...

Притча о валерьяне

Но прежде чем рассказывать, что случилось со мною дальше, хочу поведать немного истории. Городок наш Хлынь невелик. Тысяч двадцать зарегистрировано местным загсом. На скромной реке Хлынке стоит. Далеко от центра расположен. Чем знаменит наш городок? Да ничем. Живем, хлеб жуем, тем и рады. Не счесть таких городков по Рассе-матушке. Я, дядюшка, приехал сюда по распределению три года назад, движимый лучшими чувствами человеческими: нести свет, добро и ученость в сонный наш народ. Еще в Москве, едва ступив на стезю науки филологической, мечтать я начал о доле учителя, трудной, но благородной. Чудной картиной представлялась мне моя будущая жизнь. И, засыпая на жесткой студенческой кровати, частенько представлял я себя идущим впереди юных и милых существ. Ладонь моя торжественно приподнята, речь льется плавно и строго, и дети, как агнцы за пастырем, шагают за мной, и на прекрасных их лицах светится мысль. Да, так мечтал я. Но, дорогой мой прокурор, жизнь хитра, она всегда подкидывает нам совсем не то, о чем мы грезим. И мне подкинула... Хлынь... Несчастный городок! Построили его купцы еще в начале прошлого века. Брала здесь лес, живицу, беличий мех и еще много чего. Возвели несколько заводов, церковь, трактир, купцы уж думали железную дорогу тянуть к нашему городку. Но тут приехал как-то в Хлынь человек по имени Валерьян. Приехал, поселился в брошенной избе и зажил себе смирно. Для хлыновцев приезжие были не редкость — понагляделись на своем веку.

Ни на кого, однако, не оказался похожим Валерьян, не женился, не пил, крамолы не распространял. Он перво-наперво вскопал огород и кинул в землю семена. Споро они взошли. Любо-дорого было глядеть на всходы. И запах от той травы исходил терпкий, дурманный. Вот как-то раз увидели соседи, что вышел Валерьян в огород, надергал корешков травы той, промыл их в луже и, севши на завалянку, почал жевать. Час жует, два жует, три — и на физиономии у него блаженство. Задумались тут хлыновцы. Что жует Валерьян? Отчего ему так сладко? Не утерпели, явились к чужаку. «А вы отведайте, — указал Валерьян на огород, — мне не жалко...» Выдернули хлыновцы по корешку, промыли — и в рот. Через несколько минут уразумели, отчего так сладко Валерьяну. Пошли их головы кругом, и мир в глазах вдруг розовым стал, и небо, и поле, и люди — все розовое, и так хорошо на душе, что ничегошеньки-то больше не надо. «А слышь-ка, Валерьян, — сказали тогда хлыновцы, — не дашь ли ты нам семян сей травы?» «Отчего же? — сунул он руку в карман. — Берите...» В скором времени уже вся Хлынь сажала у себя на усадьбах Валерьянов корень, по вечерам сидела на завалянках, жевала. Все было розовым в их глазах, и ничегошеньки не хотелось. И на работу перестали ходить хлыновцы, а если и ходили, то только так, для видимости, и церковь забыли, и даже дети перестали родиться у хлыновских баб, а если и рождались, то с такими же, как у их предков, розовыми, сонными глазами. И жизнь пошла на убыль в Хлыни, заводы закрылись, церковь опустела, железную дорогу повернули в сторону. И ничего-то почти не осталось в Хлыни от прежних времен, только кладбище старинное с огромной ямой посередине. Говорят, там раньше церковь стояла...

Вот так-то, дядюшка, вот куда закинула меня судьбина, и разлетелись в прах мои мечты. Какая уж там, к черту, поэзия, если учеников моих можно по пальцам сосчитать, да и у тех-то глаза розовые и сонные. Побился, побился и плюнул. Чуть было сам не начал корень жевать. Но тут, на счастье, Сонечку встретил, одну из немногих девушек в Хлыни с пока еще голубыми глазами. И жизнь моя перевернулась и смысл высокий обрела... Но ближе к делу, дядюшка, ближе, пора уж и о Сонечкином папе слово молвить.

Сонечкин папа

Кто в Хлыни не знает «Универсама»? Нет таких. Все знают. Потому что «Универсам» — наша гордость, наше главное достояние. В центре Хлыни он стоит, двухэтажный, белый. И заведует им Сонечкин папа — Антоний Петрович Мытый. И оттого к сему зданию я с благоговением отношусь. И проходя мимо, всегда здороваюсь с ним, а в его лице и с Сонечкой моей голубоглазой. Иногда, прогуливаясь перед сном, я даже заглядываю внутрь магазина. И, как обычно, вижу за стеклом шатающегося между витринами белого боксера по кличке Рэм или Сэм, я их не различаю. Сонечкин папа, не доверяя сторожам, приобрел в областном центре двух боксеров, белых, породистых, и они по очереди дежурят в «Универсаме». И стоит мне приблизиться к стеклу, как четвероногий страж бросается в мою сторону, и скачет со всей прыти к стеклу, и ударяется об него твердым лбом, и лает, остервенело и яростно. Но я не отхожу, я стою у окна, потому что знаю: в Сонечкином доме слышен сей яростный призыв, и скоро сам Антоний Петрович или — предел моих мечтаний — Сонечка в сопровождении другого белого боксера выйдет из дома, стоящего всего в трехстах метрах, выйдет будто бы на прогулку, но на самом деле для того, дабы посмотреть, что случилось с их «Универсамом». И если это будет папа, то я заложу руки за спину и пойду отрешенной походкой Канта по деревянному скрипящему тротуару ему навстречу. Не дойдя до него пяти метров, подниму голову и скажу равнодушно, будто и не ожидал свидания: «Добрый вечер, Антоний Петрович». «Здравствуйте, здравствуйте, Константин Иннокентьевич», — ухмыльнется Сонечкин папа, — зря, дорогой вы мой, по ночам людей тревожите. Не быть Сонечке вашей, не быть, уж я постараюсь...» «Но почему же? — уже в который раз задам я один и тот же вопрос. — Чем я плох?» «Да вы не плохи, — прикроет голубые, такие же, как у Сонечки, глаза Антоний Петрович, — но бедны... А ведь это порок, душа вы моя, и немалый. Разве сможете вы Сонечку в добром теле содержать да в приличном одеянии? Куда вам! Кишка тонка. Вы себя-то одеть прилично не можете, не то что женщину свою. Ну, взгляните, что такое на вас натянуто?» И в который раз я смотрю на себя и на Антония Петровича, сравниваю наши туалеты. Да, я сер перед ним и нищ, как черно-белая иллюстрация перед цветной. На Антонии Петровиче кожаный пиджак, розовая рубашка, вельветовые джинсы и кроссовки фирмы «Адидас». Вот каков Антоний Петрович, цветок да и только. Но где он все это накопил? Не пойму. Никогда в «Универсаме» не видал я таких нарядов. «Ну что? Убедились?» — спрашивает Сонечкин папа. «Убедился». «И сделали выводы?» «Сделал». «Так, значит, Константин Иннокентьевич, больше не будете Сонечку преследовать?» «Буду, — говорю я, — буду, Антоний Петрович». «Ну, глядите, как бы вам это боком не вышло, — осклаивается Сонечкин папа. — Пока». Он уходил и уводил за собою Сэма, и злобный пес тоже скалил на меня белые клыки. Вот какова завязка, вот какова экспозиция, дядюшка. Но, несмотря на угрозы Антония Петровича, я все равно навещал к «Универсаму», смотрел в окно на морду свирепого боксера и дожидался, когда откроется калитка Сонечкиного дома. И иногда — вот счастье — выходила оттуда моя бывшая ученица Сонечка Мытая и тоже вела на поводке белого, как снег, буйного, как вервь, пса. Увидя ее, я, позабыв приличия, мчался к ней чуть ли не бегом. «Здравствуйте,—

говорил, — не волнуйтесь, милая. Это я потревожил спокойствие Рэма. Не ходите туда. Там все нормально. Погуляем лучше...» «Нет, Константин Иннокентьевич, — отвечала мне моя милая, — не могу я с вами гулять. Папа запрещает». «Ах, Сонечка, — не сдавался я, — но ведь вам хочется?» Вместо ответа девочка моя опускала голову. «Хочется, хочется, — отвечал я за нее. — Так пойдемте же...» «Нет, не пойду, — крутит Сонечка головой, — я папу боюсь». «Так сбежимте, Сонечка, сбежимте отсюда! — говорю я, распалившись. — Как, помните, в «Метели» Марья Гавриловна с Владимиром сбежали. Неужель забыли? Я же вам рассказывал!» «Не забыла я, Константин Иннокентьевич. Все помню. Вы очень хорошо рассказывали. Забыть нельзя. Но только не те времена сейчас...» «Как не те, Сонечка? — говорю я ей. — Времена всегда те. Не времена делают людей. А люди времена». «Ох, не надо, — машет рукой Сонечка. — Знаю я, говорить вы мастак...» «Но когда же мы встретимся наедине? — умоляю я ее. — Не могу я без этой надежды жить». «Давайте завтра, — вдруг решается она и отводит глаза. — Я иду завтра... гербарий собирать. Вы мне поможете?» «С радостью! — ликую я. — Конечно! Где мы встретимся?» «На скамейке под липой. На окраине города...» Сонечка тут же уходит, и, прощаясь ее взглядом, я вижу, как мило она одета. Брючки на ней джинсовые, кофточка фирмовая, кроссовки на ножках с надписью «Адидас».

Назавтра я жду Сонечку на скамейке под липой на окраине города, а после происходит то, что уже описал вам, дядюшка, и в результате сих злоключений я срываюсь с обрыва, но...

Чудо

Боюсь даже и заговаривать об этом, ибо знаю, как вы отнесетесь к моим словам. Ведь вы же реалисты до мозга костей, ведь вы же думаете, что если яблоко падает, то оно обязательно летит на землю. Ничего подобного! Я собственными глазами видел, как пара яблок в нашем саду, сорванная ветром, вместо того, чтобы лететь вниз, взвилась вверх и исчезла в небе. Вот так же и я, дорогой мой дядюшка, не упал, а полетел, да, да, полетел. Нарочно пишу это слово два раза, нарочно вывожу его жирными буквами, потому что я действительно полетел, как птица, как пушинка, как воздушный шар. Не знаю, почему это произошло. Я уже мысленно собрался умирать. Я уже с жизнью попрощался. Но наша судьба не в наших руках. И вместо удара о землю я ощутил вдруг, что воздух не шумит больше в моих ушах, и я не падаю на камни, а скольжу по-над ними, плавно и изящно, как аист. И вместо рук у меня крылья... Признаться, дядюшка, подумал я сначала, что то иллюзия, предсмертный бред. Тем более что сколько я ни пытался их разглядеть, увидеть ничего не смог. В растерянности потянулся было я щипнуть себя за ухо, чтобы проверить реальность. Но стоило мне шевельнуть рукой, как тело мое развернулось, подобно самолету, делающему вираж. Тогда что было сил я закусил губу. Острая боль пронзила меня. Вкус крови ощутил я на языке. Да, это была реальность, самая настоящая, реальнее не придумаешь. Представьте мое состояние, дядюшка. Я бы, наверное, с ума сошел, если бы не радость, что остался жив. Она как-то все сгладила, уравнивала, и, вместо того чтобы дивиться чуду, я просто поблагодарил судьбу за волшебный подарок и со всей силой взмахнул крыльями. Тело мое взмыло вверх. И вот я уже над лесом. Пушистые верхушки сосен и берез качаются у меня под ногами. Я завопил от ликования. Да, драгоценный мой дядюшка, и вы, наверное, закричали бы, потому что это же такое счастье — лететь! Сначала я малость трусил. Но вскоре привык, уверился в надежности крыльев и поддал жару. Метров на двести взлетел я и, словно орел, широкими кругами начал парить на восходящих потоках. Ветер приятно обдувал мне лицо, ласково теребил волосы. Отсюда было прекрасно видно всю нашу крошечную Хлынь, с прямыми ее улицами, с кладбищем, с огромной крапивной ямой посередине, с прямоугольниками усадеб, засеянных почти сплошь валерьяной.

Хлынь по своей планировке напоминала букву «Х». Быть может, древние застройщики нашего городка хотели этим увековечить изначальное название его, предвидя светлыми головами, что лет через двести чрезмерно оптимистичные потомки могут обозвать его каким-нибудь Радостногорском... Кругом, куда ни глянь, леса, затопленные водой. Дожди дней десять подряд шли у нас, и смиренная Хлынька разбушевала, затопила все вокруг, и только городок, на возвышенности стоящий, остался невредим. Страшна и торжественна была сия картина...

Довольно долго парил я в небесах, обозревая хлыновские окрестности, но вскоре, почувствовав усталость, решил спуститься на землю. Взмахнув последний раз крыльями, взглянул я вниз и ринулся в пики. Признаюсь, дядюшка, я рисковал. Скорость моя с каждой секундой росла, воздух шумел в ушах, но я все падал и падал. «Так вот в чем прелесть? — шептал я в ликованиях. — Она в паденье...»

Вдруг на просеке метрах в ста позади себя увидел трех недорослей-террористов. Они шли в обнимку, бравые и лихие, и криво раскрывая рты, горланили песню. «Серебрится серенький дымок, — донес до меня ветер, — над родимым домом в час заката...» «О-о-ох! — задрожал я в жажде мести. — О-ох!» Ей-богу, я не узнавал себя. Ну, зачем было мне бросаться к ним, зачем мстить? Раньше бы я этого точно не сделал. Не люблю ужаса драки, противен мне страх и свой, и чужой. Но в тот момент я рассуждал по-иному и, как гладиатор, кинулся к юнцам. Через какие-то мгновения уже приземлился я на просеке и притаился за елью. Тело мое ходило ходуном. Но страха не было. Уверенность наполняла сердце. Я еще не знал, что предприму, но почему-то точно знал, что справлюсь с ними.

Месть

— А ну стой! — шагнул я из-за дерева, когда мальчики приблизились. — А ну, шелупонь, на колени! Ах, дядюшка, видели бы вы их лица! Хороши они были! Ничего не скажешь. Как в финале «Ревизора», даже хлестче... Челюсти у пацанов отвисли, рты пораскрылись, и глаза, как у кроликов, глупо-глупо эдак помаргивали. Я чувствовал себя дрессировщиком перед испуганными животными. Все было при мне — и кураж, и поза, не хватало только стека, чтобы пощелкать им перед носом у оробевших юнцов.

— На колени! — еще раз гаркнул я во всю мощь своих легких. — Ну! Или я вас... — И тут, дядюшка, я не рассчитал, связи мои не выдержали, и вместо молодецкого гыка из горла вылетел едва слышный шепот. И в тот же миг (вот что значит потерять кураж) самый рослый из парней — рыжий, с раскосыми шальными глазами, — видно, опомнившись от шока, криво улыбнулся и, сжимая кулаки, шагнул ко мне:

— Чего, падла! Повтори!

— На колени... — пытался выдавить я из себя угрозу, но шепотом не грозят, шепотом просят о пощаде, и рыжий не испугался, замахиваясь начал, чтобы вцепиться мне по зубам. Когда кулак его стал приближаться к моему лицу, я, сделав вид, что прыгаю, незаметно шевельнул крыльями, тело мое тотчас оторвалось от земли, ноги в крепких туристских ботинках оказались у подбородка рыжего, и, не раздумывая, я мощно вмазал ему по скуле. Парень упал.

— Отдохни чуток... — сказал я ему и повернулся к приятелям. — Ну что?

Юнцы были неподвижны. Напружинясь, стояли они, готовые, словно конькобежцы, в любой момент равняться и убежать.

— На колени! — рявкнул я почему-то вдруг возманившимся голосом.

— Ты знаешь что... Ты это... — начал было храбриться один из них и нерешительно двинулся ко мне. Но приятель схватил его за рукав:

— Не надо, Лех, а... Он каратист... Не видишь, что ли...

И тут меня осенило. Да, да, я каратист, надо убедить их в этом во избежание лишних разговоров.

И снова взмахнув крыльями, я взлетел над землей и завопил что было мочи:

— Акутагава!!! Рюноске!!!

Сам не пойму, почему прокричал я эти слова, ничего больше в голове не было, ни одного восточного слова, и потому пришлось воспользоваться именем писателя, которого люблю. Но мальцы, как видно, его не знали и приняли сии звуки за боевой клич каратиста, и в тот же миг их словно ветром сдуло — понеслись по дороге, только ветки трещали.

О погоня! Погоня! О мелькание верстовых столбов! О шум ветра в ушах! Сначала я бежал за ними. Но у страха глаза велики, а ноги быстры. Мне было не угнаться за ними. Тогда, пустив в ход крылья, я в несколько секунд настиг бежавшего позади:

— На колени! На колени, сволочь!

И тут наконец я увидел то, чего жаждал: мальчик рухнул наземь, прополз метра полтора и после, встав на колени, сложил руки на груди:

— Прости, дяденька, прости, пожалуйста...

— Говори, сволочь, кто вас научил меня избить?

Малец морщил прыщавое лицо, не зная, видно, как поступить. Я замахнулся кулаком над его головой, как боксер над кожаной грушей.

— А-а-антоний Петрович... — с трудом выговорил пацан.

— И что он за это обещал? Говори! Ну!

— Джинны фирмовые и по десятке чистыми...

— Ха-ха-ха... — рассмеялся я. — Недорого он вас купил, недорого... Ну, а теперь вали отсюда! Ну!

— А бить не будете? — искривил личико недоросль.

— Не буду. Иди.

Затравленно поднялся он с земли и сначала пошел, а после вдруг побежал, сверкая подошвами башмаков. И только тогда почувствовал я, как дико устал.

Кто я? Что я?

Не помню, как припелся домой и завалился на диван. Но помню, что полночи не спал и, глядя на ушербную луну в окне, думал...

Крылья? Мне? Но почему мне? И почему крылья? И кто я теперь? Ангел? Херувим? Но ведь я не верю в бога. И воспитан, как материалист. И потому не могу поверить в божественное происхождение крыльев. Тогда я стал пытаться объяснить их появление с материалистических позиций. Вспомнив Дарвина, я сказал себе: а может, ты первый плод эволюционного развития, может, всем людям назначено в будущем летать, и ты полетел первый, как когда-то давным-давно на заре человечества первая — поистине великая — обезьяна поднялась на задние лапы, освободив тем самым передние для труда? Может быть, так, но тогда как объяснить, что я не вижу своих крыльев и только чувствую их? Как объяснить, что вот тогда, лежа на диване с заложенными за голову руками и глядя в окно на разбушевавшуюся Хлыньку, я был простой человек, которому всего-навсего не спится. Но стоило мне захотеть, как крылья тут же обнаруживались и, напружиниваясь, топорщились за спиной. Как объяснить это, дядюшка? И другой вопрос мучил меня: а что же дальше? куда теперь? что делать мне с крыльями? как жить? какие обязанности, какая ответственность накладывается на меня? И так и сая гадал я, но ничего не мог уразуметь. Я сейчас удивляюсь своей наивности. Я хотел за одну ночь разрешить вековый вопрос. Я поныне не понимаю, кто я такой. Я и поныне долгими бесконечными днями (ведь днем нельзя писать), отвернувшись лицом к стене, все думаю о том же...

Забылся я лишь под утро, когда бледная луна уже пряталась за лес, а макушки берез становились розовыми от восходящего солнца. Тогда-то и приснился мне тот странный, страшный сон, который был как будто бы предвестником моей судьбы. Я видел себя летящим над землей подобно птице в стае таких же, как я, белокрылых людей. Зеленые поля стелились внизу, нежная голубизна пленяла взгляд. Нас было много, огромная стая, заполнившая полнеба, будто стая перелетных птиц. Какая-то музыка звучала

вокруг, похожая на орган. Мы были наги, лишь только короткие алые плащи прикрывали малую толику наших тел и трепыхались на ветру, как флаги на демонстрациях. Вокруг меня были и желтолицые японцы, и рыжебородые шотландцы, и горбоносые армяне, и веснушчатые славяне, и великое множество других наций. Куда мы летели, не знаю. Но, помню, высокий смысл крылся в нашем полете. Потом новая деталь явилась в моих галлюцинациях. Заметил я, что впереди, на самом краю неба, возникла темень. Она быстро сближалась с нами, и вскоре увидел я, что это стая таких же, как и мы, крылатых людей. Среди них тоже было множество всяких наций. Но только не алые, а черные плащи трепыхались на них, и крылья их тоже были черны, как крылья воронья. Жуть брала от мрачного приближения чернокрылых. Кто они такие? Почему летят нам навстречу? И что сейчас будет? Затем, дядюшка, увидел я и вовсе страшную картину — две наши стаи столкнулись в небе, и начался кровавый бой, злой и беспощадный. Чернокрылый насканивал на белокрылого, белокрылый — на чернокрылого, стоны, проклятия, разноязычная брань... Из-за чего мы дрались, не ведаю, однако было ясно — кто-то из нас должен был умереть, пощады не будет... Один за другим падали вниз то чернокрылые, то белокрылые воины, уже и моя очередь подступала схватиться с кем-то, уже и моя очередь подступала — умереть или победить. И спервоначала дерзко глядевший вперед, в последний момент я вдруг испугался и, ринувшись в сторону, хотел уже было спрятаться, спасая шкуру, но тут почувствовал, что крылья мои более не держат меня и я падаю вниз. О, это было ужасно, дядюшка! Казалось мне, что смерть моя близка. И я уже с жизнью прощался, но в этот миг кто-то застучал по небу, как по двери, и позвал меня:

— Константин Иннокентьевич! Костя!..

Чужое горе

Я открыл глаза и увидел перед собой испуганную свою хозяйку. Марфа Петровна — так звали старушку — в волнении схватила меня за руку. Порывистое дыхание ее было полно валерьянового запаха.

— Костенька! Милый! Помогите! — Дряблая кожа лица ее подрагивала от быстрых слов. — За врачом! Сбегайте за врачом!

— Куда? — наконец-то дошел до меня смысл ее слов. — Что случилось?

— Внучку плохо... Бредит он... Врача надо!

— Да, да, сейчас, — поднялся я с дивана и, торопливо поправляя мятые платье, побежал к двери. Проходя мимо комнаты Марфы Петровны, заглянул я в открытую дверь и увидел больного. Мальчик лежал на кровати, курчавая золотая головка его бессильно склонилась набок, бледное лицо лоснилось от пота, тонкие белые руки, раскинутые поверх одеяла, жестом своим выражали обреченность. За врачом я бежал по зеленой улице, в ту самую больницу, где ныне лежу, к старому помещицкому дому с шахматными конями над фронтонами. Доктора я застал на скамейке перед крыльцом. Бородатый наш эскулап нежилась на солнце, подставляя лучам усталое лицо. Глаза его были закрыты, но губы то и дело дергались в нервном тике. По моему зову Александр Иванович, наш доктор, тут же поднялся и, заглянув на миг в кабинет за саквояжем с докторскими принадлежностями, отправился за мной. Вскоре были мы у постели больного. Мальчик оказался совсем слаб.

— Что с ним? — спросил Александр Иванович, строго взглянув на хозяйку.

Марфа Петровна стояла у изголовья кровати и нервно сжимала хромированные ее набалдашники. Сухие кисти старушки белели от напряжения. Розовые глаза глядели понуро и виновато.

— Откуда ж мне знать? — Отвисший гусиный подбородок ее закачался от движения рта. — Вчерась еще бегал, а ноне...

Марфа Петровна затряслась в беззвучном плаче.

— Тэк-с, тэк-с... — Александр Иванович бережно взялся за края одеяла и стал стягивать его с маль-

чика. Худенькое белое тельце открылось нашим взорам. Доктор внимательно осматривал его, то и дело поправляя сползающие на нос очки. — А это что такое? — Он указал на крошечную царапину на лодыжке мальчика. Кожа вокруг нее была красной и припухшей.

— Поцарапался, видать... — Марфа Петровна переводила растерянный розовый взгляд то на меня, то на Александра Ивановича.

— И давно? — Доктор раскрыл свой саквояж и извлек оттуда какие-то пузырьки, бинт, вату. Ловкие руки его колдовали над ранкой.

Марфа Петровна только пожалала плечами.

— Тэк-с, тэк-с... — Бормоча себе под нос, Александр Иванович обрабатывал царапину йодом, туго и ловко бинтовал ее. — Мальчику нужен покой и... — Он почему-то замаялся, но тут же, вздохнув, достал из саквояжа какие-то таблетки. — И вот это. По таблетке на прием, три раза в день... Завтра я зайду...

Доктор поднялся, раздраженно щелкнул замком саквояжа и направился к двери. Но прежде чем уйти, взглянул на меня. Во взгляде его я заметил призыв и вышел следом. Спустившись с крыльца, Александр Иванович обернулся ко мне.

— Ох уж эти корнежеватели! — Голос его дрожал. — Сил моих нет... Запустила парня... У него же заражение. ...Боюсь, что так... Пенициллин нужен.

— Так в чем же дело? — пожал я плечами. — Принесите...

Александр Иванович взглянул исподлобья.

— Вашими бы устами да мед пить... — сказал сурово. — Нету пенициллина в Хлыни. Еще в мае кончился. А завезти не можем. То не давали машину, то эти дожди проклятые...

Кивнув мне напоследок, он зашагал по улице, а я вернулся в дом.

— Бабуля, — лепетал бескровными губами мальчик и стискивал ручонками простыню, — я падаю... Подержи меня... Подержи.

Марфа Петровна, склонившись над кроватью со стаканом воды, пыталась дать внуку лекарство.

Я сердобольный, дядюшка, и мне невыносимо было глядеть на страдающего ребенка. Тут и злодей, наверное, расплакался бы. Кусая губы, смотрел я на пустые хлопоты Марфы Петровны и чувствовал, как слезы наполняют глаза. И вспоминалось мне — вода, вода вокруг, сколько может видеть глаз. Нет, не скоро она спадет, не скоро будет дорога, зря надеется Александр Иванович на милости природы. Бедный мальчик, он, видно, обречен... И тут я вздрогнул. Но почему же обречен? А я на что? Ведь я ж парил вчера под облаками. Мне ничего не стоит слетать в соседний город, купить пенициллин для пацана. Как же я сразу не вспомнил? И чего я стою? Бежать! Спешить!

— Марфа Петровна, — дотронулся я до старушкиного плеча, — вы не волнуйтесь, все будет хорошо... А я на пару часов отлучусь... Я скоро буду...

А сам уже неся в комнату, уже натягивал пиджак и кошелек с деньгами совал в карман. Вперед! Вперед!

Разговор на зеленой лужайке

Вы когда-нибудь уступали место старушке? Вы когда-нибудь подавали нищему алтын? Вы когда-нибудь спасали птенца от гибели? Если вы хоть раз совершили подобное, вы поймете мои чувства. Душа моя ликовала. «Я помогу... Я спасу... А как же... А после еще таких дел натворю... О, господи, спасибо тебе за крылья!» Поистине всемогущество испытывал я тогда, как Илья Муромец, вышедший из своей избы в Карачарове, как Геракл перед двенадцатью славными подвигами, как Петр Первый перед Полтавской битвой. Я шел по Хлыни, ощущая каждую мышцу, чувствуя, как поигрывают они, готовые к полету. И хотелось мне, дядя, силушку испытать, хотелось вырвать с корнями засохшее дерево, хотелось вычистить колхозные конюшни, хотелось Соловья-разбойнику какому-нибудь чуб надрать или уж на худой конец вытоптать злополучную валерьяну в чьем-нибудь огороде...

Итак, шагнул я по тротуару к окраине городка, откуда собирался отправиться в дальний полет. Но вдруг что-то остановило меня. Однако, взглянув окрест, я ничего подозрительного не увидел. И, лишь пройдя еще метров сто, уразумел причину беспокойства — Антония Петровича разглядел я, выгуливающего на лужайке белых боксеров. И сразу сцена в лесу встала перед глазами, и сразу Сонечка вспомнилась, убегающая прочь ланью белоногой, и сразу мальчики-террористы пришли на память, и, не отдавая себе отчета, зачем так поступаю, я повернул к Антонию Петровичу.

Сонечкин папа все это время смотрел на меня, не отводя глаз. Беспокойство и трепет различил я в его облике. Края полных губ Антония Петровича опустились, и лицо от сей мимики стало грустным, как у нищего Арлекина. Я же, наоборот, ощущал прилив сил, и трепет Антония Петровича придавал мне еще большую уверенность. Слово коварный гипнотизер, пытался я поймать его взгляд, но глаза Антония Петровича избегали встречи с моими, прыгая из стороны в сторону, как глаза кошки на ходулях Марфы Петровны. Боксеры же Рэм и Сэм, почуяв запах беды, подошли к своему хозяину и встали по бокам, как ретивые телохранители, холки ощетинили, оскалили кинжалы клыков, готовые броситься на меня. Но я их не боялся, зная, что в любой момент смогу взлететь на высоту, не доступную этой твари, и, подойдя к Сонечкиному отцу почти вплотную, сказал:

— Здравствуй, Антоний Петрович.

— Здравствуй, здравствуй... — едва выговорил он, не глядя на меня. Но голос выдал его. Страх, страх прочитал я в сей жалкой интонации, такой жалкий и скользкий, словно червяк, на которого башмаком наступили.

— А у меня вот оказия вчера вышла... Такая, знаете ли, оказия, что и не знаю, кому жаловаться...

— Оказия? — Антоний Петрович на секунду поднял глаза и моментально взглянул на меня, словно сфотографировал. — А что ж такое?

— Да по лесу гулял... — балагурил я. — Гербарий собирал. Местные травы — это, знаете ли, уникально... И что вы думаете? Хулиганье напало. Трое. С ножами, с каскетами. Не знаю, что я им сделал...

Антоний Петрович наконец-то сумел поднять глаза и поглядеть на меня с жалостью и участием, и, если бы я точно не знал, что вчерашнее нападение — его рук дело, то мог бы подумать, будто он жалеет меня.

— Ну и как же обошлось-то, Константин Иннокентьевич? — спросил Антоний Петрович сочувственно. — Вы ведь целехоньки, я вижу...

— Да отбилась кое-как...

— Отбились?

— Отбилась... Брюсу Ли свечку надо ставить...

— Кому? — поднял брови Антоний Петрович.

— Брюсу Ли... Уроки каратэ я у него брал в Таиланде...

— В Таиланде? А это где?

— В Азии. Рядом с Кампучией. Бангкок — столица. Я там, знаете ли, на практике был. С Брюсом Ли сдружился. Он у них главным каратистом считался. Вот и поднатаскал он меня кой-чему.

— А чему же? — спросил Антоний Петрович, поджимая живот. Я едва не улыбнулся, заметив этот знак страха.

— Да так, ерунда, — сделал я маленькую паузу, соображая, чем бы его пугануть, — кирпич могу перешибить ладонью, дерево переломить коленом... А уж человека-то и подавно могу изничтожить вмиг...

— А не покажете ли чего-нибудь? — почти шепотом промямлил Антоний Петрович. Губы его посинели. Веки прищуренных глаз дрожали нервно.

— Отчего же... — совсем уж раздухарился я. — Можно и показать. Только на чем? На кирпиче? На березе? А может, на вас?

— Нет, лучше уж на березке... — Антоний Петрович инстинктивно отодвинулся в сторону.

Делать нечего, надо было что-то изобразить для пущей убедительности, и, оглядевшись по сторонам, что бы выбрать для демонстрации мощи, к счастью,

увидел я, что ветка одного дерева едва держится на стволе, надломленная ветром. Пойдет, сломлю как-нибудь, главное, допрыгнуть. Выручайте меня, мои крылья!

— А-к-у-т-а-г-а-а-а!!! — вскричал я что было сил и, будто самурай на врага, ринулся к березе.

Краем глаза видел я, как в ужасе зажмурился Антоний Петрович и как гигантские белые псы, поджав обрубленные хвосты, спрятались за хозяина. А я же, едва взмахнув крылами, взлетел пушинкою на пару метров и, хрястнув ногой под основание ветки, увидел с радостью, как рухнула она наземь. Я опустился и встал рядом, словно пес перед своей добычей.

— Ну как?

Антоний Петрович открыл глаза. В зрачках его застыл ужас. Мне даже жаль стало Сонечкиного папу.

— Присядем... — взял я инициативу в свои руки.

— Пожалуй... — едва выговорил мой собеседник.

Мы сели на упавшую ветвь. Антоний Петрович трясущимися руками ощупывал толстый комель, не веря, видно, своим глазам. Изредка он взглядывал на меня и тряс головою, словно желая проснуться. А я же, дядюшка, только тогда сообразил, что больше нельзя запугивать Сонечкиного папашу, достаточно, ибо робеющий нас — наш раб, но страшщийся нас — наш враг. Вот что подумал я и решил: довольно эффектов, пора налаживать контакты. Иначе и во-все не выдать мне Сонечки.

— Шикарно... — качал головой Антоний Петрович, извлекая из кармана сигареты, импортные какие-то, в коричневой пластмассовой пачке. — Берите, Костя, не стесняйтесь... «Филип-Моррис». А по-нашему, «Филиппок»... Прошу...

— Нет, — отмахнулся я, — не балуюсь. Спасибо.

— А я закурю. — Дрожащими руками Антоний Петрович зажигал спичку. — Так, значит, Таиланд, говорите? Ну и как там в Таиланде?

Не знал я, дядюшка, что отвечать, потому что, как вам доподлинно известно, не был я там ни разу. Но, на мое счастье, фантазией бог меня не обидел, и начал я рассказывать Антонию Петровичу о далекой и загадочной стране. Поэт, дядюшка, не только о Таиланде, но и об аде может рассказать, ни разу там не побывав. И рассказал я Сонечкиному папе о смуглых девах с неприкрытыми грудями, о несчастных рикшах, таскающих полнотелых клиентов, о непроходимых джунглях со змеями и скорпионами и еще много чего рассказал, но только чувствовал я, что все это не особенно интересует Антония Петровича и порывается он что-то спросить. Тогда, замолчав, я дал ему возможность вымолвить слово.

— А магазины какие там? — не заставил меня долго ждать Антоний Петрович.

— Магазины... — томил я его паузой. — Магазины... Нет слов. Божественные магазины...

— И что ж в них есть? — Антоний Петрович в азарте даже сигарету отбросил.

— Да что хотите, — ответил я, — джинсы, батники, кроссовки, консервные крышки... А книги? Какие там книги... Булгаков с Цветаевой спокойно лежат, и на русском языке. Представляете?

— Н-да... — словно китайский болванчик, качал головой Антоний Петрович. — Н-да... Ну, а продукты? Как там у них с этим?

— Все, что душе угодно, — уже начинал скучать я, — мясо, масло, балык, карбонат, таранка, икра, колбасы двадцати сортов... Что еще?

— Довольно, довольно, — остановил наконец-то поток моего красноречия Антоний Петрович, — не травите душу... Он снова залез в карман, достал сигарету и, закулив, сидел, как куль, обмякший и тяжелый, и приговаривал одно и то же: — Двадцати сортов... Ну надо же... Двадцати сортов... О-хо-хо...

И Рэм и Сэм, лежа рядом с хозяином, печально заглядывали ему в глаза и словно тоже хотели сказать: «О-хо-хо...»

Признаюсь, дядюшка, мне стало жаль эту троицу. В их грустных взглядах, в многозначительных вздохах уловил я горькую обиду на жизнь. И только после подумал: но как же так? Неужели Антонию Пет-

ровичу жратвы не хватает, кому-кому, а уж ему-то грех жаловаться, все у него во власти, весь «Универсам». Но тут же вспомнил — половодье ведь, дороги нет, поистощились хлыновские склады, вот и грустит Антоний Петрович без деликатесов.

Тут что-то затрещало на руке у Сонечкиного предка, и он, взглянув на часы (они-то и трещали), поднялся резко с березовой ветки.

— Пора мне, Костя, — сказал почти ласково, — прощайте... — И прочь пошел, и псы вприпрыжку побежали за ним.

Полет

Тут только опомнился я. Чего ж я болтал? Спеть надо! Мальчишка же бредит... Вперед! Я зашагал быстрее, почти побежал и вскоре, пройдя васильковое поле, оказался в лесу, на той самой просеке, где вчера учил уму-разуму подкупленных недорослей. Молодая зеленая трава еще хранила на себе отпечатки недавней баталии... Да, странные, дивные события начались со мною вчера, я будто переродился, будто новую жизнь начал жить. И сейчас собираюсь — ни больше ни меньше — взлететь... Так просто, как будто бы на ту сторону просеки перейти. Не сплю ли я? Я поднял крылья и, оттолкнувшись от земли, взлетел легко и свободно, как птица. Нет, не сплю, а лечу, лечу. Я силу чувствовал в крыльях необыкновенную. Два взмаха — и я уже высоко. Два взмаха — и несет меня уже ветер. Два взмаха — и я уже парю, уже кувыркаюсь в воздухе, как счастливый молодой голубь.

Вы когда-нибудь летали на планере? Вы когда-нибудь парили над землей, подобно птице? Я думаю, что так, мой дядюшка. И потому — да вспомните же свою осовашихимовскую юность, вспомните своих подруг в белых трусах и майках, вспомните короткие бодрые их стрижки, вспомните их упругий шаг и трепещущие груди, вспомните их алые ленты и голубые глаза... Как маршировали они, девы тридцатых годов, по ясно-зеленому полю, как выстраивались в слова «МИР — ТРУД — МАЙ»... И себя вспомните в струящихся потоках воздуха, гордо парящего над стадионом, в кожаном шлеме, в марсианских очках. Вспомните, как шуршал воздух в ваших ушах, как медленно-лениво поворачивался под вами зеленый лоб футбольного поля, вспомните все это, и вы наверняка поймете, что ощущал я в то утро, паря над хлыновскими предместьями. Восторг, восторг... Я видел Хлынь, я видел коробки ее домов, я видел крошечных, как лилипуты, людей, я видел отраженное в зеркале половодья золотое солнце, я видел даже собственную тень, скользящую кругами. Но вскоре восторг мой остыл. Несчастный городок... Мне стало жаль его. Вода, вода кругом, куда ни глянь. Больной мальчик вспомнился, пенициллин... Совесть опять укорила меня. Чего разохался, чего развосхищался? Лететь надо, спешить... Настроившись на деловой лад, я сделал еще один круг над Хлынью. Теперь я уже не любовался красотами, а зорко всматривался в окрестности городка, ориентируясь, куда лететь. Дорога на областной центр начиналась в Хлыни от «Универсама», одна из крестовин буквы «Х» была ее исходом. Определив курс, я экономно-размеренно, как перелетная птица, замаха крыльями. Хлынь поплыла под меня сначала, казалось, медленно. Но через пару минут, обернувшись, с трудом разглядел я сквозь синий дрожащий воздух туманные очертания городка. Одна только залитая дорога виднелась подо мной да по бокам ее затопленные мутной водой леса. Местами на холмах, возвышающихся из-под воды, я видел собравшееся в стаи зверье — кабанов, медведей, лис, зайцев... Напуганные потоком звери сидели друг перед другом смиренные и тихие, как в какой-нибудь старой сказке. Часа два летел я, пока наконец не увидел, что расхулиганившаяся Хлынка отошла в сторону от дороги. Сначала мне стали попадаться сухие участки шоссе. Потом оно и вовсе поднялось на гору, и поплыли подо мной счастливые леса и поля, миновавшие половодье. Затем различил я на небольшом отдалении необозримое скопище труб, крыш и антенн.



Серый купол смога стоял над этим гигантским нагромождением человеческих жилищ. Черный дым труб наводил уныние. Ветер относил заводские испражнения в мою сторону. Вскоре мне стало трудно дышать, глаза засорились летящей навстречу пылью. Тогда, пойдя на снижение, я начал искать площадку для приземления.

Авантюра

Часом позже с двумя коробками пенициллиновых ампул в кармане вернулся я опять на окраину города, откуда собирался взлететь, но тут обнаружил, что солнце, до сих пор светившее с небес, закрыто тучами, лохматые облака плывут над городом и вот-вот грянет дождь. Что прикажете делать тут, дядюшка? Конечно же, лететь в ненастье представлялось опасным, однако же и ждать мне было не с руки. Часы мои показывали уже половину второго, на небе не предвиделось никаких изменений. Прикинув так и сяк, решил я лететь. Тут как раз и поляна, подходящая для взлета, открылась моим глазам — ровная, как футбольное поле, заросшая мягкой пушистой травой. Оглядевшись вокруг, нет ли случайного наблюдателя, я оттолкнулся от земли. Густой туман мгновенно обнял меня. Я будто бы плыл в молоке. Даже носки собственных ног не были видны мне. Но я махал и махал крыльями, поднимаясь все выше. Я думал, что, взлетев метров на пятьсот, вырвусь наконец-то из облачной пелены и после сориентируюсь по солнцу, где Хлын. Но надежды мои были тщетны. Поднявшись уже, кажется, на километр, я все равно видел перед собой одно и то же — туман, туман, туман... Тут ощутил я, что одежда моя намочка и потяжелела. Вдобавок почувствовал я, что озноб охватывает тело и я весь дрожу — так холоден и промозгл воздух. Тогда, распластав крылья, я стал спускаться на землю. Вскоре туман сделался реже, и я с удивлением разглядел сквозь прозрачную дымку, что лечу над неким садом, разбитым по принципам классицизма. Людей я не видел, и тогда, решившись на посадку, я ринулся в пике и через миг уже стоял на гаревой дорожке среди разлапистых яблонь и груш, ухоженных и изящных, как в саду Тимирязевской академии. Тихо и чудно было здесь. Белые голуби и разноцветные попугаи сидели на ветвях. Розовые яблоки и желтые налитые груши уже были зрелы, несмотря на раннюю июньскую пору. Черные розы никли к земле влажными бархатистыми головками. Очарованный, шагал я по этому волшебному парку, и было у меня такое ощущение, что не на грешную землю, а в райский сад спустился я с небес. Однако вскоре иллюзия моя была разрушена, потому что, свернув за угол, я неожиданно столкнулся со странной процессией: трое спитого вида мужиков тащили по аллее громадный шкаф. Произведение старинного столетия выглядело могуче, но и мужики казались не слабого десятка, однако дух, исходящий от них, был столь определенного свойства, что я не удивился, увидя, как показывается и едва не падает многоуважаемый — сказал бы Антон Павлович — шкаф в их ослабевших руках. Растерянно отпрянул я в сторону, боясь, что придавит меня тяжелосный антиквариат, но вдруг один из носильщиков мутно взглянул на меня:

— А ты, паразит, какого хрена филонишь?

Сие изречение не оставило никаких сомнений в том, что я на грешной земле, и, подчинившись властному тону, я подскочил к шкафу и, подхватив его, зашагал рядом с мужиками. Свернув несколько раз то вправо, то влево, я вскоре совершенно запутался в лабиринтах парка и искренне удивился, когда глазам моим предстал двухэтажный дом, отделанный розовым армянским туфом. Зелень здесь была еще яростнее. В круглом зеркале бассейна грациозно плавали лебеди. Рыжехвостые белки вылетали откуда-то из сосны и рассаживались на нашем шкафу. Где я? Куда попал? Что это за дом? И что делать дальше? Не тащиться же внутрь? Как бы не попасть в передку... Но отпустить шкафа я не мог, он бы упал. Вскоре отступление мое стало и вовсе невозможным, потому что двустворчатые двери дома вдруг распах-

нулись, и некто более ответственный и представительный, чем соратники мои по такелажным работам, выступил на сцену.

— Поживей, мальчишки... — говорил он негромко, но властно, и при виде его «мальчишки» действительно сделались более устойчивы, и шкаф, наконец-то перестав качаться, вплыл внутрь виллы.

Что было внутри, дядюшка, я сначала почти не видел, потому что шкаф закрывал мне обзор. Но ковры под ногами оказались мягки и глубоки... Но невидимые вентиляторы разгоняли по коридорам воздушную амброзию. Длинноносый, в черном фраке и белой жилетке, похожий на пингвина распорядитель открывал перед нами одну за другой увесистые двери. Ноги мои уже подкашивались от усталости, когда наконец-то продвинулись мы в полутемную залу, заставленную невообразимой мебелью. Чего только не было здесь! И шахматный столик эпохи Людовика XVI, и причудливая, с витыми стойками этажерка, и толстобокая, напоминающая боченок конторка... Наш десятипудовый шкаф занял достойное место в рядах дорогостоящей антиквари. Мы распрямились и вытерли лбы.

Только теперь рассмотрел я носильщиков. Вид их представлялся мне совершенно грустным — покрасневшие от вчерашней поддачи лица, ватные глаза, равные голоса, грязно-щетиные щеки. Одежка их также оставляла желать лучшего: пропотевшие рубашки, замасленные воротники, брюки, позабывшие об утюге... Вот каковы были мои соратнички, и стояли они передо мной, вытаскивая из карманов помятые чинарики, и дрожали спички в их неверных руках. Лишь одно было мне удивительно: почему и меня приняли они за своего? Однако, взглянув на себя в какое-то старинное зеркало, я вдруг все понял. Я не лучше смотрелся. Полет в облаках преобразил меня, волосы промокли и растрепались, лицо покраснело, а одежка моя, мятая и влажная, выглядела столь грустно, как будто ею только что вымыли пол. Так стояли мы в антикварной той зале, и спутники мои затыгивались дымом и будто бы ждали чего-то. Тут действительно пестрый шум пролетел по коридорам за дверью залы, словно кто-то пробежал, словно кто-то зашептался. Алкашки мои побросали в форточку чинарики и испуганно стали разгонять дым по комнате:

— Быстрей! Быстрей! Он, видно, идет!..

«Кто идет? Куда?» — недоумевал я. Но неясностям моим скоро пришел конец, потому что в следующий миг дверь с шумом распахнулась, и длинноносый, в черном фраке, похожий, как вы помните, на пингвина распорядитель влетел в комнату и замахал, будто атрофированными крыльями, коротенькими ручонками:

— Уходите! Живей! Туда!

Алкашки мои со всех ног ринулись в указанном направлении. Я поспешил за ними. Через мгновение мы оказались в совершенно темной комнате, пахнувшей мышами и нафталином и, очевидно, основательно пропыленной, потому что, вдохнувши пару раз, я чуть было не разорвался от чиха.

— Тише! Ты что?! — зашумели мои новые дружки. — Там слышно!

Но чох не жена, ему не прикажешь, нос мой стрелял, как миномет, и я не мог с ним ничего поделать. Однако вдруг ощутил я, как чья-то грубая ладонь обалапила мое лицо, зажав все дыхательные дырочки.

— Заткнись, скотина! — услышал я. — Он шума не терпит!

С перепугу я сразу же перестал чихать, но беспощадная ладонь не отпустила моего лица, намереваясь, видно, лучше задушить меня, чем обнаружить наше присутствие. С огромным трудом отодвинул я один суровый палец от своих губ и приоткрыл малосенькую дырочку, через которую и стал засасывать спасительный кислород.

События тем временем развивались своим чередом. Скрипнула дверь, будто заблела овда, и деловой голос, верно, какого-то еще более важного пингвина оплодотворил тишину:

— Все готово?
— Так точно,— доложил уже знакомый нам менее важный пингвин.
— Почему накурено?
— Не уследили, простите...
— Вы же знаете, что он бросил курить?! — Голос незнакомца стал угрожающим.

— Так точно.
— Вы же знаете, он дыма не любит...
— Так точно.
— И все-таки не уследили?
— Виноват. Грузчики... — Знакомый нам распорядитель, кажется, дрожал от страха.

— Ну смотрите, если он заметит, вам придется ответить...

— Так точно.
— Идите.
— Слушаюсь.

И уже известный нам пингвин зацокал каблучками. И куда же вы думаете? Туда же, куда и мы, грешные, то бишь в темную комнату, чем, дядюшка, освободил меня от кислородного голодания, потому что алкашата мои вздрогнули при его появлении, аки овцы при появлении пастуха с ножом, и жестокая ладонь на моем лице мгновенно вспотела и ослабла, и, выскользнув из нее, я отшагнул в сторону.

— Накурили, сволочи! — зашипел вошедший. — Я ж вам говорил!

— Да с устатку ведь... — попытался оправдаться кто-то из носильщиков.

— Я вам дам с устатку... Я вам дам... — начал было снова налетать на мужиков оскорбленный мажордом. — Вот без водки оставлю, тогда посмотрите...

Но тут в соседней комнате вдруг снова заблелась по-овечьи дверь, и некто кряхтящий, сопящий и хрустящий вдвинулся в нее. Все в нашем закутке мгновенно стихло, и даже дыхания соседей не улавливал я.

— Гм... Гм... — пробурчало, словно из преисподней, из антикварной залы. — Ну, и где же он?

— Вот, взгляните,— угодничал теперь уже более важный пингвин. — Вот, пожалуйста...

Затем послышалось кряхтение, сопение и хруст, будто сыпалось с места и зашагало засохшее дерево. Когда же эти прискорбные звуки стихли, утробный голос вновь омрачил пространство:

— Мм-нда, мм-нда... Хорош... Ничего не скажешь. И какой век?

— Шестнадцатый... Из покоев Басманова...

— Мм-нда... А мастер кто?

— Конфеткин Иван...

— Не знаю такого...

— Малоизвестен... Из народа... Самородок, можно сказать. Не открытый еще... На Серпуховщине проживал...

— Молодцы, молодцы,— словно из болота пузыри, выбивались со дна его гортани слова,— уважили старика... Утру я теперича нос Васятке...

Потом послышалось хрюканье, которое, очевидно, было смехом, так как вслед за ним рассыпался мелким бесом в хихиканье многоуважаемый пингвин.

— Ну что ж... — оборвал его откровенное подоби-е страстие хозяин дома. — Мм-нда... Вам с Аркадием по месячному окладу. За радение... Грузчиков угостить по первому разряду. Да глядите, не купитесь... Народ обижать нельзя... Мм-нда... Хорош... Ничего не скажешь...

Затем голос хозяина стал стихать, и сопровождающие его хруст и сопение тоже стали удаляться, потом вновь заблелась по-овечьи дверь... Мои новые дружки захихикали и в предчувствии опохмеля зашуршали ладонями. Малоуважаемый пингвин тоже приободрился.

— Вас приказано угостить. Попрошу всех в столовую...

Мы поднялись, отдернулся бархатный полог, и снова шкафы встали перед нами. Но дружки мои уже не задерживались в антикварной зале, а прямым путем — видно, не раз бывали здесь — направились в коридор. Мы шли по мягким коврам, среди раскидистых пальм и фикусов, по которым, так же как и

в саду, прыгали канарейки и попугаи. На стенах были развешаны портреты. Одно и то же лицо постоянно встречалось на фотографиях, и, заметив это, я стал внимательнее вглядываться в них. Жизненный путь хозяина дома поразил меня. Вот он, юный совсем, на поджаром скакуне, в лихо заломленной буденовке, с деревянной кобурой нагана на поясе... Вот он в клинчатой кепке, в выгоревшей гимнастерке, перепоясанный ремнем, уже тяжеловат, уже не юн, но все же еще молод, с колоском в руке возле убогого «Фордзона» на фоне обтрепанного лозунга «ДА ЕШ КОЛЕКТИВЕЗАЦИЮ»... Вот он кругленький уже, лысый наполовину, в военной форме, с кубарями в петлицах, но с гражданской статью в теле на фоне танка, склонившийся над военной картой... Коридор был длинен, метров двадцать, и по обеим сторонам его висели портреты. С каждым новым шагом герой наш все сильнее старился и полнел, и все больше орденов и медалей появлялось на его и без того блестящей груди. Но последнюю фотографию я не могу не вспомнить. О, это был знаменательный снимок, апофеоз, можно сказать, триумф великой жизни — в самом высоком зале, самый высокий человек вручал хозяину дома самый высокий орден. Фотография была сделана в натуральную величину и окружена, как нимбом, сотней золотых лампочек. Но только все равно грустно было смотреть на награжденного: совсем уже ветхий и дряхлый, как гнилое дерево, с обвисшими плечами, с оттопыренной губой, с обнаженными белыми челюстями, он был похож на мертвеца, которого держат на свете лишь чарами волшебства. Но судя по тому, сколько места оставалось еще на стене, старик и не думал завершать карьеру и был полон сил и энергии.

Но наконец-то, дядюшка, коридор кончился, и мы вошли в небольшую столовую, причудливо окрашенную светом с улицы, пробивающимся через разноцветные — зеленые, синие, оранжевые — стекла. Один из четырех столов оказался уже накрыт. Буылка посольской водки, как голубой собор, возвышалась на нем. Бутерброды с красной и черной икрой отражали в своих икринках калейдоскоп оконных стекол. Белоснежные салфетки на тарелках, свернутые пирамидками, напоминали вершины Кавказа. На кухне, за деревянной перегородкой, что-то шипело и скворчало, и запахи эти заставили меня вспомнить, что я сегодня еще не ел. Я сначала подумал, что стол сей накрыт для каких-то почетных гостей, а нас поведут куда-нибудь в закуток. Но алкашки мои без раздумий направились прямо к посольской и, усевшись на старинные резные стулья, снова потеряли ладонями. Я, дядюшка, признаться, уже начал беспокоиться за исход своей авантюры. Окна в доме были наглухо забиты, и в случае разоблачения мне некуда было бы скрыться. А разоблачение могло последовать в любую секунду. Алкашки, опомнившись от шока, начали более строго и подозрительно вглядываться в мое лицо. Я даже занервничал от их недоверчивых прищуров. Однако случай выручил меня. Незнаком откуда подскочил к нам малоуважаемый пингвин и сияющей улыбкой предложил вымыть руки. Один за другим мужики, вновь почувствовав себя культурными людьми, стали выходить из-за стола и удаляться за перегородку. Оттуда возвращались они умытые и причесанные, с блаженными лицами. За ними вслед направился и я и, оказавшись перед двумя дверьми, дернул ручку ближней, но вошел... Нет, не в умывальню, а в комнату какую-то, то ли в кладовую, то ли в зверинец, до сих пор не пойму. Но только смуглокожие колбасы сталактитами свисали с потолка, но только перетянутые шпагатами окорка источали прозрачный душистый жир, но только рыжебокая белка кружилась в колесе, и ветер раздувал, как флаг, ее пушистый хвост... Были там еще и ежи в крошечных клетках-одиночках, и пирамидки консервных банок с лососевой икрой и балыком, аквариумы с золотыми рыбками, и... Но все это я видел как бы вскользь, потому что ветер в хвосте пушистым белки взбудоражил меня, напомнив о бескрайнем небе. И, обернувшись в сто-

рону, откуда он дул, я наконец-то увидел то, чего так давно искал в этом доме,— распахнутое окно, мой дядюшка. И еще обнаружил я, что тумана давно уже нет, небо сияет голубизной, и солнце отражается в стекле. Мысль о бегстве мгновенно мелькнула в моей голове, и, встав на подоконник, я хотел уже взмахнуть крылами, но тут городошные палки колбас закатились у меня перед глазами, и страдания Антония Петровича о копченой колбаске вспомнились. Стыдно, стыдно признаваться в том, что содеял я после. Но что было, то было. Каюсь, каюсь, каюсь, как сказал бы поэт. Да, дядюшка, вы правильно догадались — я сдернул с крюков и сунул за пояс пяток окаменевших от качества колбас да еще — что греха таить, исповедь лжи не любит — насовал в карманы дюжину банок с черной и красной икрой, моргнул на прощание белке, которая, изумленно прижав к груди лапки, свидетельствовала мое воровство, и, пожелав всем здоровья и долгих лет жизни, сиганул в окно.

Приятно творить добро

Однако лететь теперь было труднее. Колбасы упирались в пах и мешали движениям. Консервные банки в карманах пиджака от взмахов крыльев шарахались друг об друга, производя глухие чмокающие звуки. К тому же голод — я ведь с утра ни маковки не проглотил — все настойчивее напоминал о себе тоскливым бурчанием в животе. Короче, к исходу второго часа я был уже в изнеможении и, едва держась в воздухе, неумолимо терял высоту. К счастью, Хлынь наконец-то открылась моему взору. Расправив крылья, я стал планировать вниз.

Был уже вечер, тихий, ласковый. Заходящее солнце отражалось в окнах домов. Хлыновцы семьями сидели на скамейках и, с удовольствием пожевывая корешок, любовались закатом.

— Ах, хорошо-то как... — доносились до меня их ленивые слова.

— Истинный бог, хорошо...

Я вспомнил Хлынь, окруженную со всех сторон водой, я вспомнил затопленные леса и дороги, я вспомнил покосившиеся столбы и провода, висящие над самой водой, и, скажу вам честно, дядюшка, мне стало жутко от их сонного оптимизма. Наконец увидел я избу хозяйки моей и ее саму, сидящую на приступках с горестным лицом. При моем появлении Марфа Петровна поднялась навстречу.

— Костенька, миленький! — запричитала, прикладывая ладонь к щеке. — Хуже внуку моему. Много хуже. Сбегайте за врачом. Я уж два раза ходила, а его нет... Найдите его, Костенька...

Тут только вспомнил я, зачем летал в такую даль, совершенно забыв я о пенициллине из-за дурацкой этой колбасы, из-за рискованных авантур своих.

— Сейчас, конечно, Марфа Петровна, — успокоил я старушку. — Сейчас схожу. Только переоденусь. По лесу гулял. Промок весь.

С какою-то странной радостью закрыл я за собой дверь. «Сейчас я помогу, — шептали мои губы, — я и только я. И больше никто не поможет...» Коробки с пенициллином лежали в пиджаке, и, чтобы освободить его, я вытряхнул груз свой, все эти колбасы и банки, на диван. Но, сунув руку в карман, вдруг почувствовал — что-то неладит там, памяти упаковки и согнуты. У меня даже сердце защемило от такой неожиданности. Неужели разбились ампулы? С горьким предчувствием извлек я лекарство и вскрикнул от изумления — половина сосудов была перебита. Когда это произошло? Где? В полете ли? При приземлении неудачно? А может, совсем недавно, когда, забыв про пенициллин, использовал я пиджак как суму, тащил в ней грешный груз. Дрожащими пальцами трогал я сохранившиеся ампулы и едва не ревел. Но все же и это было лекарство, утешал я себя, для начала хватит, а после еще раз слетаю, экий труд... Решив так, я бережно выбрал из осколков уцелевшие ампулы и сложил их в коробку. Потом торопливо начал переодеваться. «Сейчас сгоняю за врачом, — думал я, — отдам ему лекарство.

И баночку икры в придачу, чтоб лучше лечил мальчонку... Хорошо-то как. Так приятно делать добро...» Тут скрипнула калитка, и, выглянув в окно, я, к радости своей, увидел того, за кем хотел идти, — Александра Иваныча, доктора нашего. Марфа Петровна встретила долгожданного гостя на ступеньках, брала под руку и, причитая что-то, тащила к себе в половину. Тут понял я, что подошло мое время выступить на сцену. Укрыв провиант пиджаком, я высунулся в форточку.

— Александр Иваныч, — сказал, — зайдите-ка на секунду...

— Угу, — отрешенно кивнул ни о чем не подозревающий эскулап, — вот только проведаю больного...

— Нет, нет, — остановил я его требовательным тоном, — прямо сейчас зайдите. Не медля...

У Александра Иваныча от удивления поднялись брови. Марфа Петровна же нахмурилась, недовольная, что я задерживаю врача.

— Что ж, извольте, — пожал плечами доктор и повернул к моей двери, — иду...

Марфа Петровна, едва сдерживая праведный гнев, отвернулась от нас.

— Он мигом... — постарался я успокоить бедную женщину.

Но обиженная хозяйка даже не ответила мне.

Через мгновение Александр Иваныч возник на моем пороге.

— Чем могу служить? — стягивал он с головы шляпу.

— Вот, — без лишних слов протянул я ему коробку с пенициллином, — для мальчика...

— Откуда?! — Зрачки его расширились.

— По случаю достал... — ответил я первое, что пришло в голову, не готовый к такому вопросу.

— И где достали? — Александр Иваныч дрожащею рукою раскрыл коробку.

— Не могу сказать... — неумело изворачивался я.

— А еще сможете достать? — Эскулап испытующим взглядом смотрел мне в глаза.

— Не знаю, — смутился я, — вряд ли... И вот еще что, — наверное, уже зря, но все же говорил я, — у меня просьба... Ни слова никому, что это я нашел... — прижал я палец к губам. — И Марфе Петровне тоже ни слова...

— Это почему ж?

— Настоящее добро, — наконец-то сообразил я, как выкрутиться, — настоящее добро делается тайно...

— О!.. — то ли восхищенно, то ли издевательски проговорил доктор. — Да вы философ, Зимин... Не ожидал... Не бойтесь, не скажу...

Пожав мне руку, он нахлобучил шляпу на лысеющую голову и толкнул дверь. А я, опустившись на диван, почувствовал, как независимо от воли слипаются мои глаза.

Я делаю ход конем

И приснилась мне Сонечка, зело прелестная, в белом платье подвенечном, с развевающейся фатой, она то ли летела, то ли бежала ко мне, скрываясь в пушистой вате облаков и являясь снова. Я сидел на диване в своей комнате и сквозь раскрытое окно наблюдал ее чудное шествие по небесам. Мне хотелось подняться, мне хотелось вылететь на простор, мне хотелось воспарить навстречу милой моей, но тело было будто свинцовое, и, как ни пытался я, не мог шевельнуть и рукой.

— Сонечка... Сонечка... — хотел я позвать ее, но и губы мои не двигались.

А Сонечка наконец-то вылетела из облаков и начала спускаться вниз, словно по невидимым ступенькам шагала. С каждым шагом она была все ближе и вскоре уже подходила к моему окну. Открыв шире раму, Сонечка заглянула в комнату. Сильный ветер развеивал ее фату, теребил волосы.

— Костенька, — произнесла она, обводя взглядом мое жилище.

— Я здесь, Сонечка, — безмолвно шептал я.

— Костя... — не видела она меня. — Где ты?

Но я лишь бессильно раскрывал рот, но я лишь страдал от невозможности дать ей знак. В последний раз оглядев комнату, Сонечка улыбнулась грустно и, вздохнув, скользнула куда-то в сторону. И только ночь, только бездонное звездное небо, только бездушный лик луны видел я и, не в силах перенести одиночества, заплакал и... проснулся. Я обнаружил себя действительно сидящим на диване с глазами влажными от слез. Окно оказалось открытым, хотя я наверное помнил, что затворял его. И луну, и бездонное звездное небо видели мои глаза в проеме рам точно такими же, как во сне. И ветер гудел в проводах, колебал открытую раму... И все это — и сон, и небо, тоскливая луна и хищно воющий ветер — родило во мне такую тоску, какой я не испытывал еще никогда в жизни. И поразительно ясно я понял вдруг, что меня не было на земле прежде и не будет потом и что кусочек времени, отпущенный мне на этом свете, который зову я жизнью, упоминательно мал, так мал, что я и сам не могу того представить, и смерть моя близка, стоит где-то рядом с косою в костлявых руках. И стало мне страшно, дядюшка, и захотелось прижаться к живому, теплоте и родному... О, Сонечка, как я любил тебя в тот миг, как боготворил, как хотел слиться с тобой, как хотел родиться вновь в нашем ребенке. Но проклятый папаша твой тут же вспоминался мне, и суровые слова его: «Не быть тому...» — звучали в ушах и заставляли меня дрожать от ярости. В один из таких моментов, не умея больше терпеть, начал я вымещать злость на несчастном диване, колота по нему кулаками. Что-то твердое попало мне под руку и, прекратив избивание мебели, стал шарить я в темноте ладонью, ощупывая маслянистые колбасы и охлаждающие кожу кругляки банок с икрой. Моя авантюра вспомнилась мне, и дерзкая мысль пришла в голову. «Ох, Антоний Петрович, ох, и наколю же я вас, ох и разыграю... Вы у меня попомните Костю Зимина...» В нетерпеливом раже поднялся я с дивана, достал из шкафа рюкзак, напихал туда всякой всячины, а сверху сунул колбасную палку, нарочно не затолкав ее полностью внутрь, так что смуглокожий носик торчал из-под брезента, словно носик любопытной таксы. Когда все было готово, взглянул я в окно и, увидев, что темень уже рассеялась и солнце вот-вот покажется из-за леса, закинул рюкзак за спину и вышел в прохладное утро. Я шел по тишайшей улице, по скрипящему деревянному тротуару, еще влажному от росы, я шел по едва рожденному дню, еще не залапанному грязными руками и не оскверненному грубой болтовней. Я был, как канатоходец перед выступлением, как испытатель перед полетом, как мальчишка перед первой встречей с любимой девочкой. Я волновался, но решимость моя была настолько сильна, что о пути назад я не хотел и помыслить, и потому тело мое, несмотря на нервное подрагивание, было крепко и покладисто. Солнце, со слипшимися глазами дома плыли сбоку. Солнце золотило влажные крыши. Я шел, будто праздный дачник, руки в карманах, губы трубочкой, легкомысленный посвист будил дремавших собак. Но в мыслях моих легкости не было, мысли были упруги и холодны, и, словно Штирлиц, словно Максим Максимыч Исаев, глядя себе под ноги, я видел все далеко вокруг. Я видел, как шевелилась занавеска в окне соседнего дома, и пухлое лицо бабы прижималось к стеклу — куда это прется учитель в такую рань? Я видел, как ковылял вразвалку от крыльца к уборной дед Мохов, и слышал, как отчаянно жужжала муха, запутавшаяся в его бороде. Я видел... как далеко впереди, там, где блестел перламутровыми стеклами «Универсам», в сопровождении двух белых боксеров переходил улицу тот, кто был нужен мне. Антоний Петрович, посмотрим, что скажете вы? Посмотрим, как напугает вас смуглокожий носик любопытной таксы! Вскоре уже подходил я к березовой рощице, шумящей превесело юной листвою. Еще издали разглядел я Антония Петровича, сидящего на битой вчера мною ветке, глядящего сосредоточенно на адидасовские кроссовки свои, думающего тоскливую мысль. «О чем задумался, детина?» — хотел я ласково спросить. И я спросил, но только не ласково и прямо, а как бы походя, из праздного интереса:

— Здравствуйте, Антоний Петрович... Собачек гуляете?

Реакция его понравилась мне. Не зря, кажется, прошел вчерашний спектакль. Антоний Петрович, увидев меня, поднялся даже, и легкий восточный полупоклон обозначился в его позе.

— Здравствуйте, Костя.

Но тут же, наверное, вспомнив о своем сани, опять напустил на себя важный вид. Собаки его, белошерстные Рэм и Сэм, тоже занервничали и, вытянув шеи и наклонив головы, исподлобья рассматривали меня. Когда же хозяин сказал: «Здравствуйте, Костя», — они кивком тупорылых морд тоже поздоровались со мной. Но стоило Антонию Петровичу взять себя в руки, как короткохвостые твари тут же потеряли ко мне всякий интерес и снова начали задирать ноги у белоснежных берез. Похлопав себя по карманам, словно бы что-то ищущ, взглянул я на Сонечкиного папу.

— Извините, Антоний Петрович, не найдется ли у вас спичек? Позабыл... Неохота возвращаться...

На лице Антония Петровича явилась подобострастная улыбка:

— Спички? Пожалуйста... А может, и закурить? Посидели бы, подымили. Вот «Филиппок»... А? — В руке Антония Петровича возникла знакомая мне пачка «Филип-Морриса».

— Нет, нет, — отмахнулся я, — курить не буду, но посидеть можно...

Я стянул рюкзак и поставил его пред очами Антония Петровича, так что колбаска смотрела прямо в лицо Сонечкиному папе.

— Утро-то какое, — сказал я, усаживаясь, — птички поют...

— Да, — произнес напряженно мой собеседник, — славноенькое утречко...

Взгляд Антония Петровича был направлен куда-то вдаль и совсем не интересовался моим рюкзаком. Верно, вконец одолели мужика заботы. Я уж теряться стал, не зная, что делать дальше.

— Значит, гуляете...

— Гуляю... — Антоний Петрович едва заметно скрипнул рот, видно, усмехаясь моим речам.

Эта его замаскированная улыбка совершенно выбила меня из колеи. Теперь я уже положительно не знал, как дальше себя вести, и, словно двоечник у доски, тупо молчал, вытирая со лба нервный пот. Но тут четвероногие наши друзья, короткошерстные Рэм и Сэм, совершенно неожиданно пришли мне на помощь. Неизвестно почему именно в тот миг ощутили они сладкий дух колбасы и в одну секунду, будто договорившись, кинулись к рюкзаку и, если бы я хоть чуточку зазевался, вцепились бы в колбасный носик. Но я был настороже. Аки вепрь, метнулся я к своему богатству.

— Цыть! Цыть! Проклятые! Кому говорю!

Но псам, наверное, до ужаса хотелось колбаски, и, остановив свой прекрасный бег, они тем не менее все равно надвигались на меня, с рыком, медленно, но неустойчиво, как бандиты, замыслившие грабёж.

— Антоний Петрович! — почувствовал я неумолимую звериную рьяность. — Да отгоните же их!

Сонечкин папа пришел мне на помощь.

— Фу! — произнес властно и коротко, подняв над головой арапник.

Псы тотчас замерли.

— Что это с ними? — не понял Антоний Петрович.

— Да вот захотели меня завтрака лишить, — доходчиво разъяснил я ему ситуацию, указав на торчащую из рюкзака колбасную палку. — Мясо почуяли, оглоеды...

После этих слов, дядюшка, я затих, ожидая звуковой реакции. Но ни криков, ни вздохов не услышал я, и, уже начиная расстраиваться, обернулся к Антонию Петровичу и обменял: Сонечкин папа, белый, как лист бумаги, на котором написаны эти слова, закрыв глаза, покачивался, словно шест на ветру.

— Она... Она... — шептали посиневшие губы. — Откуда?

Признаюсь, дядюшка, не ожидал я подобного пассажа. Что-то, но только не обморок предполагал я и нашатыря с собою не прихватил. Единственное, чем

мог я помочь Сонечкину папе, это взять его под мышку, усадить на зеленую травушку и помахать на безжизненное лицо козырьком старой кепки. Я старался, и от стараний моих Антоний Петрович вскоре опомнился, пот выступил на щеках, румянец проклюнулся. Когда же несчастный наконец открыл глаза, спросил я сочувственно:

— Что с вами? Может, «Скорую» вызвать?

— Нет, Костя, не надо,— шевельнул он рукой,— пустяки... От бессонницы... Сплю плохо...— Так говорил Сонечкин папа, а сам, я видел, давил косяка на колбаску и кадыком неумоимо работал, в истоме заглядывая слюну.— По пять шестьдесят...— сладострастно прошептал Антоний Петрович, не удержавшись, чтоб не потрогать дефицит.— Сырокопченая... Нда... Простите, а где вы ее брали?

— Купил-то? — напрягся я, почувствовав, что наступает решающий момент операции.— Да я не покупал. Мне дядя прислал...

— Кто? Кто? — переспросил Антоний Петрович.

— Дядька... Он у меня в Москве, в Госснабе работает. Вот и шлет понемножку. То колбаски, то икорки, то еще чего-нибудь. Один я у него племянник-то, своих детей нет, вот и балует меня...

Антоний Петрович выпятил губы, покрутил головой и снова покачулся, закатывая глаза. Но я удержал его и, с новой силой принявшись обмахивать кепкой, продолжил:

— Зовет меня к себе, один он в квартире-то, живи, говорит, пропишу, чего мне одному в трех комнатах делать. Женись, говорит, внучат, говорит, хочу...

Так фантазировал я, а сам время от времени ловил глазами взгляд помутневших от обморока зрачков Сонечкиного папы. Когда же увидел на щеках его слезы, умолк, понимая, что дело сделано и пора останавливаться.

— До свидания, Антоний Петрович,— поднялся я.— Пойду...

— До свидания, Костенька,— трепетно выговорил Сонечкин папа, и я понял, что на светофоре моей любви загорелся зеленый свет.

Знакомьтесь: Любопытнов...

Проследив, как ушагал Сонечкин папа по безлюдной дороге, я свернул в проулок и задами вернулся избу. Я чувствовал себя таким усталым, будто бы в одиночку разгрузил вагон с песком. А я ведь, дядюшка, всего лишь прогулялся да поболтал о том о сем с Антонием Петровичем. Вот что значит нервы... Войдя в дом, я ощутил, что буквально валюсь с ног от изнеможения. Я не стал мучить себя. Каникулы есть каникулы, хочу — сплю, хочу — гуляю, моя воля. Решив так, я зашторил окно, рухнул на диван и, натянув на голову одеяло, тут же уснул. Проспал я, помнится, часов пять, сладко, спокойно, без снов, и почивал бы, наверное, и дальше, если бы не разбудил меня стук в окно. Открыв глаза, я прислушался. За шторой мне не было видно говорящих, но по голосам я узнал их.

— А я говорю, он дома,— утверждала Марфа Петровна.

— Да не может быть,— возражал ей мужчина, в котором с удивлением узнал я завхоза нашей школы Любопытнова.— Он еще с утра куда-то ушел...

— А я говорю, дома,— уже начинала сердиться строптивая старушка моя.— Он точно куда-то ходил... Но после вернулся.

— Вернулся? — Голос Любопытнова был полон изумления.

— И спит. Уже несколько часов дрыхнет...

(Марфа Петровна, наверное, еще не простила мне вчерашней моей беседы с врачом).

— Так я пойду? — вкрадчиво спросил завхоз.

— Пожалуйста,— молвила старушка,— мне-то что?..

— Спасибо,— услышал я голос Любопытнова, и вслед за тем шаткие ступени крыльца заскрипели под его ногами.

Через секунду он должен был войти, и я, чтобы гость не догадался, что слышен был мне разговор,

закрыв глаза. Скрипнула дверь, шелохнулась от волны воздуха занавеска, и я ощутил на себе чужой взгляд. Это очень неприятно — притворяться, но делать было нечего, и я лежал, дышал, как младенец, ровно и невинно, расслабив мышцы лица, и только ресницы не подчинялись, подрагивали нервно. А Любопытнов не торопился будить меня. С тревогого слышал я, как ходит он по комнате, словно отыскивая что-то. Я слышал даже, как приподнимал он одежду, раскиданную по всему дому. Потом неясный звук, будто открывали какую-то дверь, уловил я. Едва разомкнув веки, сквозь сетку изогнутых ресниц увидел я весьма странную картину: Любопытнов, распахнув холодильник, заглядывает в него, осторожно и трепетно, как в окно женского общежития. Что ему надо? Зачем он это делает? Ведь там же икра и колбаса? Я чуть не застонал от злости. И чтобы прекратить обыск, заерзал на диване. Дверца холодильника тут же захлопнулась, и Любопытнов прошагал к моему ложу.

— Зимин... А, Зимин... — проговорил он притворно ласково, касаясь моего плеча.— Проснитесь...

— А? Что? — так же притворно изобразил я разбуженного человека.— В чем дело?

— Ну и спите же вы, батенька,— улыбался мой гость одною стороною лица.— Полдень уже...

— Каникулы... — отвечал я первое пришедшее в голову, гадая о цели его визита.— Имею право...

— Каникулы каникулами,— по-молодецки расправив плечи, прошелся по комнате Любопытнов, демонстрируя мне американские джинсы и японскую, точь-в-точь такую же, как у Антония Петровича, куртку,— а внеклассная работа внеклассной работой... Меня к вам директор прислал. Сегодня ваш график работы на пришкольном участке. Так что к тринадцати часам будьте любезны...

Взгляды наши встретились, и в серых, как будто бы без зрачков глазах завхоза я разглядел вдруг незнакомую мне ранее злость.

— Хорошо,— ответил я тихо,— приду. Что надо делать?

— Окапывать яблони с пятым классом. Всего доброго.

Любопытнов развернулся, показывая мне какой-то затейливый иероглиф на широкой и молодой своей спине. Я видел, как он мелькнул в проеме неплотно задвинутых штор, красивый и стройный, с уверенным выражением бывшего десантника на лице. «Зачем он приходил? — думал я.— Какой-то странный визит... Откуда он знает, что меня не должно быть дома?» Смутное подозрение зародилось в душе. Я и прежде воспринимал Любопытнова с настороженностью. Какой-то неподходящий он был для завхоза. Мужик у бы землю пахать, а он с глобусами возился и другой рухлядь из школьной кладовки. И на сто неполных рублей ухитрялся одеваться, словно мачо-менчик из салона Зайцева. И с нашей братией, учителями, держался высокомерно, вежливо презирая нас всех вместе взятых. И странно — мы, рефлектирующие выпускники педагогических вузов, не могли ничего противопоставить его презрению и тайно, замаскированно, но все же побаивались его. И в тот день я, несмотря на чувство протеста, возникшее во мне при столь странном поведении Юрочки (так звали мы меж собой Любопытнова), все равно не сумел осадить его и, только когда он ушел, принялся переживать и возмущаться. «Зачем он приходил? И почему обыскивал комнату? Для какой надобности заглядывал в холодильник? Наглец... Ведь он же увидел там икру и колбасу...» Так думал я, а сам одевался, как полагается одеваться, когда идешь в школу — костюм, галстук и все такое прочее... Я зашнуровывал себя, прятал душу и тело в панцирь, готовился к работе, и постепенно тревожные мысли отступили, и я принялся думать о школе. Что буду я говорить детям, работая с ними в саду, какие примеры из истории приведу? Толстой пахал в Ясной Поляне... Чехов сажал деревья в Мелихове и Ялте... Есенин любил косить... Но что же еще-то, что? Мало мне этого казалось. И вышагивая по скрипящему тротуару к школе, я думал, что слабо еще знаю свой предмет с этой

стороны и надо бы за каникулы ликвидировать сей пробел...

Благие мысли, дядюшка, благие намерения... А ими, как известно, выстелена дорога в одно мало-приятное место. И моя, наверное, тоже, потому что, подходя к школьному саду, я вдруг увидел Сонечку, и просветительские иллюзии мои разлетелись, как голуби при появлении кошки. Сонечка шла — вот жаль — по другой стороне дороги, по параллельному тротуару, и, вначале рванувшись к ней, я все же передумал, не побежал, постеснялся чего-то. Во все глаза глядел я на мою милую в надежде встретиться с нею взглядом, но Сонечка, как сомнамбула, шагала, не видя ничего вокруг. Так мы и разошлись, будто чужие. И с той минуты, дядюшка, я думал уже не об учительском долге, а о несчастной любви своей, целый день думал и потому не помню даже, как оккупывал яблони с детьми. Но зато вечер весь в моей памяти, дядюшка, весь, до каждой секунды, кажется, — потому что вечером пред закатом солнца постучалась в окно моя надежда в образе прекрасной неписуемой Сонечки.

Визит прекрасной дамы

О, дядюшка, вы знаете этот пальчик, нежный, ласковый, вы знаете блестящий розово ноготок, знакомы вам сии милые суставчики, в которых, как в иероглифе, видится нам порой целое царство. Ведь вы любили, мой дорогой, и пухлые пальцы дородной супруги вашей хоть когда-то, хоть на день, хоть на час были для вас средоточием всех желаний, и хотелось коснуться их, хотелось ощутить их тепло, хотелось задержать в ладони, хотелось поцеловать... Но хватит, хватит, размечтался, дурачок. Ничего уже нет. Сонечка далеко от меня. И я совсем один на жесткой больничной койке уже который день, которую ночь. За окном идет дождь, стекло все в каплях, словно в слезах. Свет фонаря едва освещает тетрадь, и оттого буквы из-под моего карандаша наползают друг на друга, как тараканы. И мне горько, ох, как горько, дядюшка, и, если бы не эта повесть, я бы, наверное, сошел с ума. Но что за диво! Она спасает меня. Картины будто наяву встают передо мной и успокаивают душу. И вновь я вижу тот вечер, как шел я из школы, усталый и пустой, отчаявшийся и разочарованный. Так важно в столь горькие минуты хоть с кем-нибудь перемолвиться, так важно взглянуть в человеческие глаза. И потому-то, может быть, увидя Марфу Петровну, возившуюся в огороде, я не удержался и, несмотря на нашу размолвку, спросил:

— Чем занимаетесь, Марфа Петровна?

Но бабушка только покосилась на меня с укоризной и, даже не разжав сухих губ, опять взялась за лопату.

— Марфа Петровна, вы что, обиделись на меня? — спросил кротко. И так, видно, трагически прозвучали мои слова, что женщина не выдержала:

— Обиделась, да... А как не обидется?

Я пожал плечами.

— Эх, вы, — уже примирительно молвила старушка, — а еще учитель. Таких простых вещей не понимаете. За внука своего обижаетесь. Совсем не беспокоитесь вы о нем. Чужие люди, и те больше заботятся... Вон доктор и лекарство достал, и два раза на день приходит уколы делать. А вы? Вы даже не спросите, как мальчик себя чувствует. Да ну вас...

Я стоял пристыженный, смотрел на свои башмаки, однако мне становилось легче.

— Но все же, как мальчик-то? — спросил я. — Лучше ему?

— Лучше, лучше, — совсем уже позабыла обиду Марфа Петровна и, посматривая на небо, перекрестилась. — Бог миловал. Есть начал мальчик, спал всю ночь... Это он меня, — опять посмотрела на небо — за валерьяну наказал, за мерзость эту... Решила я избавиться от нее, пока не поздно. Картошку лучше посажу. Хватит с розовыми глазами-то ходить...

Тут только заметил я, что делала Марфа Петровна, она же валерьяну перекапывала, уничтожала начисто. Я возликовал. Ведь это я их спас, старушку и мальчика! Я! Я!

Я зашел к себе, взял с полки любимейшего моего Гофмана и вскоре уже сидел перед мальчиком, читал ему «Золотой горшок». И Марфа Петровна, придя с огорода, примостилась рядышком, кормила Володю с ложечки манной кашей. О, век бы продлиться этой сцене! Но тут раздался стук в стекло.

— Кто это там? — поднялась с кровати Марфа Петровна и глянула в окно. — Хм, — голос ее сразу поглубел, — Константин Иннокентьевич, это к вам. Сонька, директора магазина дочь...

Затрепетав всем телом, как флажок на ветру, вскочил я со стула и, в два прыжка оказавшись на крыльце, увидел Сонечку.

— Я к вам, Константин Иннокентьевич, — сказала она, потупив взгляд. — Можно?

— Сонечка, милая, — почти в беспамятстве лепетал я, — что вы говорите? Я весь ваш... Вы же знаете...

— Так я пройду?

В голосе ее я услышал тревогу и, уразумев наконец, что ей мало моих слов, взял гостью за руку и повел к себе.

— Сонечка, я сейчас, — посадил я милую на диван и сунул ей Гофмана. — Ведь вы чаю выпьете?

— Выпью... — сказала она, а сама книжку взяла, раскрыла наобум и стала смотреть в нее невидящим взглядом, как будто не Гофман пред ней, а какой-нибудь бухгалтерский справочник.

Я принялся расставлять закуски на столе, но вдруг услышал какие-то всхлипы. Взглянув на Сонечку, увидел я, что она плачет, слезы каплют на страницы. — Сонечка, что с вами? — остановился я как вкопанный.

— Ничего, — шмыгнула она носом.

— Но вы плачете?

— Да... — широко распахнула она голубые, как небо весной, глаза.

— Отчего же? — спросил я, присев к ней.

— Потому что я к вам нечестно пришла... — проговорила моя милая, и слезы опять потекли по ее нежным щекам, оставляя на них красные, как шрамы, полоски.

— Как — нечестно? — взял я Сонечку за руку.

— Меня папа прислал, из-за колбасы... — Лицо девочки стало пунцовым. — Попроси, говорит, у учителя своего, пусть он продаст колбасы батон. Он, говорит, тебе не откажет. И деньги вот дал... — Сонечка вытащила из нагрудного кармана две хрустящие десятки и протянула мне.

— И отчего же вы плачете? — словно не замечал я денег.

— Потому что я обманула вас, обманула... — Сонечка снова захлопала носом и в отчаянии сжала красные купюры в маленьком кулачке.

— Но почему же обманули? Разве вы так просто ко мне бы не пришли? — Вместо ответа Сонечка опустила глаза. — Ну почему же? — Я чувствовал, что сердце мое останавливается.

— Папа не разрешает... — едва выговорила Сонечка, и сердце мое снова заколотилось.

— А если бы разрешил, вы бы пришли?

— Наверное... — посмотрела она на меня несчастным зверьком. — Вы добрый...

Ох, дядюшка, я помню тот час, будто сон. Сонечка сидела передо мной, пшеничные волосы струились по ее плечам, перламутровая пуговица то и дело растягивалась при вздохе на Сонечиной высокой груди. Глаза ее блестели. О чем говорили мы? Ни о чем и обо всем одновременно. Я наливал Сонечке ромашкового чаю, показывал на закуски.

— Пейте, милая, ешьте...

— Какой вы добрый... — улыбалась она и ложечкой, будто манную кашу, ела икру.

Но коротко счастье. Словно птица махнула крылом, так быстро все прошло. Вдруг забили часы за стеной, на половине хозяйки моей, и Сонечка, прислушавшись, стала считать удары. Когда часы кончили бить, спросила неожиданно строго:

— Что? Неужели восемь?

— Да, — взглянул я на будильник.

— Ох, — вскочила со стула Сонечка, — мне пора. Меня ждут.

— Кто ждет? — бестактно спросил я.

Но Сонечка не ответила, а только потупила взгляд, к кроссовкам наклонилась завязывать шнурки, как будто они и без того не были крепко завязаны. Признаком, дядюшка, в тот миг я не обратил внимания на странности Сонечкиного поведения и сам собираться стал, чтобы проводить ее.

— Нет, нет, Константин Иннокентьевич, — мне показалось, испугалась она. — Меня провожать не надо...

Но я и испугу тому не придавал значения. Славная, только подумал, не хочет меня утруждать. (Ох, любовь, любовь, ты куриная слепота...)

— Нет, Сонечка, я провожу, — сказал я наивно, — мне все равно нечего делать.

Потом открыл дверь и хотел уже на улицу выйти, но тут взглянул на девочку мою и поразился: я не узнавал ее. Глаза Сонечки были, как две монеты, серые, поблекшие, затертые тысячами пальцев, нос заострился, губы опустились, как у театральной маски трагика.

— Что с вами? — испугался я. — Вам нехорошо?

— Нет, все нормально, — едва не заикалась она, — я просто... — Сонечка зачем-то кивала на холодильник, но я, балбес, не понимал, и девочке пришлось таки напомнить мне о том, что должен был бы я вспомнить сам. — Я просто... — повторила она, едва шевеля губами, — колбасу забыла...

— Ох, извините! — вскинул я руки вверх. — Совсем из памяти выскочило...

Я полез в холодильник, извлек оттуда колбасную палку и протянул Сонечке.

Откуда-то явилась сумка — я и не заметил, как Сонечка ее принесла, — взвизнул замок, сумка раскрыла пасть, и колбаса улетела в нее, словно в бездонную яму. Сонечка тут же успокоилась, опять стала милой и симпатичной и, когда я настойчиво двинулся ее провожать, кивнула:

— Ну ладно уж, проводите. Но только до угла, не дальше...

Мы вышли на улицу в алые лучи заходящего солнца. Сонечка взяла меня под руку, и мы зашагали с ней рядом под блестящими взглядами сплетниц на вечерних скамейках. Я счастлив был тогда, дядюшка, и мне было радостно оттого, что они видят нас вместе с Сонечкой. И мне хотелось, расправив крылья, взлететь у всех на глазах и кричать, паря над верхушками деревьев: «Люблю! Люблю!» Но я лишь прижимал к себе теплую ладонь Сонечки и блаженно щурил глаза. У поворота она остановилась.

— Все. Дальше не ходите, — сказала строго.

Я грустно смотрел ей вслед. Я видел, как прошагала Сонечка через всю улицу, как повернула к себе в ограду. И когда она уже скрылась за зеленым облаком вишни, я разглядел вдруг, что знакомый мужчина возник у их калитки и, по-своему открыв ее, вошел во двор. Меня начало трясти — то был Любопытнов...

Ревность

Некоторое время я стоял, словно столб, не имея сил двинуться с места. Но после, наконец-то столкнув себя, зашагал к дому. Однако мозг мой как будто воспалился. Одни и те же вопросы пробегали по его извилинам, как по ленте испорченного телеграфа: «Любопытнов? Туда? Зачем? Любопытнов? Туда? Зачем...» Вернувшись домой, я рухнул на диван и уставился в потолок. «Любопытнов? Туда? Зачем?» — крутилось в голове. Битый час, наверное, мучился я в приступах ревности. И вдруг кошмарная догадка подняла меня с лежбища: а может быть, Сонечка потому и не велела ее провожать, что боялась нашей с ним встречи? Дальше — больше, дядюшка. Вы ведь знаете фантазию ревнивцев. Через минуту я уже бежал по комнате, как тигр по клетке. Картины одна жутче другой представлялись мне. То виделся шикарно накрытый стол (и на нем колбаса, моя, порезанная тонкими ломтиками, для того и брали), за столом Сонечка и завхоз расселись важно, а по бокам Антоний Петрович с толстозадой своей супружницей...

То виделось мне, как наливает Антоний Петрович в фужеры шампанского, и оно, пенясь, становится словно вата... То слышались мне сияющие, будто новые рубли, слова Антония Петровича: «Ну-с, дети мои, с помолвкой вас...» То виделось и вовсе умопомрачительное, как поднимаются, выждав момент, догадливые папа с мамой и тихо уходят к себе, и самоуверенный Любопытнов тянет наглую руку к Сонечкиной талии... Нет, дядюшка, дальше терпеть я не мог и, не в силах утихомирить свои страсти, выскочил на крыльцо и зашагал к Сонечкиному дому.

А между тем сумерки укутывали землю в зябкую черную шаль. Я шел по влажной траве, ощущая кожей, как холодна и обильна роса на ней. Только тогда заметил я, что вышел из дому в старых домашних тапочках. Но охоты возвращаться не было, и я так и побрел по улице, как больной по больничному коридору, шлепая задниками стоптанных тапочек. Уже становилось студено, и старушки, ретивые стражи хлыновской нравственности, не вытерпев стужи, поднимали отсиженные зады с наблюдательных постов и, довольные не зря проведенным вечером, шагали по измам, на покой, в предвкушении сладкого сна переговариваясь умильно:

— Айда, девки, я пошла спать... Щас корешка пожую и завалюсь... У меня уж постелено...

— А я чайник под одеяло поставила... Лягу, а там уж тепло, будто мужик нагрел...

Я шагал мимо и думал: «Счастливые, ничто-то их не волнует, ничто не мучит, все позабыто, все в прошлом, и души их спокойны и пусты...» Наивный, кому я завидовал? Старым, бессильным и больным. Но человек в горе завидует всем, даже нищему и слепому.

Вскоре очутился я перед домом прекрасной моей Сонечки. Антоний Петрович на славу благоустроил свое жилище. Дом был высок и крепок. Дощатый двухметровый забор с колючей проволокой поверху скрывал от любопытных взглядов широкие окна. Но, прислонившись к ограде, я все же сумел сквозь узкую щель разглядеть, как парадно и щедро светятся они. Одно окно оказалось приоткрытым. Но больше ничего не смог заметить я, потому что занавески были сдвинуты плотно. Стояла тишина, такая пронзительная, что даже стрекот кузнечиков на полях различал мой слух. И в этой тиши страшно преступным казалось мне безмолвие в Сонечкином доме. Если бы хоть свет не горел в окнах, то было бы все объяснимо, но он полыхал вовсю, словно там заседала городская дума. От этой страшной тишины беспокойство мое еще более усилилось, фантазии разыгрались, и, забыв осторожность и приличия, я стал искать способ заглянуть внутрь Сонечкиных хором. Пройдя вдоль забора, я нашел другую, более широкую щель и сквозь нее стал изучать дом, как Метелица из «Разгрома» изучал белогвардейское логово. Только сейчас, приглядевшись, заметил я, что плотные шторы закрывают окна наполовину, что верх рам завешен узорчатым тюлем. Окна были высокими, и если бы кто-то и захотел заглянуть в них через прозрачный тюль, то все равно бы не дотянулся, будь он хоть дядя Степа из стихотворения Михалкова. Ах, как бы заглянуть туда? Но как, как? Тут вспомнил я о своих крыльях и изумился простоте задуманного. Рядом с Сонечкиным домом за забором росли два тополя, и один из них был как раз напротив приоткрытого окна, и если бы сесть на его толстую ветку, то можно было бы наблюдать все, что происходит в комнатах. А вероятно, даже и слышать. Так я и сделал. Оглянувшись, увидел я, что улица темна и пуста и меня никто не засечет, и, вспорхнув, как мотылек, я в мгновение вознесся над забором и оказался на верхушке тополя. Потом, спустившись, достиг толстой ветки перед окном. Расположившись на ней, как всадник на лошади, я прищурил глаза и увидел... Но об этом, как говорят старые романисты, в следующей главе.

Тайная вечеря

Я увидел шикарно накрытый стол: зелень, огурчики, помидорчики, салаты всякие, колбаска (моя), порезанная тонкими, прозрачными ломтиками, селедоч-

ка с серебряной жирной спинкой, дюжина водки в фольговых кокетливых шляпках... Стол был накрыт на двенадцать персон. Все было в полной готовности к пиршеству, все ждало его, изнывая от нетерпения. Однако комната была безлюдна, словно сцена перед спектаклем. Несколько минут ждал я, томясь и потев. Поднявшийся вдруг ветер обдувал мою спину, липкая листва хлестала по щекам, будто наказывая за дерзость. Но я был терпелив, и вскоре терпение мое вознаградилось, потому что дверь неожиданно отворилась и в комнату вошла Сонечка. Она была уже в платье, белом платье из марлевки, развратной материи, просвечивающей, как целлофан. Платье свисало до самых пят, что придавало Сонечке томный вид, делая ее похожей на барышень из романов Тургенева. Зачарованно смотрел я на милую. Что она будет делать? Зачем пришла сюда? И для чего так вырядилась? Кого собралась заманивать и соблазнять? Уж не Любопытнова ли? И, несмотря на ветер, мне стало жарко от этих мыслей. А Сонечка обошла вокруг стола, осматривая взглядом хозяйки, все ли в порядке, затем, выгнувшись за дверь, не идет ли кто, взяла осторожно с тарелки кусочек колбасы и сунула за нежную щеку. Потом уселась на диван и задумалась. Взгляд Сонечки был устремлен в окно, прямо на меня, и хотя я знал наверное, что она не видит ничего в крошечной тьме из ярко освещенной комнаты, мне все равно стало не по себе оттого, что подсматриваю я ее жизнь. «Нельзя так поступать, — совесть начала мучить меня, — низко это. Слезай и уберись восвояси. Будь что будет...» Но едва я так подумал, как двери распахнулись и толпа шумных мужчин ввалилась в залу. С изумлением разглядывал я их. Половина из вошедших оказалась знакома мне. Тут был уже известный нам завхоз Юрочка Любопытнов, тут находился тучный и круглый, словно буква «О», управляющий хлыновского банка Быгаев, тут шустренько размахивал конопатными руками снабженец из детского дома Ашот Араратович Казбек, хотя на вид был совершенно русский человек, тут притаился в углу, как кузнецик, директор хлыновского элеватора Бухтин, тут... Ну, да хватит перечислять. Я же ведь исповедь пишу, а не донос. Добавлю только, что среди видных и небезызвестных в Хлыни граждан присутствовал, как вы сами понимаете, и досточтимый хозяин хлыновского «Универсама» Антоний Петрович Мытый... Гости входили по двое и по трое, увлеченно обсуждая что-то, перебирая в руках, пересчитывая и пряча в карманы какие-то красные купюры, похожие на десятки. Гости гудели вокруг стола, точно шмели вокруг бутылки с сиропом, никак не решаясь сесть за него, хотя мохнатыми лапками инстинктивно тянулись к угощению. А Сонечка, будто белый мотылек, порхала меж ними, рассаживая вошедших, и мне было горько видеть, как беспардонно заглядывают они к ней за пазуху, словно к горничной или служанке. Однако, к удовлетворению моему, когда уважаемая публика уже почти расселась, Антоний Петрович кивнул дочке на дверь, и она тут же удалилась. Меня это утешило, ибо я понял, что смотрины тут ни при чем и я зря волновался и мучился. Успокоившись, хотел я уже покинуть наблюдательный пост, но в этот миг Антоний Петрович с каким-то мужчиной подошли к раскрытому окну и, отдернув занавеску, достали сигареты. Чиркнула спичка, высветив на мгновение их широкие лица. Игривый дымок «Филип-Морриса» поплыл в мою сторону. Сие неожиданное явление вынудило меня оставить мысли об отлете, и, опасаясь быть замеченным, я продолжал недвижно сидеть на ветке. Разговор курильщиков был отчетливо слышен мне.

— Так вы считаете, что это необходимо? — спросил незнакомый мужчина.

— Категорически, — ответил Антоний Петрович. — Есть несколько случаев, когда о н и, — Сонечкин папа кивнул куда-то в пространство, — решили воздерживаться от корешка... А вы представляете, что с нами будет, если все последуют их примеру...

— Нда... — с трагизмом в голосе проговорил курильщик и покачал головой.

— Вот так-то, — подвел черту под его сомнениями

Антоний Петрович. — Так что давайте не стесняйтесь, сыпьте валерьяну везде, куда возможно. Растирайте ее до порошка, лишайте запаха и сыпьте, сыпьте... В крупы, в квас, в муку, куда угодно... Пусть о н и едят ее утром, днем, вечером... Пусть о н и спят, спят, спят... Только при этом условии мы можем чувствовать себя спокойно. Вы понимаете это?

— Конечно...

— Антоний Петрович! Антоний Петрович! — доносились вдруг из комнаты нетерпеливые голоса. — Да сколько же можно курить? Все готово для тоста!

Я обратил свой взгляд в глубь комнаты и рассмотрел, что гости Антония Петровича уже успели наполнить водкой рюмки и держали их перед физиономиями с серьезной сосредоточенностью, словно изучая узоры на хрустале.

— Иду, иду. — Антоний Петрович вернулся в комнату и, подойдя к столу, тоже взял рюмку. Все трепетно молчали, дожидаясь, что он скажет.

Сами понимаете, дядюшка, что после сих интригующих слов о валерьяновом корешке я не мог так просто улететь, не узнав подробнее, что же это за сборище, и остался сидеть на ветке.

— Друзья мои, — торжественно начал Антоний Петрович, подняв рюмку, — сегодня наш праздник, наш день рождения! Нам исполнился год... Кто были мы раньше? Одинокие герои, своим сподвижничеством наполняющие Хлынь жизнью. Что мы могли сделать врозь? Мало, очень мало... Но сейчас, когда каждый из нас знает, что он не одинок, что у него есть помощники, что можем сделать мы? Да мы горы свернем! Да мы Хлынь нашу поднимем и возродим! Да мы сделаем из нее город образцового содержания! И день этот, я верю, уже не за горами... Итак, я предлагаю тост за ХСДЛ! За день рождения Хлыновского союза деловых людей! Ура, товарищи!..

Рюмки взметнулись и, опрокинувшись, показали блестящие, как зеркальца, доньшки. Потом деловые люди схватили вилки и так шустро замахали ими, поглощая еду, что напомнили мне хлыновский самодеятельный ансамбль скрипачей на репетиции в горклубе.

Признаюсь, дядюшка, я опешил от такого поворота дел. Что еще за «союз»? Кто они такие? Зачем собрались? С удвоенным любопытством стал вглядываться я в их лица, припоминая, кого и где видел, и только тогда сообразил, что все они, вся благородная дюжина, действительно были деловыми людьми и, как и Антоний Петрович, имели отношение к материальным ценностям самое непосредственное, то есть работали завхозами, снабженцами, директорами, главбухами либо еще чем-нибудь в этом роде. Вот кто, оказывается, передо мной!

Через двадцать минут гостей невозможно стало узнать, пиджаки были сняты, галстуки распущены... Быгаев мощной дланью обнял сидящего рядом Любопытнова и вдруг ни с того ни с сего запел басом архимандрита:

Парни, парни, это в наших силах
Землю от пожара уберечь...

Соседи дружно поддержали его, и уже песня времен давнего фестиваля готова была огласить окрестности, как вдруг Любопытнов, который, я только сейчас заметил, не пил и не ел, а сидел насупившийся и мрачный, неожиданно резко откинул руку Быгаева и прокричал в диссонанс всей компании:

— И все-таки я не согласен!

— С чем, Люба? — Быгаев держал скинутую с плеча руку в воздухе, словно она ничего не весила.

— Я против учительшки! Нечего ему среди нас делать! Я с ним уже три года работаю... Хлюпик он! Вот что... Интеллигент, ни больше ни меньше...

— Молчи, Люба... — Сидящий по другую сторону Любопытнова Ашот Араратович Казбек толкнул Юрочку в бок. — Молчи, пока не поздно...

Но уже было поздно, уже тишина повисла в углах, как паутина, уже все смотрели на Любопытнова, как на заболевшего сифилисом, и уже сам Антоний Петрович, грозный, как Иван Грозный, поднимался со стула.

— Я же вам втолковывал, Любопытнов, — голос Антония Петровича звучал тихо и надменно, — мы его будем проверять... Вам разве не ясно?

— А что его проверять? — лез Юрочка на рожон. — Я его знаю.

— А на это я вам вот что скажу... Нам ваши глобусы и карты не шибко нужны. Мы вас только за мышцы к себе и взяли. За ваше десантное прошлое. К тому же я располагаю данными, что вы иногда балуетесь корешком, что строжайше запрещено нашим уставом. А Константин Иннокентьевич — каратист. И у него дядя в Москве. И валерьяною не балуется. Так что смотрите, мы можем запросто его вместо вас сюда посадить... Вам ясно?

Но Любопытнов тоже был крепкий орешек.

— Мне ясно! Мне все ясно... — поднялся он и в упор испепеляющим взглядом глядел на Антония Петровича. — Он к вашей Сонечке клеится. Вот что. А я этого не допущу. Я сам...

Что сказал дальше Любопытнов, я уже не слышал, потому что другие звуки вдруг заполнили мои уши — треск, да такой сильный, будто тресали кости мамонта, попавшего под электричку. В следующий миг я ощутил, что падаю вниз. Не вынесла ветка, что ли, не знаю. Но только через секунду я уже лежал на клумбе, засаженной анютиными глазками, и уже видел, как, раздвинув шторы, глядят на меня вполосненные гости Антония Петровича и, суматошно вертя шпингалетами, распахивают рамы. Хорошо хоть тьма вокруг была египетская, и свет из окон ливня заслоняла, и потому было на клумбе моей темно, и гости меня не видели.

— Я же говорил, — успокаивал гостей расторопный Ашот Араратович Казбек, — ветка обломилась, просто ветка, от ветра... Чуете, какой ветер? Закрывайте окна...

— Не, а может, там это... — допотоп, теребя затылок, Быгаев, — может, там это... Ну...

Я лежал ни жив ни мертв. Сквозь качающиеся листья мне было хорошо видно их, распаренных, расслабленных от водки и жаркого. Я чувствовал, что им до фени эта ветка, сломало, и хрен с ней, и они уже собирались закрыть окна, но тут раскормленная морда Рэма (или Сэма — кто их разберет?) высунулась из окна и, злобно сверкнув коричневыми глазами, оскалилась яростно. Оглушительный лай, словно разрывались петарды, сотряс воздух. Почуял, почуял, слюнявая скотина, и лапами уже скреб, волнуясь и гневясь.

— А ну-ка, Рэмка! Ату! Ату его! — взревел Быгаев. — Давай я пособию!

И он пособил, поднял остервеневшего пса за задние лапы и, будто мешок, вытолкнул в окно. Злосчастная сволочь и в воздухе даже лаяла и плевалась пеной. И лишь земли коснувшись, упруго рванулась ко мне. Тут только опомнился я. Чего ж я лежу? Смыть-ся надо! Смыть-ся! Как спугнутый заяц, пустился я наутек, толкнул калитку, но она оказалась на засове, и, чувствуя за спиной звериное яростное дыхание, бросился в глубину двора. Какие-то изгороди вставали по бокам, и драпал я по их темным коридорам, точно в страшном сне или ужасном фильме. Не знаю, почему Рэм не нагонял меня, может, от страха я тоже стал быстрым, как гончий пес, может, еще что-то, но только я мчался и мчался по черным закоулкам Антония Петровичева двора, и Рэм, сначала свирепо дышавший за мной, вдруг отстал. Однако вскоре другие звуки, еще более неприятные, возникли недалеке:

— Э! Э! Окружай! В полон его! В полон!

И здесь, и там раздавались азартные пьяные голоса, то приближаясь, то удаляясь. «Попался, попался!» — стонала моя душа. Но тут я снова вспомнил о крыльях и чуть не обругал себя матерными словами. Балбес! Чего же ты тянешь! Лети! Воспрянув духом, попробовал я расправить крылья. Однако не тут-то было. Высокие изгороди и узкие проходы мешали мне, и, чтобы взлететь, я должен был влезть на яблоню, что и стал делать, не мешкая. Яблоня от тропливых моих движений затрещала, и звуки сии в мгновение привлекли преследователей.

— Вот он! — слышалось рядом. — Лови! — со страхом узнал я Антония Петровича.

Огромными прыжками он приближался ко мне. Но я уже был на яблоне и крыльями взмахивал, намереваясь покинуть сей беспокройный уголок. Да не успел. Цепкая рука Сонечкиного папы ухватила меня за ногу.

— Попался, ворюга! Не уйдешь! Любопытнов, ко мне!

Не имея другого выхода, со всего маху врезал я Антонию Петровичу ногой по скуле и, увидя, как рухнул он наземь, взмахнул крыльями. Улетая, услышал я посмеившийся меня вопль.

— Он улетел! Улетел, Быгаев! — кричал Любопытнов голосом удивленного мальчика.

— Окстись, Люба, — ревел Быгаев, — ищи! Поменьше пить надо!

Я летел быстро, как воробей, ветер свистел в ушах, холодил лицо, грудь и — я с ужасом обнаружил — мои босые ноги, на которых уже не было тапочек.

«Попался! Попался!»

Так стонал я, дядюшка, паря над спящей Хлынью. Что делать? О, злополучные тапочки! И почему я не снял вас?

А дело в том — вы ведь знаете нашу фамильную традицию, — что на тапочках тех матерчатых матушка, когда собирала меня в сию далекую, в сию загадочную Хлынь, вышла крестиком по бокам инициалы мои «КЗ»... Как когда-то давным-давно, в юные годы, в пору тюбетеек и сандалий, в пору серебряных горнов и радостных маршей, собирая меня в пионерский лагерь и зная мечтательную забывчивость сына, ухитрялась матушка на каждой вещице, уложенной в чемодан — на трусиках, маечках и рубашках, — поставить две крошечные меточки «КЗ», что означало, как вы сами понимаете, «Костя Зимин», то есть я, аз грешный, Константин Иннокентьевич... Помню, дядя, как сейчас, день моих проводов в Хлынь. Так вкусно пахло пирожками в уютном домике нашем, так ласково касалась стелол алые листья башмалы, так грустно поскуливал пес на цепи. Я уезжал из дома своего, надолго уезжал, неизвестно насколько, и почему-то мне казалось — навсегда. Батюшка, не зная, за что ему взяться, ходил из угла в угол и — я чувствовал — волновался, страдал, не находил себе места. То брался он за газету, но тут же отбрасывал ее прочь, то начинал неумело поучать меня, как вести себя в новых людях, но, понимая наивность своих слов, вскорости умолкал и тянулся набивать табаком трубку.

— Ты бы, отец, лучше фруктов в дорогу сыну набрал... — помогла ему матушка, и отец, благодарный ей за подсказку, вышел в сад. А матушка села к столу, вынула из чемодана вещи мои и принялась вдевать в иглу длинную желтую нить.

— Вы что же, мама, хотите делать? — спросил я тогда.

— Меточки ставить, сынок, — взглянула она на меня нежно.

— Да нужно ли? — вздумал я остановить ее. — Я ведь не маленький...

— Не маленький, да забывчивый... — сказала мама тихо. — Так что не мешай.

И я не стал ей мешать, сел рядом, облокотился на стол и принялся смотреть, как поднимается и опускается милая мамина рука с блестящей иглой меж пальцев...

Вот что было, дядюшка, три года назад, и в ту темную ночь, летя над Хлынью, я вспомнил об этом с любовью и ужасом, и волосы мои, и без того взъерошенные ветром, встали дыбом от мысли, шпашающей, как кипятки: что ж теперь делать-то?

И пришел мне на память Печорин (вот ведь издержки профессии), как убегал он от преследователей по темному саду, как торопился домой — быстрее на замок, быстрее в постель, чтоб прибежавшие думали, что он спит, и не могли заподозрить его в посещении княжны... «А я-то что же? — вдруг озарило меня. — Чего тянусь, чего мечусь, как угорелый, над спящим

городком? Домой! Домой! Может, уж Любопытнов стучится в мою дверь, как драгунский капитан к Печорину?» Я ринулся вниз, пике мое было круто и стремительно, в ушах словно черти выли — так свистел воздух. В темноте я едва не врезался в собственное крыльцо, чудом не задев за резные опоры. Упав на бок, я притих, слушая пространство. Безмолвие царило вокруг, безмолвие и тьма. Поднявшись, я уже было успокоился: не придут, конечно, природа не любит повторений, да они и не читали Лермонтова. Но тут где-то невдалеке раздался голоса. Словно испуганный зверь, ринулся я в жилище. Дверь, к счастью, оказалась открытой. Марфа Петровна никогда не запиралась, если меня не было дома. В темноте, не включая света, пробрался я к постели, скинул одежду и скользнул под одеяло. Тело мое дрожало, сердце колотилось бешено. Я уже представлял, как стучат они в дверь, как зовут меня пьяными голосами, как заглядывают в окно. Как мне вести себя? Что говорить? Скрою ли я свое волнение? И не выдаст ли ненароком Марфа Петровна? Так пролежал я... не знаю, сколько. Время будто остановилось. Но оно все-таки шло, и жизнь шла, потому что за моими окнами невдалеке на конском дворе хрустели травой и гулко топали копытами колхозные лошади, потому что там, дальше, где кончался конский двор, тихая Хлынка несла среди полей и лесов мутные воды свои. Постепенно я успокоился, кони мудрой невозмутимостью утихомирили мою душу, конечности мои перестали содрогаться, дыхание стало ровным, сердце забилось четко и сдержанно, как часы на махине Московского университета. Потом почему-то и сам Университет на Воробьевых горах привиделся мне, как подлетаю я к нему со стороны Лужников, как проплывает подо мной пятнистый ковер университетского парка с прогуливающимися по нему гражданами, похожими сверху на лилипутов, как парю я вокруг торжественного шпилья его, рассматриваю гигантский циферблат, вблизи и не похожий даже на циферблат, замазанный пылью и копотью столицы. Хотелось мне приблизиться к циферблату, хотелось отдохнуть на часовой стрелке, что ли, не помню точно, но помню только, что крики вдруг раздался снизу: «Глядите! Эй! Человек летит! Человек! Глядите!» И понимая, что нельзя мне обнаруживать себя, я ринулся в сторону, где меньше народу, но в этот миг ботинком соскочил у меня с ноги и, как граната, сброшенная с аэроплана, полетел вниз, и вслед за тем тысячеголосый вопль раздался подо мной: «Убил! Убил!» Что было мочи замахать я крыльями, спасая шкуру, но было поздно. Несколько милиционеров — увидел я, — расставив для устойчивости ноги и подняв руки с оружием, уже палили по мне трассирующими пулями. Словно молнии заматались вокруг меня, и, как я ни крутился, одна из них угодила мне в лицо, и я почувствовал, что загорелись мои глаза. Конец! Конец! Тут я проснулся...

Тревожное утро

Я увидел, что солнце ломится ко мне в дом. Я увидел, как блещут лучи его, отраженные в водах Хлынки. Я увидел, как мудрые лошади стоят по колено в реке и пьют золотую воду. Мне захотелось смеяться от счастья лицезреть столь чудную картину, но тут вчерашнее происшествие вспомнилось, и сразу все стало немилым, и захотелось закрыть глаза, опять уснуть, чтобы хоть несколько минут не возвращаться к реальности. «Тапочки, тапочки, — думал я горестно, — где вы сейчас лежите?» Я очень живо вообразил их валяющимися где-нибудь между грядками в огороде Антония Петровича, мокрыми от росы, вымазанными грязью. И еще я представил, как выйдет Сонечкин папа пред завтраком в огород собрать зелени к столу, как прошагает в бухающих сапогах владениями своими, как наклонится к грядкам с салатом и, обрывая зеленые листки, увидит вдруг тапочку, какую-то тапочку... Откуда она здесь? И, вспомнив вчерашние страсти, он заподозрит что-то неладное и, отнеся находку домой, начнет изучать ее тщательно, и вот тогда-то и выплывут на свет две крошечные буковки «КЗ», а там недалеко и до меня... Воже ми-

лостивый, что ж делать-то? Тапочки, тапочки, где же вы теперь? Как мне найти вас? Тут дерзкая мысль явилась в голову: а почему бы и не найти? Кто мне мешает? Немного риска, и все, и душа будет спокойна. Который теперь час? Я взглянул на часы. Стрелки показывали половину шестого. Удобное время, Антоний Петрович гуляет, наверное, сейчас со своими белыми львами по березовой рощице. Я почти ничем не риску, похожу по огороду, и все... Иди! Иди! Я поднялся. Одеваясь, я думал, правильно ли решил. И не мог ответить на сей вопрос. Риск, он на то и риск, что мы никогда до конца не знаем, правильно ли поступаем. Наконец я оделся и, собравшись с духом, шагнул за порог. Едва нога моя коснулась земли, я перестал заниматься рефлексией. «К реке, за кусты, через кладбище! — заработал мозг, как вычислительная машина. — Наклоняйся, прячься, беги!» И, подчиняясь его командам, я двинулся. Я прятался за стволы, я продирался между оградями кладбища, я пригибался и тайлся, словно вор. С портретов на памятниках глядели на меня покойники, и, признаюсь вам, дядюшка, я, как и вчерашним старушкам, завидовал им. Потом кладбище кончилось, и вновь открылась река, широкая, будто море, в своем буйном разливе. По обрыву, по-над берегом зашепшил я к дому Антония Петровича. Извилистая стезя была влажной от утренней росы. Я быстро шел — почти бежал по ней. Только бы никого не встретить, только бы никого не встретить... Дом Антония Петровича был уже почти рядом, когда какой-то предмет попался мне под ногу. Я обомлел: то была моя тапочка! Как скряга золотой слиток, схватил я ее, поднес к глазам и две желтые буковки разглядел: «КЗ». Такая неожиданная удача вдохновила меня. Видно, вчера уже в полете потерял я ее. Может, и вторая где-нибудь рядом. Я сунул тапочку за пояс и поспешил дальше. Через полсотни метров выросла передо мной ограда Антония Петровича, похожая скорее на крепостную стену. Один к одному, словно красуясь, стояли подогнанные вплотную дубовые бревна. Вершинки их были заточены, как карандаши. Поверху тянулась колючая проволока. Заглянуть внутрь не было никакой возможности, а перелезть тем более. Тогда, взмахнув крыльями, взлетел я над забором, как бабочка. Через мгновение уже лежал я в кустах смородины, трясаясь от волнения и страха, точно заяц в волчьем логове. Казалось, сейчас меня схватят, растерзают, укусят, разорвут на куски. Но миновала секунда, другая, и ничего не происходило. Наконец, набравшись храбрости, я поднял голову. Увиденное успокоило меня. Сад был как сад, неподвижный, в утреннем полусне, прекрасный, как все, созданное природой. Умилившись, я невольно залюбовался им. Грядки укропа были туманно-голубы от росы. Крошечные яблочки подставляли щедрому солнцу бархатистые бока. Желтые цветы огурцов... Но хватит описывать ботву! Некогда. Душа изнемогает от жажды сообщить главное, что я обнаружил там... Итак, я огляделся и, не заметив угрозы, встал на ноги. Затем осторожно и бесшумно принялся обследовать усадьбу Антония Петровича, зорко осматривая каждую пядь, будто искал не тапочку, а мину. Нервная это была работа. Руки мои тряслись, ноги едва держали тело. Каждый отдаленный звук заставлял вздрагивать и, если бы в тот миг кто-то окликнул меня, я бы, наверное, умер от разрыва сердца. Но все было тихо. Рэм и Сэм, вероятно, бежали в этот час, резвились между березовых стволов. Антоний Петрович, быть может, глядел на верную псиную челядь, ломая голову над тем, кто же вчера забрался в его хозяйство. Интересно, подозревает ли он меня? Или еще на кого грешит?

Так размышлял я, обследуя Сонечкин огород, и, уже в который раз уткнувшись в забор, повернул налево, чтоб сделать новый галс, как вдруг нога моя поскользнулась на чем-то металлическом, и, тут же увидев, что это чугунный люк, я замер от ужаса... Он открывался. Я чувствовал каждый свой волос — так напряжены были нервы. Онемев от изумления, наблюдал я, как медленно, подчиняясь какому-то тайному механизму, поднимается люк, предлагая моему взору бетонную лестницу, уходящую куда-то под зем-

лю. Жест его был так любезен, а полумрак лестницы так таинствен, что я не смог удержаться от любопытства, и, понимая, что совершаю неосмотрительную дерзость, шагнул тем не менее на бетонную ступень. Люк после моего прикосновения к трапу стал опускаться, но, заметив это, я подпер его стоящим на лестнице ломом. Потом вытер пот со лба и — медлить было нельзя — ринулся вниз. Спустившись на пару метров, я оказался в полуосвещенном коридоре, по правую и левую стороны которого открывались, как черные пропасти, огромные ниши. В нишах виднелись ящики, стоящие друг на друге до самого потолка. «ХСДЛ» — было намазано на их боках желтой пронзительной краской. Рядом со стеллажами зияла разинутыми пастью уже вскрытая тара. Гвозди в ее досках были как клыки. Я подошел к одному из ящиков и сунул туда руку. Мне казалось, что клыки гвоздей вот-вот вцепятся в мою кисть. Я нащупал жесткую материю и, не понимая, что это такое, потянул ее наружу. Моим глазам предстали... Что бы вы думали, дядюшка? Джинсы, обычные джинсы... Хотя почему же обычные? Они были американские, фирмы «Леви Страус», которые на толкучке — я знал — стоили пару сотен¹. В ящике их было... Трудно сосчитать. Много, очень много. И ящиков было предостаточно. Так что товару здесь лежало на несколько тысяч. Ничего не понимая, я перешел к другой нише. В здешних ящиках я обнаружил какие-то коробки. Вытащив одну из них, прочел я на ней: «Адидас»... Так вот откуда у Сонечки с папой такие шикарные кроссовки, так вот откуда у Любопытнова, Быгаева и иже с ними сии дефициты! Дальше — больше, дядюшка, от ниши к нише переходил я и в каждой из них обнаруживал что-нибудь такое, от чего каждая хлыновская модница виажала бы от восторга: блузки с портретами «Битлз» на груди, японские зонтики, югославские сапоги... Затем пошла гастрономия: индийский чай, сгущенное молоко, гречка, тушенка... Все было здесь, что вашей душе угодно, и даже несколько мешков сухого валерьянового корня для одурманивания народных масс, но только вот икры и колбасы я не нашел. Видно, действительно запасы деликатесов вышли у Антония Петровича по причине половодья. Многие прояснилось для меня после сего досмотра. Пора было «делать ноги», но тут еще один коридор привлек мое внимание. Узкий и темный, вел он — с трудом удалось сориентироваться мне — к реке. Сначала я было двинулся по нему, но через десяток метров оказался в совершенной темноте. Каждый шаг давался мне усилием воли. Казалось, вот-вот я провалюсь в тартарары. Наконец нервы мои не выдержали, и я повернул назад. «Смывайся, Костюха! — кричал мне инстинкт. — За такие делишки бьют! Спеши!» Паника начиналась во мне, дядюшка. Вскоре я уже бежал. Порою казалось мне даже, что кто-то гонится за мной, настигает и вот-вот сцапает за шиворот. Короче, через несколько мгновений я выскочил из люка, как пробка из бутылки шампанского, и, словно по мне стегнули из «Максима», рухнул в кусты крыжовника. «Сейчас будут бить! Сейчас!» — закрывал я голову руками. Но проходила секунда, другая, и ничего не слышали мои настороженные уши, кроме деловитого поскрипывания закрывающегося люка. Потом и люк затих, уснул как будто, прикрыв литым телом умопомрачительную тайну, и тишина явилась, зашуршала листвою, защебетала птицами, потом и сердце мое взволнованное успокаиваться начало, и с дробы заячьей на мерный бой перешло, потом и мысль трезвая явилась: чего ж я лежу, ведь тапочку надо искать, поднимайся... И я уже вставать захотел, но тут услышал звук растворяемой рамы, и вслед затем голос долетел до моих ушей, который отличил бы я от тысячи других, голос Сонечки моей:

— Здравствуй, солнышко! Здравствуй, утро! Здравствуй, садик мой милый!

Я поднял голову и, взглянув в сторону дома, увидел... Ах, дядюшка, я обомлел: утренние лучи, голу-

бой воздух, желтые наличники, как позолоченная рама неповторимого шедевра... Я достаточно лицезрел великих изображений женщины, но все Родены и Майоли — тьфу по сравнению с живым. Закрываю глаза и вновь вижу ее перед собой в то святое утро. Сонечка была, как Даная, как Венера, как Леда, она была нага, дядюшка. Нежные молочно-белые руки, золотистый пушок под мышками, алые губки, лепечущие милый вздор, шелковистые волосы, скользкие по груди и едва прикрывающие два божьих яблока, две перси сонные, вскормившие род человеческий... О, если бы мог я каждое утро видеть ее такой, о, если бы мог я касаться ее губами, о, был бы я тогда счастливейшим из счастливых. Но жизнь жестока, дорогой вы мой, она смеется над нами, блаженными дурачками, она и надо мной поохоталась тем утром, потому что в тот самый момент, когда любовался я Сонечкиной красой, когда шептал слова любви и восторга, открылась дверь заднего крыльца, и из нее, как привидение, вышла во двор корова эта, Сонечкина мамаша, Ангелина Сидоровна, в телогрейке, в юбке, сшитой, наверное, из старой простыни, в башмаках на босу ногу, стоптанных и рваных, как будто ничего более приличного не было у них в доме. Шмыгнув носом, толстуха обернулась к Сонечкиному окну и, узрев дочку, проскрипела, как несмазанная телега:

— Сонька, дура, закрой окно! И не ори! Отцу и так плохо! Без воплей твоих!

И Сонечка захлопнула окно, исчезла за ним и даже шторку задернула, а Ангелина Сидоровна, сморкнувшись смачно, зашагала почему-то в мою сторону. Зачем? Зачем? Я опять задрожал. Неужели за укромом, у которого я лежу? Но судьба в этот раз смилостивилась надо мной. Ангелина Сидоровна не дошла до меня двух метров и скрылась в будочке дощатой, которую я только сейчас заметил, бывшей не чем иным, как обычной уборной. По-пластунски, как учили на уроках физкультуры, отполз я к забору, за ветвистую яблоню, откуда никто не мог меня видеть, и, не теряя времени, перепорхнул через забор.

Воспоминания о Павлике Морозове...

Притащившись домой, я как мог успокоил себя: сделал чай, достал черничного варенья, уселся в кресло, подставил под ноги табурет и в таком вот сибирском положении ощутил наконец-то, что сердце мое стало биться ровнее, руки перестали дрожать и голова начала думать. Закрывши глаза, я грел озябшие пальцы о горячую чашку, прихлебывал чай и в самом деле, кажется, попахивающий валерьяной, и шевелил мозгами, прямо-таки чувствуя, как двигаются они от тягостных мыслей. То Сонечка вставала перед глазами, разлюбезная Беатриче моя, то матушка ее в грязной юбке и стоптанных башмаках, то тапочка представлялась, лежащая предательски где-нибудь среди морковной ботвы... Но и то, и другое, и третье отеснял чугуном своей тяжестью литой люк, вздымающийся таинственно из-под земли. Ах, Антоний Петрович, вот вы какой? Кто бы мог подумать! Ворюга, ворюга лютый! А вот взять да и пойти в ОБХСС, к дому с красным флагом, а вот взять да и наступать на вас, уважаемый директор, на вас и на весь ваш «союз», просигнализировать, как говорят у нас в школе. А если и правда заложить Антония Петровича с его деловым кодом, освободить Хлынь от пауков, сосущих кровь из трудового народа? Но только, если я так сделаю, что будет с девочкой моей? Как что? — изумился я простоте решения сразу всех своих проблем. Да то и будет, чего ты хочешь: папу посадят, имущество конфискуют, матрона толстозадая, мамаша ее, будет валяться на пороге в слезах и пыли и выть на всю Хлынь об утерянном счастье... Тогда-то и настанет твой звездный час, тогда-то и войдешь ты в их оскорбленный, в их разоренный дом, тогда-то и въедешь в их жизнь на белом коне, спасителем въедешь, которому даже позор, павший на них, не помеха для любви, тогда-то и изречешь торжественно: «Многоуважаемая Ангели-

¹ Дневник Зимина принадлежит ко временам относительной давности. Ныне импортными джинсами даже в провинции никого не удивишь (Примечание издателя).

на Сидоровна, умоляю вас, благословите меня и юную дочь вашу Софью Антониевну на законный брак...» И так далее и тому подобное. Я увидел даже, как изумленно взглянет на меня будущая теща своими коровьими глазами, как поднимется с пола, как опустится на табурет (финской мебели уже не будет в их доме), как зажмет руками похудевшие щеки, как завоет по-бабы, словно на похоронах: «Ах, милый вы наш, ненаглядный Константин Иннокентьевич, простите, ради бога, что мы плохо об вас думали... Берите несчастное, незаслуженно опозоренное чадо мое, берите, спаситель вы наш, доченьку мою, любите ее, кормите, поите, одевайте, она добрая, она честная, она любит вас, сиротинушка моя ненаглядная...» Вот что представил я и, наладившись фантазией, хотел уже встать и отправиться к исполкому, но остановился. Почему? Ох, дядюшка, чистоплюйство интеллигентское выиграло во мне, голубое чистоплюйство, погубит оно нас, уже тысячи погубило и еще миллионы погубит. «Как же я буду в глаза им смотреть? — вдруг засомневался я. — Да я всю жизнь буду мучиться, что явился виной их позора и бедности. Вся жизнь...» Нет, нет, не мог я их задолжать, не мог, и баста. Короче, никуда я не пошел, а, вернувшись в кресло, опять принялся за чай. Но время шло, чай мой остывал, солнце поднималось все выше и выше над убогоныим городком нашим. А вскоре и хлыновцы, покинув жилища свои, двинулись на службу. Я видел, как шагали они мимо окон, родители моих учеников, я видел, как серо они одеты, как сонны и покорны их взгляды, как безнадежно сутулы спины. Незнакомое мне ранее чувство возникло в душе: жалость ко всем... Никогда не испытывал я ничего подобного. И сейчас, вспоминая его, я могу сказать вам, дядюшка, что оно было чудесно. В нем было все: любовь и обожание, стыд и раскаяние. Да, мне было стыдно перед ними, что я, зная такое об Антонии Петровиче, тем не менее не бежал никуда, не докладывал властям. Ведь, в сущности, я скрывал преступника, а значит, и сам совершал преступление, предавал всех. Но с другой стороны: чтобы не предавать всех, я должен был предать отца Сонечки, а значит, и ее саму, и это приводило в замешательство. И почему-то все вспоминался мне суровый мальчик с аскетическим лицом, герой моего лопухого детства, незабвенный Павлик, который папашу своего заложил, взрастившего его, из дерьма и пеленок в человеки поднявшего. И все вставал перед глазами давнишний самодельный спектакль в клубе нашем старом. «Павлик Морозов... Павлик Морозов...» Как мы любили его, как обожали, как готовы были подражать юному герою, как плакали навзрыд, когда погиб он от кулацкой пули. И только в тот день, в то тревожное утро задумался я всерьез о суровом кумире нашем, и только тогда понял жестокую суть его поступка: ведь он же отца своего предал, ведь он же предатель, и мы предателю хлопали, предателя обожали, предателю готовы были подражать, а следовательно, готовы были и сами предавать кого угодно — отца, мать, брата... Уже и чай мой остыл, уже и улицы опустели, уже и солнце поднялось ввысь и встало над городом, а я все сидел и сидел в кресле напротив окна, тер пальцами виски и думал, думал. И чаши весов моей совести качались то вверх, то вниз. Но в этот момент...

Барабаны судьбы

Какою волшебной фразой закончил я предыдущую главу! «Но в этот момент...» И три таинственные точки. В них неизвестность, в них случай, в них, как говорит мой приятель-философ, «спонтанные мутации действительности», иными словами, черт-те что, что вам и в голову никогда не придет, все может случиться в следующий момент. Будущее наше неясно и темно. Но прошлое чеканно и неизменно. Вот так же и со мной. Все могло быть по-иному. Но было так, как было, потому что в тот момент, когда голова моя уже гудела от неразрешимых проблем, вдруг скрипнула калитка палисадника, и, посмотрев

в окно, я увидел... обыкновенную почтальоншу, выглядевшую, правда, не совсем обычно, потому что вместо одной сумки на ней висело три, и все были раздуты от бумаг, словно лягушки, проглотившие по яблоку. Удивлению моему не было предела. Почта? Откуда? Наводнение ведь, Хлынка вконец раздухарилась, дороги залила, аэродром затопила. Мы жили, как на острове, как дикари, вдали от цивилизации и прогресса, вдали от всех. Но родина слышит, родина знает, родина не забывает своих сыновей. И потому живая почтальонша по имени Зинка стояла перед моим крыльцом и торопливо закидывала в ящик какое-то письмо. Я не мог удержаться и, форточку открыв, наружу высунулся:

— Что? Зимняя почта? — спросил с подвохом.

— Нет, новая, вертолет привез три тюка... — Зинка похлопала ладонями по сумкам, как музыкант по барабанам. — Тебе письмо, учитель...

Тут я и вовсе затрепетал, словно листок на ветру. Гремите громче, барабаны судьбы! Зовите меня в путь! Что на сей раз подарит провидение? Как рассечет гордые узлы? Через секунду конверт уже подставил мне белокрылый бок. Письмо было от матушки. Так радостно видеть ровные буковки, выведенные родимой рукой. Матушка писала, что они с отцом, слава богу, живы-здоровы, погода нынче отменная, «виктория» в саду уже налилась и краснеть начала, крыша у них не течет и стоит их домик крепенький да славненький, словно теремок. Одно только плохо — грустно доживать им век в одиночестве, без сыночка и внучат, ведь так хочется порой кроватку покачать да детскую щечку чмокнуть. У других вон уж по двое растут, глазенками моргают, а у тебя, сынок, никогошеньки, да и тебя-то не часто видят очи наши старые. Приезжай из чужой стороны. Поселяйся в доме родном. Мы тебе и невестушку подобрали, и место есть в школе, где ты учительствовать сможешь. Приезжай, родненький, скрась нашу старость, мы ждем тебя, не дождемся. А пока целую тебя крепко матушка и батюшка твои...

Прочитав письмо, я задумался. А и правда, это же выход, наплевать на все и уехать, потому что, как бы за Сонечку я ни бился, не поедет она со мной, а если и согласится поехать, Антоний Петрович ее не пустит. А мне жить здесь стало несносно. Этот лук, эти склады подземные, этот странный «союз», эта тапочка утерянная, может, она уже найдена и лежит где-нибудь как доказательство моей осведомленности, и для меня уже плетут сети, строят козни. Уехать, уехать, черт с ними со всеми, жениться на доброй девушке, детей наплодить и жить себе тихой сапой, литературу преподавать в родной школе, Пушкина читать перед сном под сопение теплой женушки: «Пока свободой горим, пока сердца для чести живы...» Я улынулся невольно своей фантазии. Хорошо-то как... Нет, точно, уехать надо, хватит, все, иду к директору. Я поднялся с кресла, сел за стол и на белой лужайке тетрадного листа заявленице настроил: прошу, мол, по собственному желанию в связи с тем-то и тем-то... Потом листок вчетверо свернул, сунул в карман и на улицу вышел. Марфа Петровна встретила меня в калитке с двумя полными ведрами, плескалась ажно водичка через края. Хорошая примета, быть мне в удаче, подумал я и, разомлев от умиления, про Вовчика спросил:

— Как мальчик себя чувствует? Выздоровливает?

— Да вроде бы на лад пошел... — Марфа Петровна сплнула троекратно чрез левое плечо. — Да только вот волнуюсь я... Что-то доктора нет... Вчера был, укол сделал, а нынче нету. А уж ведь полдень...

— Придет, — успокоил я старушку, и мы разошлись.

По улице, по зелененькой, мимо домов стеклоглазых затопал я к школе. Я мысленно прощался с Хлынком, с домами ее покосившимися, с деревьями кривобокими. Я думал — чрез пару дней я буду на родине, отчему дому поклонюсь, матушку с батюшкой поцелую, хорошо-то как... Одно только смущало — дороги затоплены, как доберусь, но тут про крылья свои вспоминал и думал: в последний раз попользуюсь ими, и хватит, приеду домой, забуду про них,

не нужны они мне, хлопотно с ними. С такими вот мыслишками шагал я, и вскоре школа выросла предо мною, блестили аж от возраста столетние венцы. «Прощай,— сказал я ей,— последний раз, наверное, вижу тебя...» Однако не тут-то было. Замок амбарный висел на двери, огромный, как пудовая гиля. Потрогал я его, погоревал да и обратно двинул, в другой конец Хлыни, туда, где наш директор проживал с дочадцами своими. Сквозь весь городок пройти мне надо было, мимо площади центральной, мимо автобусной остановки, откуда в мыслях своих я уже уезжал, мимо Сонечкиного дома, мимо библиотеки, где она работала. И чем ближе подходил я к Сонечкиному терему, тем слышнее становился мне стук моего сердца. Все гулче билось оно, и было, как язык в колоколе — я чувствовал, гудит моя грудь от его ударов, от резонанса любовного. А с трепетом тем сердечным и мысли явились иные. Может, я зря уезжать-то собрался, может, понавыдумывал я все, может, валяется тапочка в болоте, гниет себе потихоньку и никому я не нужен... Как можешь ты уезжать от Сонечки? Она ведь наивная совсем и жизни не знающая, живет себе тихий ангел, книжки читает, с солнцем здоровается.

Она-то разве в чем виновата? И не предашь ли ты ее, если уедешь? Что с ней станется? Как обойдется с ней жизнь? И не будешь ли ты потом винить себя, упрекать в слабодушии? Короче, дядюшка, запутался я снова и не знал, как поступить. И так и эдак выходило, не прав я, и так и эдак выходило, кого-то предавал, и где путь правды лежит, не ведал. Уже и Сонечкин дом миновал я, уже и за угол повернул, уже и библиотеку, где девочка моя работала, увидел, а в мыслях ясности не наступало, и я готов был встать посреди улицы, как бездомная собака, не знающая, куда идти. Но жизнь шла, и все куда-то шли, и я со всеми заодно шагал по улице, и, если посмотреть со стороны, казалось, наверное, что шел я куда-то, а я, мой дядюшка, никуда не шел, я просто двигал ногами, я просто нес свое тело, вот ведь какая штука, и легкого порыва ветра хватило бы, чтоб сбить меня с пути. И он явился, тот порыв, меня аж обдало движением воздуха от открытого окна библиотеки, перед лицом моим распахнулись рамы, и Сонечка, как солнышко из туч, выглянула наружу:

— Здравствуйте, Костенька!

Я, дядюшка, чуть в обморок тогда не рухнул, так много неожиданностей скрывала эта девочкана выходка. Как, Сонечка, которая вчера еще пройлись со мной по улице стеснялась, сейчас окно открыла, при всех мне улыбнулась, при всех окликнула! Я видел, как старушка библиотекарша седые бровки вскинула в изумлении, я видел, как девочки из читального зала склонили кучерявые головки и зашептались заговорщицки, я видел... Но Сонечка словно ничего не видела.

— Подождите,— сказала,— я сейчас выйду...

Тут я совсем опешил и встал, как столб, ничего не понимая. Не знаю, сколько бы я так стоял, кабы не Сонечка, потому что я будто в нокауте был, покачивался даже. Но Сонечка не медлила, выбежала из двери и, под руку меня схватив, потянула куда-то:

— Пойдемте, Костенька, погуляем немножко...

И мы пошли с ней по главному тротуару Хлыни, у всех на виду, мимо рынка, мимо блестящих глазок торговки, мимо шепотков, мимо сияющих витрин «Универсама», и Сонечка не стеснялась никуда, что может папа увидеть ее, и все тянула меня на край городка, к парку. Когда же в парк мы вошли и на скамейку сели, коснулась ласково моего плеча:

— Угадайте, Костенька, что я хочу вам сказать?

Я, как балбес, качал головой, стараясь прийти в себя, стараясь понять, о чем она спрашивает, но рассудок не повиновался мне.

— Ну что, угадали? — Она смеялась и, словно мячик, готова, кажется, была подпрыгнуть, катапультироваться со скамейки. — Угадали, Костенька?

— Нн-е-е-т... — только и выдавал я.

— Ну, тогда я скажу... Скажу... Скажу... Слушайте... Папа мне с вами встречаться разрешил...

Разрешил... Разрешил... И я сегодня вас жду вот на этой скамейке в семь часов вечера... Вечера...

И я уже видел, как бежала она от меня, прыгая по-девичьи то на одной, то на другой ноге, срывая листики по пути, разбрасывая их в стороны, срывая и снова разбрасывая...

Очень трудно летать вдвоем

Не буду рассказывать, как провел я тот тягучий день. О, это мучительно — ждать радости. Скажу только, что когда, надевая пиджак, сунулся я в карман, то с изумлением обнаружил там написанное утром заявление. Совсем я забыл о нем и недоуменно прочел его, как будто бы не мною оно было создано. «Вот славно, что не было в школе Максима Иваныча,— подумал я, выходя на крыльцо,— вот уж действительно славно...»

Сонечка явилась ровно в семь и уже этим удивила меня, но еще больше поразился я, когда увидел, что она не одна, и белошерстный Рэм (или Сэм) шествует с нею рядом. Боксер шагнул упруго, как молодой жеребенок, и налитые мышцы его, словно латы, поблескивали в лучах еще высокого солнца. Я, дядюшка, загрустил при виде такого неожиданного явления. Я ожидал, что Сонечка придет одна, что сядем мы с ней на скамейку, что ручку Сонечкину, белую и теплую, прижму я к щеке и нежные слова, которые весь день обдумывал, начну говорить. А тут при псе, под строгой цензурой его взгляда я вдруг растерялся и, когда Сонечка приблизилась, промолвил сухо:

— Добрый день...

А Сонечка, услышав, как холодно я с ней обошелся, лобик наморщила, губки поджала и, робким жестом груди моей коснувшись, сказала тихо:

— Что с вами, Костя? Вы мне не рады?

— Рад, Сонечка, но только,— я кивнул на боксера,— зачем он здесь?

— Он вам мешает?

— Да нет, не очень... — не мог сказать я правды. — Но только... он будто бы подслушивает нас... А мне хотелось бы, чтоб мы одни... И больше никого...

— Подслушивает? — Сонечка обернулась к собаке. Боксер сидел пред нами, словно большая белая лягушка, и, наклонив голову, переводил взгляд налитых кровью глаз то на меня, то на Сонечку. Я только тогда заметил — под левым глазом у него припухший свежий шрам. — Ремушка, ты что же это подслушиваешь? Нехорошо... Тебя папа зачем послал? Чтобы ты нас охранял. А ты что делаешь? Ну-ка гуляй! И смотри, чтобы нас никто не обидел... — Сонечка наклонилась, отстегнула карабин и шлепнула пса по боку. — Пошел...

Пес, взвизгнув, сорвался с места и аршинными прыжками понесся по аллее.

Мне сразу стало легче, и, умиленный рокотом милостивого голоса, я потянулся к Сонечкиной ладошке и хрупкого пальчика коснулся. Несколько секунд мы стояли, не шелохнувшись, и не смотрели друг на друга, словно сошедшиеся взгляды наши могли тайное сделать явным. Но пальчик свой Соня все же не убирали и сперва робко, едва ощутимо, но после смелей и смелей начала шевелить им, как бы поглаживая меня. И был то знак согласия, и был то знак любви, и был то знак призыва, и, расхрабравшись наконец, я точно со стометрового трамплина прыгнул — руку Сонечкину схватил, поднес к губам и, в беспомощности целуя, оросил невольными слезами. А Соня, лапочка, свободною рукою теребила мои волосы.

— Костенька, милый... — шептала. — Родной...

А я, услышав ее слова, еще пуще расходился, совсем поводья отпустил и волю дал неистовым коням своим.

— Люблю,— шептал,— люблю... Больше жизни.

А ты, родная? — Я тоже... Тоже... Больше жизни... Больше всего на свете.

Я закрыл глаза и, как слепой щенок, стал ртом искать спасения от жажды, от смерти, от тоски и одиночества, теплой сладкой влаги губами стал искать, и когда я уже чувствовал Сонечкино тепло,

вдруг страшный лай раздался за спиной. Я дернулся, открыл глаза и, обернувшись, увидел: Рэм, кладая зубами и брызжа слюной, прыгает вокруг меня и норовит схватить за ногу.

— Соня, что это с ним? — спросил я, с трудом барывая страх.

— Ревнует, видно. — Соня улыбнулась и, присев, протянула руку к псу. — Рэмушка, милый, ты что?

Но пес и не думал умялять гнев. Красные зрачки его были выпучены и, как спелые вишни, едва не вываливались из глаз. Черная слюна густыми шмотками летела из пасти и, падая на землю, шипела на ней, словно на раскаленной сковородке. Из шпрама под глазом сочилась кровь, и вместе с ней какой-то вонючий газ вырывался, как из серного гейзера. Мне было жутко смотреть на пса, но Сонечка, ничуть не смущаясь, сложила вдвое поводок и, замахнувшись, вскричала гневно:

— Молчать!

И Рэм подчинился, притих, неохотно, правда, но все же перестал лаять, и только слюнявая губа его все поднималась раздраженно, обнажая белые клыки.

— Пошел отсюда! Ну!

Теперь Сонечка сама, кажется, впала в ярость, неожиданную для меня, и, замахнувшись снова, стегнула-таки собаку по широкой холеной спине. Пес сразу сник, утратил воинственность и, поджав обрубок хвоста, нехотя ушел в кусты и залег там. Уходя, он время от времени оборачивался, и, признаюсь, дядюшка, у меня мурашки шли по коже, до чего псинай профиль казался похож на человеческий. А Сонечка после этого еще долго была бледна и побелевшими губами шептала проклятия в адрес собаки. Желая успокоить любимую, я взял ее за руку:

— Не волнуйтесь, милая... Не надо... Давайте лучше погуляем...

— Давайте, — отозвалась Соня.

Мы зашагали по гаревой красной дорожке. Шлак захрустел под нашими подошвами, как шелуха от орехов.

— Какой славный вечер... Не правда ли? — спросил я у Сонечки, стараясь развлечь ее. Но девочка ничего не ответила и даже не обернулась на мои слова. — Да полноте... Хватит сердиться...

— А... Надоели... — дернулась Сонечка, словно бы от озноба.

— Кто надоел? — не понял я.

— Все надоели... — поморщилась милая и почему-то опять обернулась к кустам, вдоль которых мы шли. — Нигде от них нет покоя...

Я снова не понял, о чем она говорит, и тоже посмотрел на кусты. Но ничего там не увидел.

— От кого нет покоя?

Сонечка приоткрыла ротик, желая что-то сказать, но в этот миг белобрысый Рэм выскочил из кустов на аллею метрах в пятидесяти от нас, и Сонечка, проследив за ним взглядом, вдруг стиснула мою руку:

— Костя! — Лицо ее вспыхнуло. — Вы правда любите меня?

— Да... — Я несколько смутился. — Но почему вы так об этом спрашиваете?

— Потому что... — Сонечка опять взглянула вслед убегающему псу. — Не обижайтесь... Потому что... Помните, вы предлагали? Сбежать... Так вот... Я согласна...

Я оторопел. Я ушам своим не верил. Как? Сонечка ли говорит это? Но почему? Что с ней произошло? Отчего она так переменялась? Однако я недолго задавался такими вопросами. А зря. Если бы подумал хорошенько, может, и не наломал бы потом дров, и не оказался здесь, и не писал вам сих горьких писем. Но молодость, дядюшка, молодость и любовь, они делают человека глупее, чем он есть на самом деле. И я был глупцом в тот миг и, как юнец, задыхаясь от восторга, вдруг увидел — розы расцветают на гаревой дорожке и золотокрылые павлины парят в синем небе над парком...

— Сонечка, милая, — только и сказал, — как счастлив я...

— Я тоже, Костенька, — коснулась она моей щеки. — Сбежимте... Как, помните, в «Метели» Влади-

мир с Марьей Гавриловной сбежали... Придумайте что-нибудь. Я на все согласна...

— Да, Сонечка, конечно, обязательно... Вот маменька с папенькой будут рады... Вы знаете, милая, мне маменька нынче письмо прислала, она там пишет... — хотел я рассказать о matrimониальных мечтах моих предков, но Сонечка перебила меня:

— А что, Костя, разве ваши родители тоже в Москве живут?

— Как в Москве? — ничего не понимал я, потому что маменька с папенькой всегда в деревне жили. — Мои мама с папой в Дерибрюхове живут, деревушка такая в Тамбовской области...

— Да? — Сонечка вдруг притихла и потупила взгляд, а я, глядя на нее, думал, что это с ней и откуда у девочки столь странная информация, я ведь никогда ей такого не говорил...

И так мы стояли на гаревой дорожке, словно бегуны, сошедшие с дистанции, и, наблюдая, как с каждым мигом все больше грустнеет моя милая, я видел: тает мой мираж, вянут алые розы и улетают золотокрылые павлины...

— Что с вами, Сонечка? — пытался я поймать ее взгляд, но он ускользал от меня. — Почему вы так переменялись?

— А дядя ваш где живет? — вместо ответа спросила Соня. — Тоже в Дерибрюхове?

— Какой дядя? — еще больше недоумевал я, роаясь в памяти, как в дырявом кошельке. — Какой дядя...

И тут меня осенило! Дядюшка, милый, вспомнил я вас сначала, а после пришло на память, как врал я недавним утром Антонию Петровичу, о другом, несуществующем дяде, в которого фантазия моя и ложь превратили в то утро вас. Совсем забыл я об этом и, если бы не Сонечка, не вспомнил бы. Но она напомнила, и, поняв все и увидев, как девочка моя расстроилась, узнав правду, я удручен был не на шутку. Я почувствовал себя нищим, с которого содрали краденый костюм, я ощутил себя бродячим актером, кончившим играть роль короля, я представил себя бедным Чарли, проходящим сквозь чужой автомобиль, чтобы слепая девушка приняла его за миллионера. Мне стало стыдно, мне стало горько...

Рэм подбежал к нам, сел напротив и сделался снова похож на большую белую лягушку, глаза выпучил, язык высунул, дышал тяжело. Я видел и не видел его. Я думал о другом. Я думал: неужели для Сонечки так важно, чтобы мой дядюшка был богат и непременно жил в Москве? Ведь если так, то, значит, она не любит меня, и вовсе не я ей нужен, а Москва и та мифическая квартира, которой нет. Ох, грустно-то как... Мне плакать хотелось, дядюшка, плакать и биться головой о дерево, у которого мы стояли. Бедный я, бедный, и ничего-то у меня нет, лишь неизвестно зачем данная мне любовь, лишь дряхлые старики на пенсии, лишь крошечный домишко в Дерибрюхове да еще вы, мой дядюшка, с вашим заржавевшим прокурорским наганом в далеких северных краях... Прощай же, Сонечка, если так, нет у меня того, что тебе нужно, и где взять это, не знаю. Прощай... Я поднял глаза и взглядом, полным горечи, посмотрел на Сонечку.

— Нет у меня дядюшки в Москве... — сказал. — Я его выдумал, чтобы папу вашего обмануть. А вас обманывать не хочу и прямо говорю: нет у меня такого дядюшки, и квартиры нет, и богатства нет тоже. И если это для вас так важно, то, значит, мы расстанемся должны, потому что дать этого я вам не могу...

Говоря, я не глядел на Сонечку, невозможно было, слезы — боялся я — брызнут у меня из глаз, и потому взгляд свой я направил на Рэма, сидящего рядом и, белобрысую башку наклонив, слушающего внимательно мои слова, шевелящего мохнатыми бровями, реагирующего на каждую интонацию так живо и четко, словно он понимает людскую речь. Во всяком случае, когда я кончил говорить, он осуждающе покачал головой, почти по-человечьи пренебрежительно сплунув, встал и, показав мне жирный зад, равнодушно скрылся в кустах.

«Вот сейчас и Сонечка уйдет, — подумал я. — О, го-

ре, горе...» Но, к удивлению моему, Сонечка не ушла, а, подняв на меня полные слез глаза, сказала тихо:

— Как вам не стыдно, Костенька?

— Что? Что? — не сразу уразумел я ее вопрос.

— Как вам не стыдно так думать обо мне? Я не тому опечалилась, что дядюшки у вас нет, а тому, что думала, будто вы обмануть меня способны... Как вам не стыдно, право!

— Ох, простите меня, Сонечка! — возликовал я. — Простите глупого... Как же я вас обмануть могу? Что вы? Да я для вас всю душу наизнанку выверну, все тайны свои выложу. Вы ведь половина моя, а я — ваша... Правда?

— Естественно...

Я вновь взял ее руку, прижал к щеке и, когда Сонечкино тепло начало согревать мою кожу, спросил трепетно:

— Мы уедем, Сонечка?

— Естественно, — снова ответила она.

— Когда?

— Не знаю...

— Давайте завтра, — боялся я упустить момент, — давайте не будем откладывать...

— Давайте. — Сонечка зачем-то взглянула в сторону.

— Где мы встретимся?

— Где хотите...

— У школы, во дворе, на скамейке... — торопился я. — В восемь вечера, вы придете?

— Я же сказала...

Сонечка вновь посмотрела на меня. Глаза ее были прищурены, улыбка Джоконды таилась на устах, ладонь стала мягкой и безвольной. Я все-таки чувствовал: несмотря на слова согласия, ложь кроется в ее улыбке и неестественность — в прищуре глаз. И, ощущая это, я беспокойно искал, чем бы мне притянуть ее, как заставить любить себя. Что мне еще сказать? Что сделать? И тут я вспомнил про крылья... Да! Да! Вот что поразит ее! Вот что выделит меня из толпы! Вот что заставит Сонечку смотреть на меня с обожанием! Чего же я раньше молчал? Я собрался с духом.

— Соня... — Голос мой прозвучал напряженно-серьезно, сурово даже, и девочка, вздрогнув, напряжилась, глаза шире раскрыла и кисть мою сжала.

— Что?

— Я должен открыть вам свою тайну... — промолвил я тоном Фантомаса.

Сонечка побледила даже и головой затрясла, стараясь освободиться от наваждения.

— Какую? — спросила шепотом.

— Свою самую главную тайну... — продолжал интриговать я.

— Откройте... — едва прошевелила она губами.

Но я не хотел ничего рассказывать, а показывать на деле хотел, на что способен, и тогда, не сводя с Сонечки магического взгляда, я попросил:

— Обнимите меня...

— Зачем? — Сонечкин голос стал ломок и слаб.

— Обнимите... — приказал я.

Сонечка робко повиновалась.

— Крепче обнимите... Сомкните кисти в замок... А теперь не пугайтесь!

Я поднял крылья, и в следующий миг мы оторвались от земли...

— Ой! Ой! Что это?! — запричитала Сонечка, дрыгая ногами.

— Держитесь! — кричал я. — Не бойтесь ничего!

Но все-таки, согласитесь, груз на мне был солидный. Хотя и хрупок был Сонечкин стан, но пуда четыре она весила, и с эдакою ношей не мог я взлететь легко и изящно, как в одиночку. Изю всех сил размахивал я крыльями, а мы только лишь оторвались от земли и зависли над ней тяжело и неподвижно, словно перегруженный вертолет. Я разом вспотел, сердце мое, мой трепещущий мотор, будто испуганный воробей при виде кошки, шевбурилось в груди и готово было вылететь вон. Сонечка же висела на мне, как мартышка, вцепившись в шею острыми ногтями, и, казалось, была ни жива ни мертва. Я уж даже пожалел, что затеял этот полет. Наконец крылья мои пересилили притяжение, и мы

стали медленно, но неудержимо подниматься. Однако тут новая помеха явилась нам в лице (или морде) Рэма, который вдруг, как белое ядро из пушки, выскочил из кустов. С бешеным ревом прыгал он под нами, изрыгая из черной пасти проклятия и пену. От его иступленного лая я на миг расслабился, умерил силу движений, и этого было достаточно, чтобы мы потеряли высоту. Рэмовские клыки оказались около наших с Сонечкой ног. Почуя близость цели, пес начал скакать еще упругистей и, клацая зубами, проносил пасть в миллиметре от моих туфель. Один из его прыжков был особенно удачен, острые белые кинжалы вонзились в ботинок, и Рэм повис на мне всею тяжестью откормленной туши. Крылья мои шуршали, как вентилятор. Но, в изнеможении трепеща ими, я все равно чувствовал, что мы опускаемся и вот-вот рухнем вниз. Тогда, опасаясь за участь Сонечки, бывшей, как мне казалось, уже без чувств, я пнул Рэма под красный глаз, точь-в-точь в кровотокающий шрам. Пес не стерпел и, разжав пасть, с диким визгом рухнул на землю. И тут я увидел, что это и не собака вовсе лежит на гаревой дорожке, а Антоний Петрович, Сонечкин папа, уткнулся носом в шлак и ногою подпрыгивает, пытаясь встать, как получивший нокаут боксер. А после и вовсе неприличное разглядел я: Антоний Петрович вдруг начал таять, быстро-быстро, как снежный ком под лучами калорифера, и, в мгновение превратившись в сизое облачко, исчез с горизонта, рассеянный ветром. Пораженный сею картиной, я чуть было не сотворил беды, едва не уронил мою милую, не заметив, как стали слабнуть ее руки. И только когда начала она уже сползать вниз, подхватил девочку крылом, а на другом, как на парашюте, спустился наземь. Усадив Сонечку на скамейку, я пораился ее мертвенной бледности. Милая моя едва дышала, руки были холодными, из-под неплотно закрытых век смотрели на меня невидящие глаза. Я растерялся сначала, не зная, что делать, но после, сообразив, что это обычный шок, расправил крылья и, повернувшись к Сонечке спиной, стал обмахивать девочку ими, как веером. Сбитая пылью на гаревой дорожке напомнила мне о превращениях Сонечкиного папы. Значит, не нам одним даны чудеса, а и Антонию Петровичу тоже... Что из сего следует? Как это понимать? Что делать? Но я не успел додумать свою мысль, потому что в следующий момент жалобный стон отвлел меня. Я обернулся. Сонечка сидела так же недвижно, но кожа ее порозовела, глаза открылись, и взгляд их стал осмысленным.

— Сонечка, — подошел я к ней, — как вы себя чувствуете?

— Ох,

Костя, — едва вымолвила моя девочка, — что это было, я ничего не понимаю, я будто умираю, я будто летела куда-то...

— Сонечка, милая, простите, — уже тужил я о содеянном, — это я во всем виноват. Это я вас поднял на воздух, оттого испугались вы, оттого и сознание потеряли... Простите меня, милая...

— Не понимаю, Костя, какой воздух, кто кого поднял?..

— Я... вас...

— Как?

— Вот так...

Я взмахнул крыльями и, взлетев на пару метров, попорхал в воздухе, словно бабочка. Потом, опустившись на дорожку рядом с Сонечкой, сказал:

— Я летаю, Сонечка, вы должны об этом знать...

У нас не может быть секретов друг от друга...

— Летаете? — Глаза у Сонечки округлились. — Давно?

— Не очень... С тех пор, как, помните, мы с вами по лесу гуляли...

Я рассказал Сонечке все с самого начала, я ничего не утаил, и про икру, про колбасу, и про тапочки, одного только я не сказал, что видел ее, мою милую, в окошке тем славным утром, ничего не сказал я про то, как зело прелестна была она в сиянии молодых солнечных лучей... И странное дело, дядюшка, пока я рассказывал Сонечке свою историю, я сам будто бы заново взглянул на нее. Как художник, запутавшийся в полутонах, я словно

отошел от картины на солидное расстояние и с этой точки наконец-то увидел ее целиком. И только тогда мне стало понятно, куда все шло, к чему вело меня провидение. Уехать с Сонечкой, покинуть Хлынь и, поселившись в деревеньке родной, за книги сесть, постичь премудрости данной мне роли, а после вместе с Сонечкой взяться за дело, посвятить ему жизнь. И сам поверив в реальность своих грез, я вдохновился и заговорил, как Цицерон, как Робеспьер, как Фидель Кастро.

— Сонечка,— говорил я,— жизнь дана человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы... Сонечка, я давно хотел вам сказать эти всем нам со школьной скамьи памятные слова. Сонечка! Бог дал мне крылья. И я не могу, не имею права оставить втуне чудесные способности мои, я должен реализовать их на благо всех, на благо человечества. Но он дал мне еще и любовь к вам. Он дал мне вас, чтобы вы были опорой, подмогой мне на трудной, тернистой стезе... Так будьте же ею...

И так далее и тому подобное еще долго говорил я. Я умел ораторствовать. Ведь не зря же прочитал я тысячу книг. И чем больше я распалялся, тем светлее становилось лицо Сонечки, тем шире раскрывались ее глаза, тем жарче пылали губы. Вскоре густой румянец рдел на ее щеках, вскоре она уже часто дышала, вскоре пальцы ее уже сжимали мою кисть. Когда же я умолк, Сонечка бросилась мне на грудь:

— Да! Да! Костенька! Непременно! Обязательно! Так и будет! Мы уедем, мы будем учиться, мы будем трудиться, на благо всех, для счастья всей планеты! Я счастлива, что ты у меня крылатый! О, люди, как я счастлива!

Долго еще говорили мы с Сонечкой в этом роде, бродили по улицам Хлыни и говорили. Когда же попадали в безлюдные места, где нас никто не мог увидеть, взлетал я в небо и, сделав круг над девочкой моей, пикировал к ее ногам. До поздней ночи бродили мы, до поздней ночи сливались в жарких поцелуях наши уста, до поздней ночи не размыкали мы рук, и, помню, дядюшка, когда привел я Сонечку к дому, как праздничная иллюминация, горели всеми люстрами многочисленные его окна.

— Завтра, у школы...— сказал я.

— Да, милый, да...— кивнула она.

Сладкие грезы

На другой день меня разбудил звонкий детский голос:

— Бабуля, мне можно побегать? Можно? Я хочу...

Я поднялся, подошел к окну и, раздвинув шторы, увидел — Володя стоит на крыльце и умоляюще смотрит на счастливую бабушку свою.

— Ну ладно, уж так и быть,— не смогла отказать ему Марфа Петровна,— но только не далеко...

Мне было радостно видеть, дядюшка, как схватил мальчишка голубой сачок и вприпрыжку поскокал по зеленому лугу. «Ну вот,— удовлетворенно подумал я,— одно дело сделано. Пора идти дальше... Вперед, Константин Зимин!»

Ощущая нервную дрожь во всем теле от предчувствия великих изменений, я стал собираться. И перво-наперво достал я с полки Жан-Жака Руссо, где между второй и третьей частью «Новой Элоизы» хранились у меня заветные пятьсот рублей, накопленные за три года учительства в Хлыни. Еще вчера, когда дала согласие на бегство Сонечка, я стал обдумывать способ осуществления его. Легко сказать — сбежим, а как, когда кругом — вода? Сначала я даже отчаялся. Никан не сбежать, невозможно это. Но все же одна идея показалась мне вполне реальной. Я надумал купить байдарку. На ней, предполагал я, дня за четыре спустимся мы к областному центру, а там — все дороги открыты. Через полчаса вышел я из «Универсама», груженный огромным рюкзаком с разобранной лодкой. Чтобы не торчать на глазах у любопытных хлыновцев, я сразу от магазина свернул с дороги и мимо кладбища, лесом направился к реке. Часа три возился я со все-

возможными трубочками и рейками, часа три привинчивал какие-то гаечки и винты, пока наконец не выросла передо мной голубая красавица байдарка, упругая, легкая, остроносая. Потом, спустив ее на воду, я забрался на сиденье, оттолкнулся от берега и, признаюсь вам, рассмеялся от радости — так легко и изящно заскользила байдарка по глади воды. Выйдя на стрежень, я почувствовал, что здесь дует весьма крепкий ветер, и мысль о парусе пришла мне в голову. Но как установить его, как укрепить? Тут снова вспомнились крылья. А ты расправь их, вот тебе и парус... Так я и сделал, весла сунул в лодку и, руки взметнув, крылья распрямил. Ветер тут же наполнил их. Я почувствовал даже, как давит он, сгибая меня. Острый нос лодки приподнялся, вода зашуршала по бокам. Я мчался уже с приличной скоростью и, едва шеveled крыльями, с ликованием наблюдал, как послушно подчиняется мне мой корабль. Нечаянно на выраже взмахнул я крылом и ощутил, будто кто-то толкнул байдарку рукой. Ну-ка, ну-ка еще! Хоп! Хоп! Хоп! — размахивал я крыльями. Лодка рванулась быстрее и, чуть не на весь корпус высунувшись из воды, помчалась по глади реки, как торпеда. Давай, давай, Костюха! Теперь я уже не боялся, работал крыльями что есть мочи. Байдарка неслась со страшной скоростью, волосы мои трепала ветер, от встречного воздуха перехватывало дыхание. Круг метров в триста я описал за какую-то минуту и, едва удержавшись от соблазна прокатиться еще раз, причалил к берегу. Хватит, надо спешить, уже солнце пошло к закату, а у меня еще уйма дел. Вспомнив про них, я выбрался из лодки, затащил ее на отмель и, набрав сухого тростника, тщательно замаскировал. Потом, вдохновленный удачным испытанием «Летучего голландца» (так назвал я свой бот), заспешил домой — собираться. Когда часа через полтора рюкзак мой был уложен, уселся я за письмо к директору. «Любезный Максим Иванович,— начал я архаично-канцелярским штилем,— обстоятельства вынуждают меня срочно покинуть сей городок. Я более не вернусь в Хлынь. И потому покорнейше прошу принять от меня вложенное в конверт заявление об уходе. Трудовую книжку вышлете почтой. О месте своего нахождения сообщу позднее. Уважающий Вас Константин Зимин».

«Вот и все,— запечатал я конверт,— прощай, Хлынь! Прощайте, Марфа Петровна! Прощайте, дорогой мой тесть! Прощайте все! Мы покидаем вас...»

В сладостном томлении прилег я на диван и закрыл глаза. Отдохнуть, отдохнуть перед дорогой, мне предстоит нелегкий, мне предстоит тернистый путь... Изнемогая от нетерпения, я стал воображать дальнейшую судьбу свою. Как приедем мы в Дерибрюхово, как поселимся с Сонечкой под родительским кровом, как насладимся любовью, а после, когда нервы наши отдохнут и тела нальются здоровьем и силой, примемся за дело. Что это будет за дело, я не особенно представлял. Но в неясных, туманных очертаниях его мне виделось чудесное. Летать, вершить добро, спасать, приносить счастье... И не надо скрывать свое необыкновенное предназначение, не надо бояться людей. Пусть все знают — что я могу, пусть все идут ко мне за помощью и советом. И я всех приму, всем воздам должное. Никого не оставлю, никого не обделю заботой и любовью. И обо мне начнут говорить, сначала в Дерибрюхове, потом в соседних селах, потом по всей Тамбовской губернии. А после... Слух обо мне пройдет по всей Руси великой... В газетах начнут писать, в журналах. «Крылатый Зимин...» «Дерибрюховский орел...» «Наш летающий парень...» «Первый крылатый человек на Земле — советский...» Со всей страны поедут ко мне, со всего мира ученые, писатели, президенты. А Сонечка, моя милая Сонечка будет ходить среди них королевой красоты, будет устраивать брифинги и приемы, будет угощать высокопоставленных гостей крошечным и коньяком. «Мистер Апдайк... Господин Ганди... Товарищ Амосов... Проходите, на стесняйтесь... Мой муж сейчас выйдет...» И проживу я свою жизнь в трудах и подвижничестве, и совершу я тьму-тьмущую добрых дел, и когда-нибудь в пре-

клонном возрасте, убоженный сединами, изможденный от непосильных трудов, сложу я крылья и, попрощавшись с сим миром, перенесусь в мир иной. Великий стон пройдет по земному шару. Слезами прольются дожди. Черными траурными тучами закроется небо. И поднимут односельчане меня на руки и понесут с рыданиями по дорогам Руси, от Тамбова до самой Москвы. И похоронят мой прах у Кремлевской стены, и поставят мне памятники по всей стране, и в Москве, и в Тамбове, и в Дерибрюхове. И торжественные оды в мою честь начнут слагать подвывающие поэты. «Слава, слава тебе, наш спаситель! От пороков избавил ты нас...»

Неожиданно страшный гром сотряс землю, казалось, бомба взорвалась рядом. Испуганно вздрогнув, я открыл глаза. Я увидел, что за окном сумерки, грозовые тучи обложили небо и с минуты на минуту разразится ливень. Какое-то время сладкий сон еще стоял у меня перед глазами, но, протерев их, я вдруг вспомнил о Сонечке, о приготовленной к бегству байдарке и, схватив рюкзак, опрометью бросился вон.

Ожидание

Выйдя на улицу, я не пошел по центральной дорожке, а сразу же свернул с тротуара направо, на ту самую тропу, по которой недавним утром пробирался к Сонечкиному дому. Я сделал так, чтобы не попасть кому-нибудь на глаза. Я думал: пусть все знают — учитель уехал, а с кем, когда и как, пусть будет неизвестно ни одному уху, пусть не тронут злые языки мою милую. Я шел быстро — мимо погоста, мимо крестов и мраморных плит, мимо зарослей сирени, пышных и душистых, мимо огромной заросшей крапивой воронки от церкви. Потом тропа свернула налево и пошла по обрыву над рекой. Заросли бузины и ольхи смыкались кронами надо мной, и оттого, наверное, вокруг сразу сделалось темнее и жутче. Гроза громыкала уже совсем рядом, и, когда ветви кустов расходились, я видел, как вспыхивает небо иссиня-белым светом.

Наконец пошли ограды, сначала кривые, покосившиеся, затем, словно тын средневековой крепости, вырос забор Антония Петровича. Увидя его, я встревожился. Ушла ли из дома Сонечка? Мне вздумалось заглянуть на Сонечкин двор, и несколько раз я прижался лицом к забору, отыскивая хотя бы крошечную щель в нем. Но тщетно, столбы были словно спаяны друг с другом, я только лишь потерял минуту золотого времени. «Беги! Беги! Пора!» — опомнился я и ринулся дальше. От Сонечкиного дома до школы было совсем уж недалеко, и вскоре, вырвавшись из прибрежных зарослей, увидел я темное здание ее. Окруженная высоким металлическим забором и старым запущенным садом, школа была похожа на древнюю дворянскую усадьбу. Ни голоса, ни шороха живого существа не различали мои глаза и уши. Только трепет листья под злыми порывами ветра да зловещие сполохи надвигающейся грозы торжествовали вокруг. «Боже, ну и погодка...» — в волнении думал я, приближаясь к воротам. — Не побоятся ли Сонечка выйти в столь грозный час?... Надрывно скрипнула калитка, зашуршала галька под ногами, потом опять прогремыкал гром, заглушив и мои шаги и шорох листьев. Когда же он умолк, тишина вокруг сделалась совершенно глухой, пугающей даже, ветер пропал и листья замерла. «Не придет, не придет...» — паниковал я, — испугается девочка близкой грозы...» Вдруг изогнутая, словно ветка, вспыхнула белая молния, и вслед за ней безо всякого перерыва ухнул гром. Тут же, будто в небе открыли окно, ветер ворвался в сад, и горошины льда посыпались с аспидной высоты. «Не придет, не придет...» — стонал я, а сам бежал, спасаясь от града, на крыльцо. Вскоре я был в укрытии и, прижавшись к стене, смотрел на калитку, едва различимую в темноте. «Не придет, не придет...» Но снова, как электровспышка космического фотографа, сверкнула молния, и в белом матовом свете ее увидел я за забором закутанную в плащ женскую фигурку. О! Сонечка! Неужели?! Забыв про град, я бросился к ми-

лой и, пока она подходила к воротам, успел к ним сам и распахнул скрипящую калитку.

— Сонечка! Наконец-то! Пойдем! Ты здесь промокнуешь!..

Каково же было мое удивление, когда из-под капюшона глянуло на меня чужое лицо, и хриплый голос, незнакомый и злой, проговорил:

— Молодой человек, возьмите, — женщина сунула мне конверт, — это вам...

— Что? Как? Кто вы? — лепетал я в растерянности, но незнакомка не стала выслушивать меня, а торопливо зашагала прочь. Опомнившись, я увидел, что града уже нет, ветер стих и черная туча, перевалив через Хлынь, отодвигается на восток, освобождающая небо. На западе засветился край солнца, догорающая заря показала людям алое лицо. И сразу стало светлее и спокойнее, жуть, овладевшая мной, ушла, и, если бы не письмо в руке да мокрый пиджак, я мог бы подумать, что все недавнее приснилось мне. Тогда я вскрыл конверт. Письмо было от Сонечки. Вот оно, дядюшка. Я помню его наизусть...

Письмо

«Костя! Простите меня! Я не поеду с вами. Почему? Я всю ночь не спала и думала об этом. Куда вы хотели везти меня? Под Тамбов. В какую-то деревню. А что я там буду делать? Я учиться хочу. В Москве. А от Тамбова до Москвы ненамного ближе, чем от Хлыни. И еще: где бы мы стали жить? Вы рассказывали, что у ваших родителей есть домик и что мы будем жить в нем вместе с вашими мамой и папой. Но сможем ли мы жить с ними? Не обременим ли мы их? И сойду ли я характером с вашей мамой? А если не сойду, тогда что, куда деваться мне, куда ехать? И еще... Может быть, я неправильно поступаю, что пишу об этом. Но я не могу поверить. И мне кажется — это сон. Но я помню — это явь, и оттого мне иногда кажется, что я схожу с ума. Ваши крылья... Зачем они? Нужны ли они вам? Вы говорили, что судьба дала вам их для подвигов и свершений. Вы очень хорошо говорили, и в то время я так и думала — для подвигов и свершений. Но потом, придя домой, я очнулась. Какие подвиги? Какие свершения? Какие крылья? Для чего? Значит, вы ненормальный, Костенька. У нормальных людей нету крыльев. Они ходят. А вы летали. Простите меня, но я скажу честно: я не хочу, чтобы у моего мужа были крылья. Это хорошо только в сказках и фантастических повестях. А в жизни? Я не представляю, что будет, когда все узнают об этом. На вас будут показывать пальцем. Про вас будут говорить. Вас будут рассматривать, как рассматривают зверей в зоопарке. Вас, может быть, даже возьмут на обследование и посадят в какой-нибудь аквариум, чтобы проделывать над вами опыты. И еще, Костя... Может быть, это жестоко. Но я не могу не сказать и об этом. Ведь у наших детей тоже могут быть крылья. И их тоже посадят в аквариум... Я заплакала, когда представила это. Моего мальчика или девочку посадят в аквариум и будут изучать... Нет, Костя, нет, я не хочу этого. Простите меня, но я не поеду с вами. Прощайте. Соня».

Вот, дядюшка, что прочитал я в полумраке при свете догорающей зари, прочитал и заплакал. Бог мой! Что творится со мною? Зачем же я спасаю, падая на камни? Зачем научился летать? Уж лучше б разбился я, лучше бы похоронили мой прах, лучше бы не было меня на земле, чем получать такие письма от любимой. Я стоял посреди школьного двора, качаясь, словно пьяный, и никак не мог прийти в себя. Голова моя вмиг разболелась, будто разожгли в ней костер рогатые черти, будто хотели выжечь мой разум хвастливым пламенем. Я думал: что ж делать мне дальше, как быть, как жить? И хотелось мне, дядюшка, взлететь высоко в небо и, сложив крылья, рухнуть оттуда камнем. Зачем жить, если нельзя быть счастливым? Глупо все, глупо и бессмысленно. И несколько раз я расправлял крылья, собираясь сделать задуманное. Но что-то останавливало меня, какая-то робкая надежда, ка-

какая-то тихая вера. И наконец, решив, что в любой миг будет не поздно совершить это, я взял рюкзак и зашагал домой. Я шел центральной улицей, по которой гуляли под фонарями, дыша озонированным воздухом, хлыновцы. Я видел и не видел их, я шел домой, подчиняясь инстинкту, хотя и сам не понимал, куда иду. Наконец очутился я дома, в своей половине, перед своим диваном, с которым и не надеялся уже свидеться. Как был, в мокром костюме, в грязных ботинках я завалился на него и, глядя в темный потолок, все думал и думал. Я не смогу пересказать вам тех мыслей. Они были, как вспышки, как бред, как десятки разных причудливых кадров, склеенных в одну ленту. А может, я и вправду сходил с ума и сошел бы, если бы не возникал у меня перед глазами время от времени образ Сонечки, если бы не всходило в памяти моей, как красное солнышко, ее лицо. Сонечка, милая, это не вы писали, это бес вселился в вашу милую головку, завтра же вы будете тужить о написанном, завтра же... Так утешал я себя, дядюшка, и, как все влюбленные, не мог поверить в разлуку с милой, и, хотя в письме стояло «прощай», думал: надо еще раз поговорить с Сонечкой, сегодня же, сейчас, не медля ни минуты, поговорить, иначе я сойду с ума. И наконец, не выдержав, я поднялся с дивана и вышел из дому.

Зигзаг судьбы

Шагая по темной улице, я суетливо размышлял, как вызвать Сонечку. Я думал: может, не спит моя милая, и тогда, кинув камешком в стекло, я вызову ее, а если спит, то я и на крайность могу решиться — взлечу и через окошко к любимой проникну. Конечно, поступить так было бы риском, но, я надеюсь, вы понимаете мое состояние — я находился в полубреду тогда. Я шел по темным улицам, под искрящимися звездами. Грозы как не бывало, тишина и божья благодать. Мне бы ликовать, мне бы взлететь да покружиться над Хлынью в бархатной мгле, мне бы не ходить никуда — разве мало для счастья того уже, что ты живешь? Ан нет, дядюшка, мало, оказывается. И понимая, как чудно хороша ночь, я все же не замечал ее, все же шалал и шагал по дороге, неотвратно приближаясь к Сонечкиному дому. Наконец повернул я за угол и, взглядевшись сквозь листву в хоромы Антония Петровича, возликовал от радости: я увидел светящееся на втором этаже Сонечкино окно, то самое, из которого являлась моя милая недавним утром, когда беседовала с солнышком, когда радовалась жизни, когда песенку готова была петь на весь белый свет. Не спит, не спит моя девочка, тоже, наверное, переживает, тоже, наверное, в полубреду, тужит уже, быть может, что послала это письмо, губы кусает в кровь, пальцы выламывает. Ничего, не плачь, моя милая, я уже рядом, я иду к тебе... Подходя к дому, я рассмотрел, что окно открыто. «Вот и чудесно, — порадовался я, — сейчас брошу камешек, Сонечка и выглянет...» Однако, остановившись около калитки, я засомневался. Нет, не надо этого делать. Что-то другое придумать нужно. Пробраться, войти во двор и как-нибудь подняться в мансарду. А Рэм? А Сэм? Да они сожрут меня, да они такой гвалт поднимут, что чертям тошно станет. Значит, одно остается — лететь! Ну!.. Я взмахнул крыльями и, словно молодой голубь, без всяких усилий взмыл ввысь. Дом мгновенно оказался подо мной. Я сделал пару кругов, прицеливаясь, как лучше пробраться к Сонечке. В доме не светилось больше ни одно окно, и это успокоило. Значит, там спят. Вот и хорошо, вот и славно, думал я, кувыркаясь в воздухе разыгравшейся птицей, но как же влететь мне к девочке, нельзя же сразу, напугаю я ее. Нет, надо как-то постепенно, надо как-то предупредить любимую. Тогда, снизившись, я сбавил скорость и, порхая, словно бабочка, стал изучать стену около окна, отыскивая, за что бы зацепиться, чтобы, усевшись там, позвать Сонечку.



Наконец разглядел я при свете луны совсем рядом с окном рогатину от снятой водосточной трубы, а чуть выше — еще одну. Тогда, подлетев к мансарде, я оперся ногами о нижнюю рогатину, руками же взялся за верхнюю и весьма удобно устроился в полуметре от тюлевой занавески. Потом, переведа дух, хотел уже было позвать Сонечку, но тут мужской голос раздался изнутри:

— Нет, нет, это не выход... — Я без труда узнал Антония Петровича. — Надо придумывать что-то более радикальное...

Я обомлел от неожиданности и едва не грохнулся наземь, но все же сумел удержаться. Однако тело мое наклонилось, и, балансируя на грани падения, я, сам того не желая, заглянул в комнату Сонечки и увидел...

Двенадцать мужчин за дымовой завесой

Я увидел комнату, полную табачного дыма, и в дыму, как в тумане, неких людей, которых не сразу узнал. Мне понадобилось несколько минут, чтобы глаза мои смогли разглядеть все в подробностях. Вначале узрел я стол, на котором, как знак беды, стояла пепельница, полная окурков. Раскрытый почтовый конверт с торчащим наружу листом бумаги лежал рядом. Один из присутствующих нервно расхаживал по мансарде взад-вперед. Присмотревшись, узнал я в нем Любопытнова. Разгуливая по комнате, Юрочка то и дело подходил к столу, хватал письмо и, мгновенно вчитавшись в него, тут же бросал обратно. Что это было за письмо, не ведаю, дядюшка, но по всему было видно, что содержание оно не радовало завхоза.

Через некоторое время, привыкнув к дыму, я рассмотрел всю компанию. У белой печи на полу громоздился, как глыба, управляющий хлыновского банка Выгаев. За дальним концом стола разглядел я Ашота Араратовича Казбека, снабженца из детского дома. Обхватив рыжую голову волосатыми ручищами, словно пробовал дыню на спелость, он отчаянно тупо устоялся в скатерть. За печью у шкафа — я едва заметил — прятался директор элеватора Бухтин, маленький и тревожный, словно кузнечик. Огромными глазами поглядывал он то на одного, то на другого брата своего по клану и готов был, казалось, в любой миг выпрыгнуть в окно. Короче, здесь были те, кто совсем недавно поднимал хмельные бокалы за здоровье Союза деловых людей. Вот только Антония Петровича сначала я не обнаружил в комнате, но после, взглядевшись в сизый чад, рассмотрел и его. Он стоял у двери, закрыв лицо ладонями, скорбный, будто принц датский после свидания с Призраком.

— Нет, нет, это не выход, — опять заговорил Антоний Петрович, когда я взглянул на него, — надо придумывать что-то более радикальное...

Он отодвинул ладони от лица, и я увидел, что сальная голова его перевязана по-пиратски белым бинтом, скрывающим от мира левое око. Правый же глаз Сонечкиного папы печально воззрился на окружающих. Долго и пристально смотрел Антоний Петрович на них, но, так и не дождавшись ответа, снова закрыл лицо ладонями.

Тревога висела в воздухе и была гуще, чем папиросный чад.

Я подустал изрядно торчать на рогатине, к тому же мне Сонечка была нужна, а не эти задумчивые дельцы, и я уже намеревался оттолкнуться от стены да полетать вокруг дома, не слышно ли где девчокиных вскрипов, как вдруг дверь отворилась и на пороге возникла она сама с подносом, полным кофейных чашек. С трепетным вниманием взгляделся я в лицо моей милой, надеясь найти на нем следы слез, волнений, бессонной ночи. Но лицо Сонечки было неподвижно, как маска, глаза, словно остекленевшие, глядели только на чашки с кофе. Поставив поднос на стол, Сонечка вытряхнула в печь окурки из пепельницы, водворила ее на прежнее место, затем подошла к отцу и что-то шепнула ему. Антоний Петрович взглянул на дочь своим одиноким глазом

и молча кивнул. Когда Сонечка вышла, Антоний Петрович обратился к гостям:

— Товарищи... Кофе... Прошу... — попытался произнести он по-прежнему мощно, но вышло неуверенно и даже робко. — Я должен выйти... Пришел врач...

Присутствующие никак не отреагировали на его слова, и, окончательно смутившись, хозяин дома скрылся за дверью.

В этот миг с другой стороны простенка, где я стоял на ржавой рогатине, засветилось еще одно окно, и, в надежде увидеть Сонечку, я заглянул туда. Но обнаружил там не ее, а, к удивлению своему, врача нашего Александра Иваныча, уже представленного вам, дядюшка, в самом начале тетради. В усталой позе изрядно потрудившегося человека сидел доктор в кресле, держа на коленях извечный свой саквояж. Глаза его были прикрыты. Казалось, едва присев, наш эскулап тут же задремал. Но недолго суждено было ему отдыхать, потому что в следующую секунду, резко открыв дверь, ввалился в комнату Антоний Петрович.

— Что же вы, доктор, задерживаетесь? — Голос звучал уже властно, как в прежние времена.

Александр Иваныч, тряхнув головой, отогнал сон и, ничего не ответив, поднялся.

— Я жду, жду... — продолжал ворчать Сонечкин папа.

— Работы много, — поправил спозащие на нос очки невозмутимый доктор, — только что с вызова... И, забирая инициативу в медицинские руки, кивнул на освободившееся кресло. — Посмотрим, что у вас...

Подчинившись, Антоний Петрович уселся и откинул голову назад, как в парикмахерской, словно его собирались брить.

— Так-с, так-с... — Доктор разминал застывшие с холода руки. — Ну-ка...

Крошечными ножницами, извлеченными из саквояжа, он перерезал бинт и стал разматывать его. Вскоре открылась нашим взорам ужасная картина заплывшего гнойной опухолью глаза.

— Так-с, так-с, — Александр Иваныч удивленно покачал головой, — кто же это вас так?

— Да сам... — поморщился Антоний Петрович. — Споткнулся...

— Ну, ну... — судя по тону, не поверил доктор. — А шерсть под повязкой откуда?

— Шерсть? — заметно покраснел Сонечкин папа. — Не может быть...

— Как не может? — Александр Иваныч изящным пинцетом очищал рану. — Вот... — Он поднес к здоровому глазу Антония Петровича невидимую мне шерстинку. — Белая... Как у вашего Рэма... Вас, случаем, не собака укусила?

— Нет, что вы... — Антоний Петрович хотел затрясти головой, но доктор стиснул ее руками.

— Но все равно против заражения нужно пару уколов сделать...

— Это пожалуйста... — охотно согласился Сонечкин папа.

Не буду описывать вам, дядюшка, как очищал доктор боевую рану Антония Петровича, как обрабатывал ее и обматывал бинтом, не буду распространяться также и о том, как расстегивал фирменные джинсы Сонечкин папа и, ложась животом на кровать, показывал нам с эскулапом пышные, будто два снежных холма, ягодицы, скажу только, что, когда доктор достал из саквояжа шприц и какую-то корбочку с лекарством, Антоний Петрович озабоченно обернулся к нему:

— Какой укол хотите делать?
— Пенициллин... — безразлично ответил Александр Иваныч, погружая в ампулу иглу. — А что?

— Получше ничего нет? — пренебрежительно спросил Сонечкин папа. — Я заплачу...

— Скажите спасибо, хоть это есть... — Александр Иваныч надавил на поршень шприца, и струйка лекарства брызнула из иглы. — Приготовьтесь, сейчас уколою. — Он наклонился к белоснежным холмам Антония Петровича и, вонзив иглу, потер ранку ваткой. — Это-то не знаю, каким чудом учитель достал... Наводнение, черт бы его побрал...

— Какой учитель? — вскочил с постели Антоний Петрович, судорожными движениями застегивая штаны.

— Зимин... — забыл, видно, свое обещание Александр Иванович.

— Зимин?! — У Антония Петровича перекошилось лицо.

— Зимин... А что? — ничего не замечал усталый эскулап.

— Да так... — успокоил себя Антоний Петрович. — Где же он достал?

— Не знаю... — Александр Иванович протягивал Сонечкиному папе ту самую мою коробку. — Вот возьмите. Тут еще одна ампула. Чтобы мне не таскать. Пусть у вас будет...

— Хорошо, хорошо... — положил коробку на стол Антоний Петрович, потом полез в карман и извлек оттуда красную купюру. — Это вам...

— Спасибо, не надо... — даже не взглянул на деньги доктор. — Мне за работу больница платит... — И направился к двери.

Но Антоний Петрович не побежал за ним, как я предполагал, а механически спрятав десятку в карман, схватил со стола коробку с пенициллином. До смерти мне не забыть, как дрожали его руки, как шептали что-то губы... Что он высматривал, что вынюхивал там? Может, печати какие-нибудь, может, штампы аптекарские? Не знаю. Но знаю только одно — остановившись вдруг, Антоний Петрович долго смотрел на дверь, за которой скрылся врач, потом неожиданно подпрыгнул и, вскинув руки вверх, вскричал:

— Спасен! Спасен!

В следующий миг Антоний Петрович выскочил из комнаты и через секунду явился в другой — там, где сидели гости, совершенно иным явился, застегнутым на все пуговицы, с выпяченной грудью, с важным видом, на физиономии его опять возникло выражение превосходства над себе подобными. Постояв пару мгновений у дверей и не видя никаких знаков внимания к своей персоне, он, как певец перед трудной арией, набрал полные легкие воздуха и произнес громко, словно через мегафон:

— Выход найден! Мы спасены!..

Оживленные дебаты

При этих словах, будто в стоп-кадре, все замерло вокруг. Любопытнов, как сделал шаг, так и зависла его мускулистая нога в воздухе, и, похожий на скульптуру «Вечного странника», он еще долго стоял в столь нелепой позе. Ашот Арапатович Казбек наконец-то перестал пробовать на спелость свою бедную голову и, разжав руки, держал их над головой, словно просящий пощады человек. Элегантный Бухтин, уже присев, может быть, для прыжка в окно, так и остался пребывать на полусогнутых ходулях своих с отведенными назад тонкими руками. Тяжеловесный Быгаев, крикнув, распрямил толстые, как шпалы, ноги и, проскользнув спиной по печи, поднялся и окаменел снова, будто атлант, подпирающий глыбу. Все замерло в комнате, даже дым от папирос, перестав совершать затейливые воздушные реверансы, застыл над головами деловых людей в необъяснимом физическом феномене.

— Прошу садиться, друзья... — словно бы вновь запустил киноленту Антоний Петрович. — Подкрепимся, — он указал на кофе, — и обсудим мое предложение.

В комнате опять все задвигалось.

Когда деловые люди расселись, Антоний Петрович встал во главе стола и, дождавшись, пока гости поконтчат с кофе, постучал ложечкой по сахарнице, требуя внимания. Но он напрасно делал это, потому что коллеги его и без того были — сплошные уши.

— Мы спасены, товарищи... — Антоний Петрович сделал небольшую паузу, и в возникшей тишине можно было различить, как шуршат ресницы недоумевающих глаз. — Выход найден...

— Какой же? — не вытерпел трепещущий Бухтин. Но Антоний Петрович будто не слышал его.

— Человек, который может к завтрашнему... — При этих словах Антоний Петрович взглянул на часы и тут же поправился: — Простите, уже к сегодняшнему утру доставить сумму по адресу, имеется... Тут в комнате поднялся невообразимый гвалт.

— Кто? Как? Каким образом? — закричали мафиози наперебой. — Кругом вода... Дороги размыты... Он что, с крыльями, что ли?

Но Антоний Петрович, вновь постучав ложечкой по сахарнице, тут же пресек разглагольствования. Когда тишина опять воцарилась, промолвил совершенно спокойно:

— Да, представьте себе, с крыльями...

От этих слов я едва не свалился с рогатины, мне даже крылом махнуть пришлось, чтобы удержаться. От взмаха сего волна воздуха надула занавеску, как парус. Я испугался, как бы не обнаружили меня. Но никто и внимания не обратил на порыв ветра. Все глядели на Антония Петровича, внимательно глядели, настороженно даже, как смотрят на человека, который вдруг ни с того ни с сего начинает жевать рукав. Все ждали, когда он объяснится. Но Антоний Петрович не объяснялся и даже, более того, чувствуя, видно, тревожный эффект, произведенный его словами, прищурил зло единственный глаз и повторил настойчивее:

— Да, да, я не сошел с ума. У него есть крылья. Уж не знаю какие... От природы, или, может, он летательный аппарат какой изобрел, но он способен подниматься в воздух. Я сам видел...

— Да кто же это? — не утерпел Любопытнов.

— Кто? — Антоний Петрович сделал многозначительную паузу. — Зимин... Учитель школьный...

За окном опять начался тарарам, все кричали кто во что горазд, но я уже не прислушивался к их голосам. Тревога объяла меня, тревога и страх. Тайна моя открыта! Что делать? Как быть? Завтра вся Хлынь будет знать про крылья! Господи, подскажи! Я поднял глаза к небу. Но небеса безмолвствовали, мерца я холодными звездами. Самому надо решать, самому... Сейчас же, сию минуту... Через час уже будет поздно. Что делать? Бежать, лететь отсюда куда глаза глядят, хватать рюкзак и тютю... Но как же Сонечка? Как же я без нее потом? Нет, я так не могу. Но что же тогда?

Не зная, как поступить, я счел за лучшее посидеть еще на рогатине, послушать бормотание «коллег» Антония Петровича. А в комнате стояла гробовая тишина. Я испугался даже, не убежали ли мафиози искать меня, но, заглянув внутрь, увидел — они на месте, сидят вокруг стола и осторожно, словно неразрывавшуюся гранату, рассматривают какой-то предмет, передавая его друг другу. Что это у них? Я вгляделся и обомлел. По рукам деловых людей ходила моя тапочка. Да, да, дядюшка, та самая тапочка, которую я потерял, спасаясь от преследователей недавним вечером. Так, значит, не зря я волновался? Так, значит, нашел-таки ее Антоний Петрович? Так, значит, разгадал мои инициалы? О-о-хо, вот откуда он знает все, вот зачем превращался в Рэма... Чтобы выследить меня... А я-то, глупец, распорхался перед Сонечкой, а я-то крылья распустил... Безумец, какой же я безумец!

Обойдя вокруг стола, тапочка снова вернулась к Сонечкиному папе, и он, осмотрев ее еще разок, положил перед собой. Мафиози зачарованно глядели на Антония Петровича, как на фокусника.

— А теперь, — обратился он к Любопытнову, — скажите мне, что прокричали вы тем вечером, когда упустили мы вора и когда, — он показал на бинт, — я так нелепо пострадал?

— Я? — переспросил Любопытнов. — Прокричал?

— Да, да, вы... Что вы проголосили, как оглашенный?

— Я? — Любопытнов смутился. — Неужто? Я никогда не кричу...

— Да не тяни ты! — толкнул его в бок Ашот Арапатович. — У нас времени в обрез. Говори, чего орал? Ну!

— Во-первых, я не орал. — Любопытнов и в сей трудный миг оставался уравновешенным десантни-

ком.— Я никогда не ору. Я не баба. А во-вторых, если попробовать вспомнить, то...— Он потер лоб.— Я сказал... Мне показалось... Он улетел... Точно. Ведь так, Иван Андреевич? Я сказал: «Он улетел, Быгаев...» А?

— Я это помню,— закивал увесистой башкой Быгаев.

— И я это слышал...— сжав субтильные плечики, тихо молвил Бухтин.

— Я тоже что-то припоминаю...— пошевелил рыжими бровями Ашот Араратович.

— Вот там-то я и нашел данную тапочку...— многозначительно произнес Антоний Петрович, обведя испытующим взглядом сидящих за столом. И мафиози не возразили ему, всем своим видом показывая, что теперь они верят. Выждав несколько мгновений, Антоний Петрович продолжил:— Так что же? Поручим учителю передачу денег?

— А долетит?— робко поинтересовался элегантный Бухтин.

— Долетит,— уверенно кивнул головой Антоний Петрович, быть может, вспомнив в сей миг про корбук с пенициллином.— Он туда уже летал...

— А не упрет?— передернулось лицо у Любопытнова.— Ведь пятьдесят тыщ... Деньги немалые... А?

— Этот вопрос я тоже продумал,— мгновенно рассеял сомнения Антоний Петрович.— Во-первых, он не узнает, что в пакете, деньги или бумаги, а мы ему тыщонку по возвращении посулим, он и радешенек будет... А во-вторых, и это главное, у него здесь поинтересней приманка имеется...

— Какая?— пошевелил квадратной челюстью Быгаев.

— Дочка моя... Он ведь влюблен в нее, как идиот. Пообещаю, что выдам за него Соньку, так уж будьте спокойны...

— Я не согласен! Нет!— вдруг поднялся со своего стула Любопытнов.— Я не согласен, чтобы она за него замуж выходила! Вы обещали мне! Вы...

— Заткнись, дубина!— дернул Любопытнова за рукав Быгаев.— Тут дело решеткой пахнет, а он, вишь ты, любви захотел! Сиди! Ну! Эй, Казбек, помоги!

Под мощным напором двух богатырей Любопытнов изогнулся, как борец, но все равно продолжал дергаться и возражать. Антоний Петрович не говорил ни слова, молча наблюдая за экзекуцией. Когда же утихомиранный Юрочка присел, промолвил с шипением:

— Я же сказал — «пообещаю»... Вам что, не ясно? Я не совсем ведь рехнулся, чтобы выдавать дочь за этого крылатого придурка... А теперь голосуем: кто за то, чтобы поручить учителю передачу суммы в область?

Одиннадцать рук взметнулись вверх, как сигнальные флажки. Один только Любопытнов медлил, но вскоре и он под грозным взглядом Быгаева поднял покорную ладонь.

— Единогласно,— подвел жирную черту под голосованием Антоний Петрович.— А теперь обсудим план наших действий. Я предлагаю...

Я играю ва-банк

Антоний Петрович предлагал... Однако об этом чуть позже, мой дядюшка. Сейчас я хочу рассказать вам, что испытал при виде описанной сцены. Хотя вы и сами догадались... Гнев, гнев, гнев! Меня обмануть хотели, провести, использовать, как курьера, как мальчишка на побегушках, как почтового голубя, а потом осмеять. Меня самым дорогим на свете хотели подкупить, Сонечкой, а после отдать голубушку крестину Любопытнову. Меня оскорбляли, насмехались надо мной и так далее и тому подобное. Короче, от всего услышанного я был свиреп, аки раненый тигр, и рвать хотел и метать, зубами грызть клетку. И уже несколько раз порывался вломиться через окно, вскочить на стол и растоптать фарфоровые чашки, и испинать кислые физиономии, и еще не знаю, что я хотел сделать,— человек на страшное способен в таких состояниях. Но, уже наклоняясь, чтобы вшгнуть в комнату, я всякий раз удерживался, всякий

раз сжимал руками рогатину, всякий раз говорил себе: «Погоди, послушай еще, войти ты всегда успеешь...» И я слушал и слушал, и чем больше узнавал о компании Антония Петровича, тем меньше хотелось мне топтать чашки и тем сильнее хотелось мстить по-иному, зло и серьезно, так, чтобы вся жизнь помнили они эту ночь. И когда деловые люди проголосовали единогласно за мой обман, за мое унижение, и когда я убедился, что ни у кого не нашлось и капли совести, чтобы пожалеть меня, тогда-то и созрел окончательно мой рискованный план.

— Я предлагаю,— говорил Антоний Петрович,— послать кого-нибудь к учителю, чтобы вызвать его сюда...

Едва лишь промолвил Антоний Петрович сии слова, я понял — настал миг действия. Сейчас, Костюха! И ни минутой позже! И, оттолкнувшись от стены, я, словно засидевшийся голубь, сделал круг над садом Сонечки и, набрав приличную скорость, прицелился и со всего маху влетел в раскрытое окно. Чудом не запутавшись в тюлевых занавесках, я вошел на стол, растоптав-таки нечаянно пару чашек.

Эффект от моего вторжения, дядюшка, был потрясающий! Я полагаю, не хуже, чем от явления разбойникам бременских музыкантов. Мафиози с перепугу попадали со стульев и застыли в самых разнообразных уродливых позах. Признаюсь, я испытал удовольствие от их шока и, чтобы довершить эффект, стряхнул ногой со стола осколки разбитой посуды и произнес чеканно, как в школе:

— Не надо меня звать. Я — здесь. Итак, чего же вы от меня хотите?

Ответом была гробовая тишина, нарушаемая лишь робкими шорохами с трудом опоминающихся людей.

— Ну что же вы, уважаемые?— прыгнул я со стола.— Чего перепугались? Вы желали меня видеть — я явился. К тому же я слышал, у вас мало времени, давайте же не будем его терять...— Я сделал короткую паузу и, увидав свободный стул, уселся и закинул ногу на ногу.— Но только хочу предупредить: я все знаю... Осталось обговорить условия.

— Что вы знаете?— пришел в себя и конвульсивно задергал плечом Антоний Петрович.

— Все,— хлопнул я по столу ладонью.

— Ах, сука!— очухался в этот миг лежащий рядом Быгаев и потянул ко мне железную длань.— Подслушивал?

— Так точно,— усмехнулся я и слегка пнул носком его руку.— Прошу учесть: любое прикосновение ко мне грозит повреждением невидимых крыльев...

— Да я тебя!— Уже и Любопытнов был на ногах, замахивался пустой чашкой.— Да я тебе череп разможжу!

Рука его готова была пульнуть в мою голову хрупкий снаряд, но тут Антоний Петрович подскочил к Юрочке:

— Стоп! Я кому сказал! По местам!

Голос его, еще секунду назад ломкий и неуверенный, звучал уже зычно и напористо, как голос старшины перед строем. И мафиози подчинились, расселись вокруг стола, хотя все еще косились на меня и скалили клыки, как львы перед укротителем. А я, понимая, что нельзя упускать момента, нельзя терять куража, взял с подноса чью-то нетронутую чашку и, отхлебнув глоток, сказал развязно, как булгаковский кот:

— Хорош кофеек... Надеюсь, без валерьяночки... Давненько такого не пивал...— Затем, сделав паузу, добавил решительно:— Итак, ваши условия, мессирсы?

Антоний Петрович, сцепив пальцы перед лицом, хрустел ими, словно ломал сухарики. Он, видно, не знал, с чего начать, и я, желая быстрее прекратить рискованный разговор, помог ему:

— Что касается меня, то я гарантирую возвращение к утру. Мои летные способности не составляют труда это исполнить. Слово за вами...

— Что касается нас,— Антоний Петрович опять похрустел суставами,— то, если вы, как вы сами при-

знались, все слышали, я позволю себе назвать ту же самую сумму, которую называл раньше...

Тут Антоний Петрович умолк, по лицу его проскользнула едва заметная усмешка. Сначала я не понял ее смысла, но тут же сообразил, в чем дело. Он меня проверяет, действительно ли я что знаю. Я улыбнулся его убогой хитрости.

— Ну что вы, Антоний Петрович. На тыщу я не согласен... Тысяча — это, простите, издевательство. Я и крылом не шевельну из-за такой суммы. Не на мальчика напали... Ха-ха-ха...

Смех получился, конечно же, деланным, но Антоний Петрович с компанией не заметил этого. Я слышал, что среди мертвой тишины раздавался скрип зубов и едва сдерживаемое рычание. Мне стало жутко от этих злобных звуков, но, вспомнив, как совсем недавно посмеивались мафиози надо мной, я опять ободился, и злость прибавила мне мужества.

— Не на мальчика, Антоний Петрович... — куражась, хихикал я. — Так что называйте-ка сумму посольней...

Я поставил чашку на стол, скрестил руки на груди и притворно-высокомерно откинул голову.

— Да какую же посольней? — все еще пытался улыбаться Антоний Петрович. Я даже позавидовал его выдержке. — Может быть, сами, Константин Иннокентьевич, назовете, сколько хотите...

— Назвать? — молвил я. — Это, пожалуй, можно... Отчего же не назвать... Я выдержал паузу, в течение которой обвел присутствующих взглядом, стараясь предположить, что изобразится на их физиономиях в следующий момент. Лица были напряженно-внимательны, как у игроков в Монте-Карло. — Отчего же не назвать... Половину того, что в пакете... — проговорил я ледяным голосом, и тут же услышал хруст раздавленной чашки. Это Быгаев не вынес испытания и, смяв мощной десницей сосуд, в ярости замахивался на меня обломками оного. Другие члены хлыновской мафии хотя и не поднимали рук, но, я чувствовал, готовы были искушать, разорвать, истоптать и так далее. Я сидел как на иголках, ожидая всего чего угодно. Я даже даже прицелился к окну, чтобы в случае нападения вылететь вон. Но Быгаев, изобразив на лице трагическую мину, все же сдержал себя и, прорывав нечто дикое, опустил занесенную руку.

— Ну, это уж слишком, Костя... — подвел итог пронесшимся в головах мафиози мыслям Антоний Петрович. — Слишком... Уверяю вас... Вы же сами понимаете — этого мы сделать не можем.

— А сколько можете? — начинал уже уставать я. — Ну, две, допустим... — протянул через силу Антоний Петрович.

— Ну уж нет, — задохнулся я от притворной злобы, — и не надейтесь...

Я поднялся, подошел к окну и вскочил на подоконник. Пора было кончать этот плохой спектакль.

— Половина того, что в пакете... И ни рублем меньше. Считаю до трех... Раз, — начал я счет, будучи в полной уверенности, что компания не согласится на мои условия, — два... — Тишина в комнате стала стеклянной. — Тр...

Но не успел я выговорить последнюю букву, как Антоний Петрович сорвался с места и, подбежав ко мне, схватил за брючину.

— Стойте! Не улетайте! Мы должны обсудить, мы должны взвесить...

Он почти силой стянул меня на пол, потащил к двери, потом, открыв ее, вытолкнул из комнаты.

— Подождите... Мы живо... Минуту, не более...

Я остался один в темном коридоре. Признаюсь, дядушка, страх обьял меня. «А может, это ловушка? Может, они сейчас что-нибудь придумают, как-нибудь выкрутятся, а меня, как свидетеля, свяжут, рот паклей заткнут и того...» Я уж и договорить-то боялся, что они со мной могут сделать. «Доигрался, Костя, — корил я себя, — пошутил немножко и хватит, и сматывался бы, а то нет, до истерики захотел довести... Вот теперь расхлебывай, трясись... Как же отсюда выбраться-то?» Я стал, ощупывая стену, медленно продвигаться по периметру, надеясь найти

хоть какую-то лазейку. Но, пройдя до угла, вдруг коснулся руками чего-то теплого, вздрогнувшего от моего прикосновения и, испугавшись, отскочил в сторону. Но тут услышал голос, так хорошо знакомый мне:

— Костя, не пугайся... Это я... Соня...

— Ах, Сонечка, — обрадовался я, — милая, прошу, выведи меня, я не нарочно, я пошутил, а они, они могут... Я боюсь... Я ведь знаю все... Но я буду молчать... И я завтра же уеду...

— Что ты, Костя, — обхватила Сонечка ладонями мое лицо. — Что ты... Куда выпустить? Зачем? Никуда не уходи... Я все знаю. Я слышала. Они согласятся... Да... Не бойся...

— На что согласится, Соня? Что ты говоришь?

— На двадцать пять тысяч согласится... Я знаю! Я все знаю. Иначе папе тюрьма. Ты не уходи, Костенька, ты соглашайся. И я буду твоей, с тобой, мой милый...

— Что ты, Сонечка? — отвел я ее руки. — Что ты говоришь? Понимаешь ли ты? Чтобы я — с ними?! С этими ворунами? Ни за что и никогда! Я честный человек и горжусь этим...

— Тогда что же выходит, Костя? Значит, ты хочешь, чтобы моего папу посадили?

— Я не кровожадный, Сонечка, и я этого не хочу... Выпустите меня... И я завтра же уеду...

— Ты-то уедешь... А я останусь... Совсем одна, совсем беззащитная, никому не нужная... И после того, как папу заберут, мне нечего больше будет делать, кроме как выйти за Любопытнова... — Сонечка горестно вздохнула. — Неужели допустите вы, чтобы эти руки, эти плечи, все, что может принадлежать вам, ласкал другой мужчина? Неужели допустите, Костенька?

Голова моя вмиг заболела от Сонечкиных слов, и картины одна кошмарней другой встали перед глазами — Любопытнов ласкает Сонечку, кофточку на ней расстегивает, волосы шелковые распускает... Нет, нет, нет, я не мог этого допустить, не мог, хоть бы даже весь мир пошел прахом, и тогда, рванувшись к любимой, заключил ее в объятия:

— Хорошо, хорошо, милая, — зашептал, безумный от ревности, — я полечу, я спасу вашего папеньку. И никаких денег мне не надо. Я сделаю это для вас, только для вас... Но прежде ответьте мне на вопрос... Ваше письмо? Вы ведь писали, что никогда... Потому что у меня крылья...

— Да ладно, уж бог с тобой, летай... — потерлась Сонечка щекой о мою щеку. — Летай, коли без этого не можешь... Что нам, слабым женщинам, остается делать с вашими мужскими причудами? Только терпеть их... Но коли уж ты взялся за это, коли не можешь без того, чтоб не взвизгивать под небеса, то, я думаю, тебе не в Дерибрюхове надо жить, а в Москве... Что сможешь ты сделать в деревне? Да ничего... А что сможешь в столице? Всю Библиотеку, театры, институты будут у тебя под рукой... Лучшие люди страны могут стать твоими друзьями, твоими союзниками... Ты представляешь, что сможешь ты сделать там?.. Да ты всю страну можешь изменить, весь народ осчастливить... Так что, мне кажется, от денег нет смысла отказываться... Их надо брать... На них мы сможем купить квартиру.

— Но, Сонечка, милая, это же низко — помогать воровству... Как же можно?

— Ну и что? Да ты в неделю с лихвой искупишь свою вину перед людьми... Зато какую пользу сможешь ты принести народу...

Неожиданно Сонечкина мысль открылась мне во всей своей изуверской красоте. «Действительно, — подумал я, — а ведь она права. Один раз обмануть, зато потом какие великие, какие прекрасные дела смогу делать я... Конечно же, это компромисс. Но ведь я делаю это не для себя, а для общей пользы. И поступок мой не самоцель, а тактический прием, потому что есть компромиссы и компромиссы... Это не мною сказано... Лететь, надо лететь и деньги брать, а завтра же, немедленно, двигать в столицу...» Понимал ли я, дядушка, что обманываю самого себя? Нет, не понимал, я был будто одурманен, я да-

же дрожал от великих событий и великих дел, которые ждали меня. Будущность моя представлялась мне великолепной. (Наверное, и вправду наелся я, сам не ведая того, валерьянового корешка с концентратами из «Универсама»!)

— Да, Сонечка,— сказал я, ликуя от внутреннего восторга,— вы правы, вы бесконечно правы... Так я и сделаю...

— Вот и хорошо, Костенька,— молвила Соня,— вот и умница. Я так счастлива...

Она обхватила ладошкой мою шею, притянула к себе и нежно поцеловала. У меня голова и вовсе пошла кругом. А Сонечка все шептала:

— Сейчас, когда они позовут тебя, ты соглашайся и лети, а после, когда вернешься, прилетай ко мне, сегодня же утром прилетай, я буду держать окно открытым, и завтра же мы уедем, завтра же, милый... Ты понял?

— Понял, конечно, Сонечка,— шептал я, чувствуя, как ее ладонь выскальзывает из моей.

— А теперь я уйду,— удалялась она,— жду тебя, Костенька...

Едва слышимый шорох и шуршание шагов уловил я, и Сонечка исчезла, словно сквозь стену прошла.

— Сонечка, Соня...— звал я, но никто не откликался на мои слова.

Вместо ответа открылась дверь, ослепив меня ворвавшимися в темницу лучами от люстр. Антоний Петрович стоял у порога и, по-лакейски склонившись, красноречивым жестом приглашал в залу.

— Прошу, Константин Иннокентьевич...

Я робко вошел. Теперь я уже думал о другом: а вдруг они не согласятся, вдруг покажется им сумма велика, что тогда? Уменьшить сумму, лететь все равно, но хватит ли в таком случае нам с Сонечкой на квартиру, на устройство, ох, как бы они не передумали. Из-за волнения я не смог разглядеть их внимательно, и потому не помню выражения их лиц, помню лишь, что тишина стояла в комнате, напряженная тишина, и еще помню, они сидели на стульях уже не за столом, а вдоль стен, вокруг меня, черные пятна на светлом фоне, а кто где, не различали мои глаза. Антоний Петрович подвел меня к столу. Стол был уже чист, ни чашек, ни подноса на нем, только свежая белая скатерть и еще — я заметил — носовой платок, прикрывающий какой-то предмет.

— Итак, Константин Иннокентьевич,— начал Антоний Петрович низким голосом,— прошу слушать меня внимательно...— Он на секунду умолк. Искры посыпались из его одинокого страшного глаза. Потом заговорил снова, отрывисто и чуть ли не грубо: — Мы согласны на ваши условия. Мы гарантируем вам эту сумму. Половина сейчас.— При этих словах Антоний Петрович поднял носовой платок, под которым оказались нетронутые пачки красных купюр в банковских упаковках, двенадцать пачек, лежащие на столе, как колоды карт.— А половину утром по возвращении...— Антоний Петрович протянул мне какую-то бумагу.— Вот расписка, заверенная у нотариуса. (Когда они все это смогли обделать, ума не приложу.) Ознакомьтесь...

Я коротко взглянул на письмо и, хотя волновался, все же различил там печать, подпись Антония Петровича и нотариуса и сумму прочитал, написанную прописью: тринадцать тысяч... Мне было обидно, что они все-таки не половину давали сейчас, а меньше на полтысячи, но я решил с ними не спорить, не дразнить их по пустякам.

— Вас эта форма обязательства устраивает? — спросил Антоний Петрович.

— Да...— робко ответил я, никак не умея прийти в себя.

— В таком случае вы тоже должны дать нам некоторые гарантии...— Голос его стал строже, приняв угрожающие окраски.

— Какие? — изо всех сил стараясь выглядеть уверенным, промямлил я.

— Вот, подпишите...— Антоний Петрович подsunул еще одну бумагу. Я взглянул на нее. Я смутно помню ее содержание, потому что толком и не разобрал

его, только понял, что сие обязует меня вернуться к утру. В противном случае будет заявлено в суд... О каком суде шла речь, о каком правопорядке, когда дело было воровским и тайным, не разумею, дядюшка. Но так как я и сам норовил воротиться к утру, то и здесь не стал возражать и подписал договор.

— Ну вот,— Антоний Петрович взял бумагу со стола, свернул ее и запихнул в карман,— теперь забирайте деньги и — в путь... Вот адрес, куда надо доставить пакет... И чтобы сегодня же назад, с актом от Ивана Иваныча!

Я подошел к столу и сначала спокойно, но после все торопливее и торопливее стал засовывать деньги в карманы пиджака. Руки мои тряслись, ноги ослабли, я, кажется, даже вспотел и, наверное, выглядел со стороны весьма жалко и дрянненько, но ничего не мог поделать с собой. Деньги, деньги, деньги — они гипнотизировали меня. Наконец последняя пачка купюр исчезла в моем кармане, затем и пакет последовал за ней, затем и адрес, на который я даже не взглянул. Когда все было собрано, я подошел к окну. Только сейчас заметил я, что оно закрыто.

— Я готов...

— Но запомни,— Антоний Петрович вдруг перешел на «ты», — если задумаешь слить со всем пакетом, тебе не жить! Мы тебя из-под земли выкопаем, в Африке найдем... Понял?

— Да,— коротко ответил я.— Не волнуйтесь. К утру я буду.

— Ну, давай,— уже дружелюбнее сказал Антоний Петрович и щелкнул шпингалетом, открывая окно.— Пошел...

— Пока...— кивнул я ему и, оттолкнувшись от подоконника, взмахнул руками и полетел...

Катастрофа

Но не в блещущие звездами небеса ринулся я, мой дядюшка, а вниз, на грешную землю, короче, я просто грохнулся на клумбу. Ничего не понимая и едва пересиливая боль в подвернутой ноге, я поднялся и, думая, что просто не успел как следует взмахнуть крыльями, вновь взглянул в небо и попытался взлететь. Но бесполезно...

— Ну ты чего там? — глядели на меня из окон мафиози.— Чего застопорился?

— Сейчас, сейчас,— успокоил я их и снова затрепетал руками. Однако с тем же успехом. Я был похож на петуха с обрезанными крыльями. Я был похож на сумасшедшего. Я был похож...

О, дядюшка, я был в отчаянии. А деловые люди, почуяв, видно, неладное, исчезли из окон, но вскоре явились во дворе, выбежали беспокойным гуртом, окружили меня.

— Ну, лети! — кричал Антоний Петрович, тараща суровый глаз.— Лети, ядрена мать! Некогда!

— Сейчас,— уже ощущая и сам, что пора бы взлететь, кричал я,— не волнуйтесь!..

И снова взмахивал руками. Но только ветер холодил мне кисти, ноги же не отрывались от земли.

Тут и Сонечка выглянула из окна, лицо ее было перекошено.

— Лети! Ну-ка! Тебе говорят! — суровым голосом, напоминающим интонации Антония Петровича, кричала она.— Я кому сказала!

С удесятерненным тщанием, не желая обмануть надежд любимой, я снова взмахнул руками, снова подпрыгнул, но, как и в прошлый раз, остался на земле.

— Да он разыгрывает нас! — вскричал сумасшедшим голосом Любопытнов.— Издевается, сука! Да он просто денег побольше выманить хочет! Так знай же! — рванулся Юрочка ко мне, и никто не остановил его.— Знай, гад! — схватил он меня за грудки и затряс, как куклу.— Мы ни копейки не прибавим! Лети или несдобровать тебе, падла! — Он оттолкнул меня яростно.— Считаю до трех...

И почему всегда, дядюшка, считают до трех? Почему не до трех тысяч? Если бы Любопытнов считал хотя бы до десяти, я, может, как-нибудь выкрутился,

что-то придумал бы, но до трех Любопытнов считал, до трех, а это так мало.

— Раз,— звучало в воздухе,— два...

Я навеки запомнил тот миг, ту суровую сцену. Любопытнов, как судья на ринге, на каждый счет поднимал и опускал руку. Быгаев, будто рассвирепевший медведь, держал растопыренными готовые к схватке железные когти-пальцы. Казбек, словно вратарь перед пенальти, наклонился и, глядя на меня, как на мяч, приготовился к броску. Сонечка, моя милая, моя лживая Сонечка, почти всем телом высушившись из окна, готова была в любой миг прыгнуть на землю, чтобы схватить меня, чтобы вцепиться руками в мои вихры, чтобы выцарапать мне глаза... Только тогда, дядюшка, понял я всю бездну своего падения, только тогда осознал, что натворил, только тогда уразумел, с кем я и что хотел сделать! Ладонь Юрочки, поднятая в последний раз, замерла на миг перед тем, как опуститься. И поняв, что ничто уже не спасет меня, кроме собственных ног, я притворно взмахнул руками и, собрав последние силы, кинулся прочь... Шаг! Два! Три! Я мчался, как вырвавшийся из силков заяц, как вылетевшая из лука стрела. Они не догоняли! Не догоняли! Я был бы уже спасен, но тут острая боль в лодыжке пронзила меня. Оглянувшись, увидел я повисшего на моей ноге Рэма. А после Быгаев десятипудовой тушей навалился на меня и, подмяв под собой, стал бить кулаками. Один из его ударов пришелся по голове, и, перестав ощущать боль, я и реальность перестал ощущать тоже...

Эпилог

Здесь рукопись обрывалась. В ней, правда, было еще несколько строк, но они оказались так тщательно вымараны, что, как я ни пытался, не смог разобрать и слова. Очевидно, автор записок либо не решился что-то сказать, либо не смог выразиться точно и зачеркнул написанное.

Не скрою, судьба его взволновала меня. Увидел я много схожего с Зиминим в себе и в моих знакомых. И еще захотелось узнать, как же погиб он, что же на самом деле произошло. Не мог же он, право, летать? Это, естественно, вымысел, символ, аллегория или как там еще говорят знатоки литературоведческих терминов. На такие вопросы мне мог ответить только Санек, друг мой старинный, а он все не шел. В раздумье поднялся я с кресла и приблизился к окну. Отсюда просматривался парк, ветер колыхал верхушки могучих сосен, за соснами в лучах заходящего солнца золотилась река, одинокая рыбацкая лодка качалась на мягких волнах. Необъяснимую радость вдруг испытал я. Увы, мы сильнее начинаем ценить жизнь, когда видим смерть.

— Прочел? — услышал я наконец-то за спиной голос друга.

— Да,— обернулся я.

— Пойдем,— позвал он, не заходя в комнату.

— Куда?

— Покажу, где он погиб...

По древней хрупкой лестнице мы спустились вниз. Запах хлороформа снова ударил в нос. Больные в уродливых пижамах, стучавшие в домино на крыльце, примолкли, увидя нас. Выйдя на улицу, мы обогнули особняк. Знакомый вид открылся мне: старинный парк, река вдали, склонившийся в лодке рыбац... Сейчас только заметил я, что сквозь сосняк тянутся электрические провода, прикрепленные в нарушение всяких правил к стволам, довольно резко портя идиллическую картину. Я предполагал, что Саня подведет меня к стене, рядом с которой, выпрыгнув из окна, упал Зимин, но друг отошел от дома метров на десять и, остановившись между двух сосен, кивнул:

— Здесь...

С вниманием глядел я на еще не расправившуюся траву, смятую, очевидно, топтавшимися здесь любопытными больными. Место было как место, ничем не примечательное, обычная лужайка в сосновом бору.

— Ну что скажешь? — Саня смотрел на меня,

прищурившись. Правая щека его дергалась в нервном тике.

— А что сказать? — недоумевал я.

— Но как мог он досюда допрыгнуть?!

Действительно, подумал я, как? Почему-то сначала не обратил я внимания на расстояние от дома. Не мог же он прыгнуть так далеко? Но тогда что же?

— А где то окно?

— Вон... — Саня показал на окно третьего этажа, закрытое наглухо и зашторенное даже. — Мы его теперь гвоздями забили...

— Это то, над которым провода? — переспросил я.

— Какие провода? — прищурил Саня подслеповатые глаза. — Я не вижу...

— Обыкновенные... Электропроводка...

— Да, да, они... Ну что скажешь?

Я будто не слышал его вопроса. Глаза мои следили направление проводов, и в том месте, где мы стояли, как раз над нами увидел я на проволоке клоч пижамы, неведомо каким образом попавший туда. На миг забыв о реальности, я живо представил, что было бы с Зиминим, если бы он действительно летал. Вот он открыл окно, вот встал на подоконник, вот оттолкнулся от него и, взмахнув крыльями, нырнул под крону сосны, а после попытался взмыть вверх, и в этот миг невидимые ночью провода оказались на его пути, зацепились за полу пижамы... Я потряс головой. Но не может же такого быть, не может...

— Ну что молчишь? — Саня коснулся моего плеча.

— Я думаю так... — начал я. — Он прыгнул, ушибся, но еще некоторое время оставался жив и полз в направлении дороги, чтобы люди заметили его. Обычный инстинкт самосохранения...

— Но почему же трава под окном нигде не смята?

Я, право, уже и сам начал сомневаться, но не мог себе позволить высказывать сомнения вслух, потому что Саня, я видел, принимал случившееся слишком близко к сердцу, а мой долг был успокоить его.

— Да выбрось ты это из головы... — хлопнул я Саню по плечу. — Трава за ночь могла и выпрямиться... Ты, по-моему, понавыдумывал много...

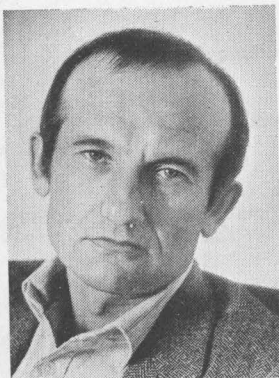
— Ты так считаешь? — Лицо Сани стало спокойней.

— Конечно, — обнял я его. — Люди не летают. Люди ходят. А у твоего Зимина был обычный маниакальный синдром. Или как там у вас, врачей, это называется? Ты мне лучше расскажи про Антония Петровича, про Сонечку, Любопытнова и других героев записок. Ты ведь их знаешь?

— Тихо, тихо, — зашептал Саня, прижав палец к губам. — Умоляю, ни слова об этом, если не хочешь мне зла. — Щеки его побледнели, глаза потупились. — Пойдем лучше ко мне, — заговорил он притворно громко, словно бы для кого-то, подслушивающего нас, — у меня такая наливочка есть, ты ввек не пробова. Пошли, пошли...

И мы пошли к Сане и ночь напролет сидели в его избе, вспоминая прошлое, нашу юность, наши несбывшиеся мечты... А на другой день я утащил Саню в лес, чтобы развеялся мой друг и развлекся. Вечером проводил он меня на автобус. А тетрадь ту с записками Зимина я выпросил у него, дабы не распался вновь его слишком впечатлительный ум. В повести той я ничего не изменил, только имена да место действия. Санек мой все еще проживает там, и я боюсь, как бы обнародование дневников Зимина не повредило ему.

1983—1985 гг.



Игорь
ШКЛЯРЕВСКИЙ

☆☆☆

На слепящем асфальте Чернобыля
отошел от прохладного тополя
и увидел мираж в синеве:
какой же я был счастливый!
Где хотел, там лежал на траве
под ольхой, под березой, под ивой...

☆☆☆

Борису Олейнику

Я ничего не понимаю.
Цветут над Припятью сады,
и мы с тобой идем по краю
еще несслыханной беды.

В пустой витрине — камни хлеба,
сады и голубое небо.

Хотя бы шевельнулся страх!
Чувствительней задеть крапиву!
На обезлюдивших домах
еще висят призывы к миру...

☆☆☆

Я грибник без лесов
и рыбак без реки.
На губах моих горечь
полынной тоски.
Уповаю на тайные силы природы,
на текучий песок,
на подземные воды,
может быть, захоронят
зловещую пыль,
затолкают в глубокие щели и норы.
И взойдет на могиле моей чернобыль,
проклиная земные раздоры.

☆☆☆

Там горел мой костер,
и ничей там костер не горит,
только ветер траву шевелит.

и стучит, осыпаясь, малина
в тишине вековечного дня,
и осина шумит: — Отойди от меня!

Любимое воспоминание

Кто меня с неба кличет?
Кто надо мною плачет?
— Ау! — звенит синева,
а слышится мне: — Уа... —
Крик первый и крик последний
встретились в небе вдруг,
и сердце сквозь лес осенний
идет на далекий звук.

☆☆☆

И яблоки были вкусней!
И ягоды были красней!
Плотва была серебристей
и плакучие ивы — тенистей.
Веселились друзья веселей
и грустили грустней.
О мои осязание, зрение,
слух, обоняние!
Все тише, все глуше прощание,
несогласие с исчезновением.
Долго не попадаю ниткою в иголку.
долго привязываю крючок,
и у края озябшего лета
лбом не чувствую
прикосновения лунного света...

Бытие

Он прислонил к стене велосипед,
где изнывает пыльная крапива,
фуражку снял и вытирает пот
платком измятым.
Лесничества прохладный коридор,
на стенах допотопные плакаты,
призывы: — Берегите лес! —
Бухгалтер щелкает на деревянных счетах.
В окне звенит оса,
поники подсолнух,
зарплату пишет прописью лесник
и, отложив привязанную ручку,
молчит от нечего сказать,
но сразу уходит ему неловко.
Бухгалтер сам начнет.
— Печат...
— Печат...
Поговорили о потраве пчел.
— Ну, я пошел.
— Счастливо.
Тень от пожарного щита,
в пыли раздавленная слива,
земная маета.
И вот уже лесник у магазина
к багажнику привязывает хлеб,
в кармане ищет бельевого прищеп,

чтоб не вкрутилась в цепь
широкая штанина,
и, загасив слюною «Беломор»,
садится на велосипед и катит
с горы домой,
и, спицами расплескивая зной,
вдали велосипед его струится.

☆☆☆

Полями ты идешь и замираешь вдруг —
синее лужа на дороге черной.
Ты поднимаешь голову на звук —
чернеет ворон в синеве просторной...

Сон

Отрезанный стеною света,
как будто развернул газету,
отец на лавочке сидит,
на рукавах видны заплаты.
И вдруг он тихо говорит:
— Не ставь мне памятник богатый,
не насмехайся надо мной. —
И пропадает за стеной
с небес опущенного света,
как в незапамятное лето...

☆☆☆

Вот мальчик, я бегу домой,
меня зовут с днепровской кручи,
и бабочек седые тучи
шуршат печально надо мной.

Под лампочкой без абажура
отец и мать, и младший брат
картошку весело едят,
привыкнув бедствовать не хмуро.

Еще мы вместе, вчетвером,
и тихо радио играет,
и долго в поле за Днестром
земной закат не догорает.

☆☆☆

В глазах у Гоголя блестит
украинская ночь,
в ее волшебной черноте
от ужаса светло.

На лбу у Гоголя лежит
волос косая прядь,
как будто ворон положил.
ему на лоб крыло...

☆☆☆

В детстве меня волновала Луна,
бледного света печальная сила,
сердце мое подымала она
и над несчастной Землею носила,

Там внизу целовались в руинах,
там какие-то тени людей
матерились в кустах соловьиных
и неправде учили детей.

Там в супы керосин подливали,
выбегали с ножом на крыльцо,

и последний кусок отдавали,
и над книгой сияло лицо.

Там в ничтожных слезах умиления
догоняли, совали рубли
и кляли, и просили прощенья
непонятные люди Земли.

☆☆☆

Когда я кормлю бездомных
собак у своих дверей,
сосед меня упрекает:
— Надо любить людей,
а не собак и кошек...
Птицам насыплю крошек,
спустятся белки с неба,
дам бедолагам хлеба.
Я и людей люблю,
но только разбитым сердцем,
а разумом говорю:
годами дымил Освенцим.

☆☆☆

— За что ты меня убил? —
волк у меня спросил.
Рана зияла в горле,
и слезы текли по морде.

— Ты пес и не брешь,
ты режешь овец и телят.
— А ты их не режешь? —
спросил ненавидящий взгляд.

☆☆☆

Я любил эту голую стену.
Тополя шелестели в окне,
и прохладный серебряный невод
трепетал на вечерней стене.
Свет небесный ее серебрил.
Я с разбитым лицом приходил...
И печальные тени ветвей
прикасались нежнее, чем руки.
И шумели над жизнью моей,
над позором и болью, и мукой.

☆☆☆

Снятся мне затонувшие ивы
и дороги песчаное дно.
Я без них не бываю счастливый,
я бы умер в больнице давно,
не сумей, отвернувшись к стене,
уходить далеко по Двине...
Закрываю глаза — и плывут
перекаты, затоны, обрывы,
и свисают плакучие ивы,
и за них я хватаюсь во сне!
Я цепляюсь за детство, за счастье,
за любимых друзей у костра,
за песчаные кручи Днестра,
где в стогах коротали ненастье.
Я куда-то сползаю, тону,
и держусь за кусты, за траву,
за русалочью зыбкую тину
за веревку размытых корней,
за последнюю нитку гусей,
за седую твою паутину!



ВСПОМНИМ НИКАНДРОВА

Четвертого февраля 1922 года П. И. Воеводин, старый большевик, возглавлявший тогда Всероссийский фотокиноотдел Наркомпроса, обратился к В. И. Ленину с просьбой разрешить постановку «агитационно-художественной историко-революционной картины «Владимир Ильич Ленин» по своему сценарию, уже утвержденному художественным советом киноспециалистов. 18-го февраля того же года секретарь Совнаркома Л. А. Фотиева по поручению В. И. Ленина направила П. И. Воеводину следующий ответ:

«Постановка Вашей картины чрезвычайно сложна, требует массы участников и громадных расходов, исполнение будет неудовлетворительно, так как наша кинематографическая техника очень плоха, факты,

изображаемые Вами, частью неверны, частью не должны приводиться в пьесе.

На основании этого Владимир Ильич считает нужным Ваше предложение о постановке Вашей пьесы отклонить».

После смерти Ильича, осенью 1926 года, кинорежиссеры Сергей Эйзенштейн и Григорий Александров встретились с М. И. Калининым, который от имени Юбилейной комиссии ВЦИК предложил им сделать к десятилетию Октября художественный фильм по книге Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», особо подчеркнув, каким значительным событием было бы появление на экране образа Ленина. Председатель комиссии Н. И. Подвойский доверительно сказал создателю «Броненосца «Потемкина»: «Нужна такая картина, которая бы вторично потрясла мир».

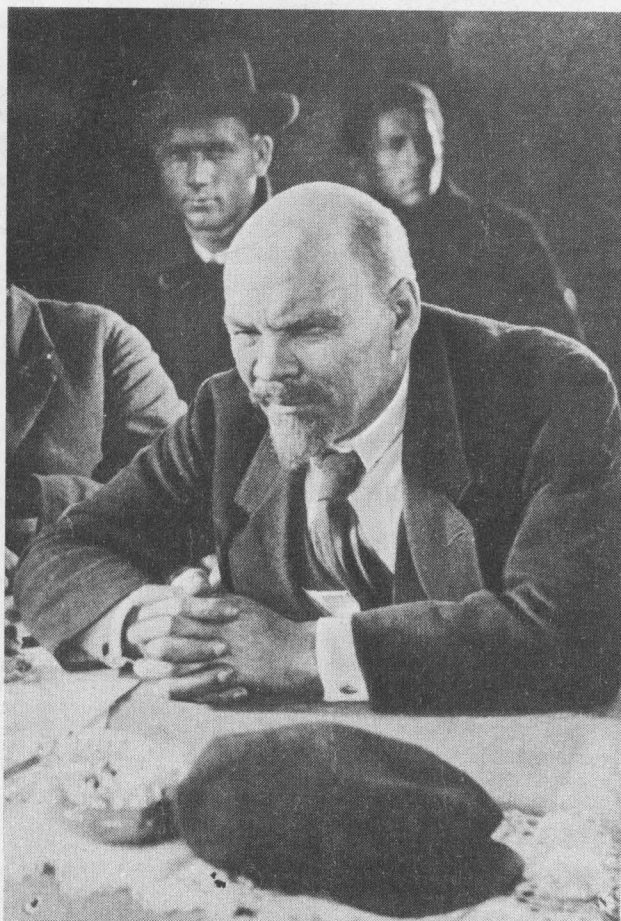
Размышляя о воссоздании в кино образа вождя революции, Эйзенштейн решил искать типаж, обладающий портретным сходством с Ильичем. Это позволило бы снимать без грима, создать образ, близкий документу. Решение Эйзенштейна поддержали Н. К. Крупская и М. И. Ульянова. В те годы многие писатели и деятели кино утверждали, что инсценировка истории — это профанация, что использование актера или типажа компрометирует факт. Особенно, как говорил Эйзенштейн, его критики «точили зубы на Ильича». И даже Маяковский не сомневался, что зритель в этом случае увидит «поддельного Ленина».

Надо было создать предельно документальную атмосферу действия, поэтому в фильме снимались многие участники штурма Зимнего дворца, делегаты Второго съезда Советов, часовые, охранявшие Смольный и кабинет В. И. Ленина, матрос Огнев, который вторично дал сигнал к штурму, Председателя ВРК Н. И. Подвойского играл сам Н. И. Подвойский, подлинными были шалаш в Разливе и даже полк-ройс, на котором удирал из Петрограда Керенский. «Участникам штурма» за неимением бутафории выдали боевые винтовки с патронами. Старые большевики, очевидцы тех событий, помогли воссоздать расположение дровяных баррикад вокруг Зимнего, установили окно, ведущее в подвалы дворца, через которое проникли в Зимний первые во-семь смельчаков.

Весной 1927 года Эйзенштейн и Александров готовы были снимать ленинские сцены, но приемлемый типаж еще не нашлся. Уже были разосланы письма по всей стране, дано объявление в газетах, что для фильма нужен человек, похожий на Владимира Ильича и не нуждающийся в гриме. Уже были получены многие фотографии претендентов. Максим Штраух, ассистент режиссера, вспомнил о своем сослуживце по Красной Армии С. Ишкове и сделал первую удачную кинопробу. И вдруг известие: есть на юге страны человек, обладающий поразительным сходством с Лениным. Вскоре пришла и фотография из Новороссийска. На ней был изображен рабочий, бывший механик буксирного судна Новороссийского порта Василий Николаевич Никандров, который уже снимался в массовке картины режиссера Б. В. Чайковского «В тылу у белых». Рассказывают, что Чайковский, увидев Никандрова среди участников массовки, был поражен его удивительным сходством с Лениным. Но Чайковский умер в конце двадцать четвертого года и не мог, как иногда утверждается, оповестить Эйзенштейна о согласии Никандрова сниматься в «Октябре».

Дочь Никандрова А. В. Пахомова рассказывала, что ее отец задолго до съемок носил черную пару, жилет, галстук в горошек, надевал кепку того же фасона, что и Ленин. Своим пронизывающим взглядом, бородач, быстрой походкой он многим напоминал Ильича. Увидев его в обжитом ленинском костюме, Эйзенштейн прекратил дальнейшие поиски, да и времени на это уже не оставалось. Кинопробы одобрили Н. К. Крупская и М. И. Ульянова. Штраух вспоминал, что фотографию Никандрова показывали детям, которые в один голос говорили: «Ленин!»

Василию Николаевичу было тогда 58 лет. Родился он 30 января 1869 года в деревне Бачевка близ города Нерехты Костромской губернии. Подростком был отправлен в Петербург, где много лет работал в мастерских Франко-Русского и Путиловского заводов, пройдя нелегкий путь от мальчишки на посылах, подсобного рабочего до токаря высокой квалификации, мастера-оружейника пушечного и лафетно-снарядного профиля. Женился на ткачихе и позднее стал единственным кормильцем семьи, насчитывавшей семь детей, задавленной нуждой и долгами. Сиротное жилище Никандровых стало явочной квартирой. И когда в узкой комнате проходили нелегальные собрания и при свете керосиновой лампы читали произведения В. И. Ленина, дети постарше дежурили по очереди у ворот. В 1906 году В. Н. Никандров принял активное участие в организации первого Союза металлистов. В годы мировой войны он переехал с семьей в город Лысьва Пермской губернии, где работал старшим мастером снарядно-токарного цеха на местном ме-



На снимке: рабочий момент съемки фильма.

ханическом заводе. По вечерам читал, рисовал, увлекся граверным искусством, посещал с детьми местный самодеятельный театр и даже играл в любительских спектаклях.

Октябрьскую революцию встретил восторженно, с первых дней гражданской войны сражался вместе с двумя сыновьями с белогвардейцами и интервентами, потом служил в Пермской ЧК. Уже друзья-сослуживцы обратили внимание на его необыкновенное сходство с Ильичем, увидев первые ленинские плакаты.

«Николаич! — восхищались они. — Да ты же настоящий Ленин!»

Когда белые подступили к городу, Никандрова с семьей перевели на Северный Кавказ, потом на юг. Он обосновался в городе Новороссийске, там служил в ЧК, но потянуло вдруг к резцу, фрезе, к забытому на время металлу, и в начале 20-х годов стал механиком бункирного судна в порту. В 1923 году ушел на пенсию.

Весной 1927 года Никандров уже приехал в Москву и остановился у сына Павла, актера Первого рабочего театра Пролеткульта, а летом выехал на съемки в Ленинград.

Эйзенштейн все надежды возлагал на удачный экранный образ, созданный не столько игрой актера, сколько монтажом, живописно-пластическим решением, внутрикадровой диалогией. Он видел в Никандрове не «бытовой персонаж», а символ революционной энергии и мощи масс. В 1932 году, отвечая в газете «Кино» на вопросы анкеты «Что мне дал Ленин», он сказал: «Желание видеть продиктовало — воспроизвести. Не воссоздать. Образ Ильича невоспроизводим. На большее, чем тень, мы не претендовали».

Первые дни работы показали, что у Никандрова, в сущности, нет сценического опыта, и порою этот темпераментный человек, очень гордившийся своей ленинской внешностью, был совершенно беспомощен — стало очевидным, что предстоит серьезная работа. Максим Штраух скажет через много лет: «Мне трудно было готовить Никандрова к съемкам».

Эти слова чрезвычайно важно напомнить сегодня, так как в некоторые статьи и издания проникла мысль, что съемки шли гладко, и Никандров якобы все понимал с полуслова. Да и сам начинающий артист признавался, что ему было нелегко портретное сходство «дополнить игрой». В интервью ленинградскому журналу «Металлист» он сказал в 1927 году: «Одно утешение, что я рабочий, а не артист».

Эйзенштейн был уверен в успехе, но это требовало времени и упорного труда безо всякого афиширования, неумеренных восторгов, безо всякой нескромной шумихи в прессе. Именно поэтому он буквально умолял своего сопостановщика Александрова: «Да, чтобы не забыть, — никуда не давайте фото с Никандровым, а особенно с нами вместе».

Никандров яростно, с подлинной одержимостью взялся за работу над ролью. Он читал Ленина, беседовал с Н. К. Крупской и М. И. Ульяновой, расспрашивал о ленинских чертах и привычках старых большевиков и людей, лично знавших Ильича, зорко вглядывался в лучшие ленинские фотографии и много раз смотрел кадры с живым Ильичем, стараясь скопировать его характерные движения, походку, жест, манеру разговаривать с людьми. Первое время он двигался чересчур стремительно, немного преувеличивал известный ленинский динамизм. Слишком буквально воспринимал хронику, на которой движения Ленина несколько прерывисты и ускорены, что обмануло даже Б. Щукина, снимавшегося через десять лет в фильме «Ленин в Октябре». Как известно, при плохой освещенности операторы медленно крутили ручку камеры, увеличивая выдержку, а на экране по этой причине возникало ускоренное движение. Н. К. Крупская заметила после выпуска фильма «Октябрь»: «...очень уж он суетлив как-то. Никогда Ильич таким не был».

Но Никандрова она хвалила в сцене, изображающей Ленина в коридоре Смольного. Ильич сидит у стены в кепке, нагнутой на самый лоб, его щека перевязана платком. Большевики все же узнают Ленина, и он, поняв это, лукаво, озорно улыбается, вынимает часы из жилетного кармана. И далее дважды повторяется такая деталь: Владимир Ильич нервно, нетерпеливо постукивает ногами об пол. По поводу этой сцены Надежда Константиновна сказала: «Что, пожалуй,

хорошо — это ноги Ильича, передающие правильно свойственный ему произвольный жест нетерпения».

О том же В. Маяковский писал в поэме «Хорошо!»:

«А в Смольном, в думах о битве и войске,
Ильич гримированный мечет шажки...»

Эйзенштейн всеми силами пытался удалить излишнюю суровость, «демоничноватость», которые иногда прорывались в игре Никандрова, но не всегда это получалось. Особенно требователен был Эйзенштейн, снимая сцену приезда В. И. Ленина в Петроград ночью 3 апреля 1917 года. И как впечатляет знаменитая речь с броневика и все изобразительное решение эпизода! На территории Ленинградской кинофабрики был построен большой макет фасада здания Финляндского вокзала. В грандиозной массовке участвовали сотни людей, на броневик, с которого выступает Ленин-Никандров, нацелены мощные прожекторы, оператор Э. Тиссэ взволнованно крутит ручку своей новой камеры «Дебри» системы «Л».

Посмотрев кадры этого эпизода, Эйзенштейн решил переснять некоторые планы. По этому поводу он так излагал свои мысли в рабочем письме Александрову: «...Есть начало одного куска — два-три метра в шапке на небо, совершенно блестящих, а дальше идет торопливость, утрировка, позерство и что хотите». И дальше: «...Надо переснять средние планы. 1. Больше в фуражке. 2. Гораздо сдержаннее, благороднее, но без напыщенности. 3. С меньшей и энергично-сдержанной жестикულიей. 4. Не держать знамя так, как он держит, опустить и менее «плакотно».

После доработки эта сцена стала значительно совершеннее. В центре световых потоков силуэт Ильича, говорящего с броневика, его жесты динамичны и выразительны, общие и средние планы подчеркивают неразрывное единство вождя и масс.

Картина, получившая название «Октябрь», вышла на экраны 14 марта 1928 года.

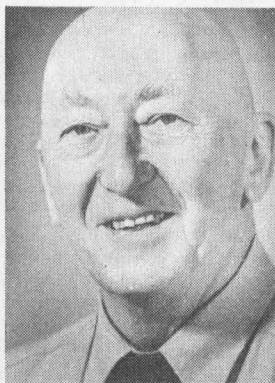
В 1962 году в центральных газетах было напечатано интервью с Г. Александровым, который рассказал следующее: за несколько часов до публичного просмотра фрагментов «Октября», седьмого ноября 1927 года, в монтажную Большого театра пришел И. В. Сталин и дал указание вырезать ряд эпизодов с Лениным, сократить финал — выступление Ильича на Втором съезде Советов. Свое требование в ответ на вполне закономерное удивление кинематографистов он мотивировал так: «Вы не знаете, что происходит. Либерализм Ленина сейчас не ко времени». Было изъято более девяти тысяч метров пленки, и это, безусловно, снизило идейную и художественную значимость образа вождя. Пришлось, говорит Г. Александров, использовать «запасные кадры», чтобы как-то залатать «зияющие пробы».

Георгий Георгиевич Гуштуров, друг сына Никандрова, рассказывает, что, вернувшись после съемок из Ленинграда, Василий Николаевич очень сожалел, что многие эпизоды с Лениным не попали в картину, и с внутренней болью говорил: «Жаль, очень жаль».

И все же многие кадры фильма позже не только воспроизводились на экране, но и цитировались как выдержки из кинодокумента. С. Юткевич в картине «Яков Свердлов» вновь снял выступление Ильича с броневика, а М. Ромм — штурм Зимнего в фильме «Ленин в Октябре». М. Штраух, работавший с Никандровым, стал одним из выдающихся создателей образа Ленина в советском кино.

А Никандров снимался в роли Ленина и в фильме Б. Барнета «Москва в Октябре» (1927 г.). В те дни он бывал в Первом рабочем театре Пролеткульта. Однажды, рассказывает его сын, заслуженный артист БССР П. В. Никандров, отца заметил в фойе режиссер Малого театра и предложил роль Ленина в спектакле «1917 год». Несколько месяцев В. Н. Никандров безмолвно изображал вождя в этом спектакле. Жил в Новороссийске, потом уехал к дочери в Ростов-на-Дону, осенью 1941 года эвакуировался на Алтай. Вернулся В. Н. Никандров в Ростов после освобождения города от фашистов и умер в 1944 году.

А. БЕРНШТЕЙН.



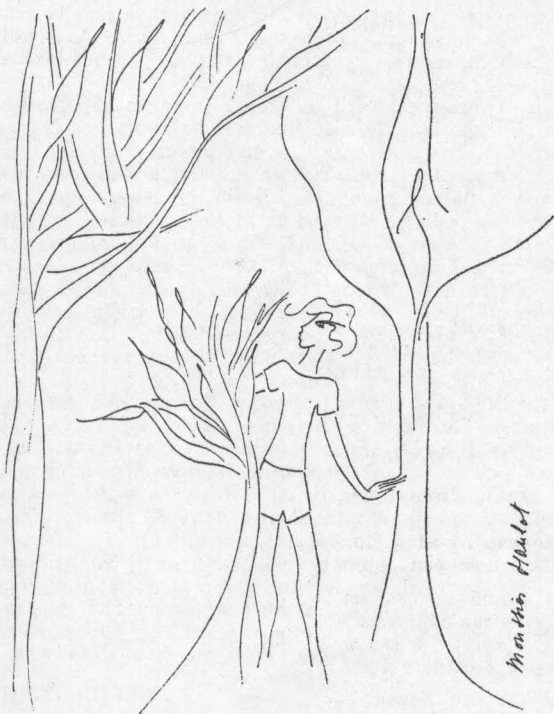
Артюр
ОЛО

«ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ, КАК ЭТО ТРУДНО...»

Мы рады представить читателям нашего журнала стихи Артюра Оло, чье имя широко известно поэтам многих стран мира: именно по его инициативе и благодаря его усилиям стали собираться с 1951 года в Бельгии поэты пяти континентов, обсуждая волнующие их проблемы, читая перед международной аудиторией свои стихи и просто общаясь друг с другом.

Артюр Оло прошел через все испытания войны, оккупации и фашистских лагерей смерти. После освобождения Оло активно участвовал в общественной и государственной жизни своей страны, являясь вместе с тем одним из двух директоров «Журнала поэтов» и уделяя немало времени организации «Международного биеннале поэзии».

Рисунок, который мы здесь публикуем, принадлежит Муссиа Оло — супруге поэта, художнице, специалисту по детской литературе, русской по происхождению.



Отрочество

I

Ты не знаешь, что это такое:
слишком длинные руки
или слишком короткие рукава,
и прыщи на лице,
и так хочется быть красивым,
и мечтать, что ты стал красивым,
и смеяться, и губы кусать,
шагая мимо витрин
шикарных больших магазинов.

Ты не знаешь, как это больно,
когда кровь лицо обжигает,
и сердце у тебя не на месте,
и темно на душе и в глазах.

Ты не знаешь, как это трудно
быть тринадцатилетним подростком
и хотеть себя полюбить
и испытывать к себе отвращенье.

II

И вот ты уходишь,
и вот ты мечтаешь,
и строишь крепость на берегу океана,
и следишь за кораблями, что вдаль проплывают,
и бросаешь на abordаж свирепых пиратов,
и тебе достается, только тебе одному,
юная дама,
или служанка,
или чернокожая молодая принцесса,
такая красивая,
что ты не осмеливаешься с ней говорить.
Чтобы мечта твоя плоть обрела,
ты целуешь руку свою
и делаешь новый прыжок
навстречу судьбе и загадке.

Ты домой не вернешься
в час, когда еще в окнах мерцает.
Нет! Будешь ты ждать,
покуда не сможешь увидеть
в зеркале вместо себя
индейца, чьи длинные волосы
спутал бешущий ветер.
Никто не узнает, что ты возвратился домой,
да и сам ты не будешь в этом уверен.

III

Ты узнал о растерзанных детях Испании,
и от ужаса кровь твоя леденеет.
Приближается миг,
когда все готово взорваться:
на тротуарах
будут трупы китайских детей,
кровь из тел негритянских
потоками хлынет на землю.

Перед Мадридом гниющая плоть.
Под пулеметными дулами
те, кто распят:
пусты их глазницы,
их лица
покрыты плевками набожных дам
(так они подтверждают
свое право на место в раю).

Ты прячешь глаза,
устрашенные зрелищем этим.
Закрой их руками.
Содрогайся от гнева и страха.
Заплачь от бессилья.
Не за себя — за других ты впервые страдаешь.
Вот начало твоей подлинной жизни!

Перевел с французского
М. КУДИНОВ



Галина
ГАМПИЕР

☆☆☆

Прогалины травы на снежном поле,
Земля круглится, будто глобус в школе,
И город виден так издалика,
Что трубы в нем не толще тростника.
И написала б я пейзаж с травкою,
Когда бы не завис над головою
Идущий круто на снижение «ИЛ»
И все бы разом вдруг не изменил;
Провел черту, и словно я под нею
Иного стою и иное смею.

☆☆☆

Болью выдолблена так душа моя,
Будто легкая пирога из ствола.
Захочу — и уплыву я в те края,
Где не надо мне ни кровя, ни стола,
Ни постели, ни любимого в постель,
Ничего, как в чистом поле, ничего...
Только стружкой завивается метель,
Где-то прямо возле сердца моего.
Длинно, длинно, длинно тянется строка,
И слова острее лезвий ножевых!
Сквозь меня теперь проходят облака,
Столько перистых и столько кучевых...

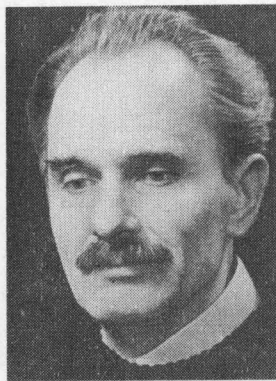
☆☆☆

Доступно ль житье нам без чаду, без сраму,
Такое, чтоб хоть в золоченую раму.
Без клякс от безудержных слез,
Привычно нам равенство: мысля-страдаю,
Поможет ли аутотренинг — не знаю,
Не думаю, чтобы всерьез.
И, правда, как жалко, что мы не индусы,
Что трудно привить нам восточные вкусы,
Что каторжна наша зима,
Остаться нельзя без еды, без ночлега,
Но сладостна нам эта каторга снега,
И вечная вещая тьма.

☆☆☆

Когда циклон с антициклоном
Сшибутся, вздыбятся ветра,
Дождь хлынет под таким наклоном,
Похерив замысел Петра,
Что мы так трудно одолели
За двести с половиной лет,
Пересеклись все параллели
И перспектив в помине нет,
Мосты, лишенные опоры,
Сады — своих оград стальных.
А нас спасают светофоры,
Как азбука глухонемых.

г. Ленинград.



Василий
КАЗАНЦЕВ

Черная туча

— Пощади это поле ржаное.
Обойди милосердно его.
— Пощажу это поле ржаное.
Но сражу я тебя самого.
— И меня пощади, и поляну.
Мы повязаны нитью одной.
— Пощажу и тебя, и поляну.
Но разрушу весь мир остальной.
— Порази нас грозой беспощадной.
И меня, и мой дом затопи.
Только мир не круши неоглядный.
Только мир остальной не губи.

☆☆☆

Земли зовущей, близкой, ясной
Уклоны, впадины, бугры,
Как формы женщины прекрасной,
Округлы, плавны и добры.
...Из поля чистого, из поля,
Полувоздушных, легких трав —
Не из чего иного боле! —
Твой простодушно-добрый нрав!

☆☆☆

Идя в обход и напрямик,
Черты, горящей ясным светом,
Ты в жизни так и не достиг.
...И что всего печальней в этом?
Не мысль, что нету ничего,
Что свет тебе и жар сулило,
А мысль, что этого всего
И достигать не нужно было.

☆☆☆

Презрев душою гибель,
Как дружно все идут.
Не может ждать их гибель,
Коль дружно так идут.
— Но всех их ждет там гибель,
Хоть дружно так идут.
— Но разве это гибель,
Коль дружно так идут?

Два камня

— Различье в нас большое.
Он воск, а я кремьень.
— Но что-то есть такое,
Что вас как раз роднит.
— В какой же мы, скажите,
Такой большой связи?
— А в той, что вы лежите
В одной большой грязи.

г. Павловский Посад,
Московская обл.



Марина
ЦВЕТАЕВА

ПОЭТ И ВРЕМЯ

«Я очень люблю искусство, только не современное» — слово не только обывателя, но, бывает, и большого художника, но неизменно — о чужой отрасли художества, живописца о музыке, например. В своей же области крупный художник неизбежно современен, почему — увидим дальше.

Нелюбовь к вещи, во-первых и в главных, есть незнание ее: в ней — уже известного. Первая причина неприятия вещи есть неподготовленность к ней. Простонародье в городе долго не ест наших блюд. Как и дети — новых. Физический отворот головы. Ничего не вижу (на этой картине) и поэтому не хочу смотреть — а чтобы видеть, именно нужно смотреть, чтобы увидеть — всматриваться. Обманутая надежда глаза, привыкшего по первому взгляду — то есть по прежнему, чужих глаз, следу — видеть. Не дознаваться, а узнавать. У стариков усталость (она и есть отсталость), у обывателя предубежденность, у живописца, не любящего современной поэзии — застенчивость (головы и всего существа) — своим. Во всех трех случаях страх усилия, вещь простимая — пока не судят.

Единственный достойный уважения случай, то есть

единственное законное неприятие вещи — неприятие ее в полном знании. Да, знаю, да, читаю, да, признаю — но предпочитаю (положим) Тютчева, мне, хочю моей крови и мысли, более сродного.

Всякий волен выбирать себе любимых, вернее, никто своих любимых выбирать не волен: рада бы, предположим, любить свой век больше предыдущего, но не могу. Не могу да и не обязана. Любить никто не обязан, но всякий нелюбящий обязан знать: то, чего не любит, — раз, почему не любит — два.

Дойдем до крайнего из крайних случаев: неприятия художником собственной вещи. Мне мое время может претить, я сама себе, поскольку я — оно, могу претить, больше скажу (ибо бывает!) мне чужая вещь чужого века может быть желаннее своей — и не по примете силы, а по примете родности — матери чужой ребенок может быть милее своего, пошедшего в отца, то есть в век, но я на свое дитя — дитя века — обречена, другого породить, как бы хотела, не могу. Роковое. Любить свой век больше предыдущего не могу, но творить иной век, чем свой, тоже не могу: сотворенного не творят и творят только вперед.

Не дано выбирать своих детей: данных и заданных.

«Я очень люблю стихи, только не современные» — есть и у этого утверждения, как у всякого, свое контр-утверждение, а именно: «Я очень люблю стихи, но только современные». Начнем с самого нелюбопытного и частного случая: того же обывателя и дойдем до любопытнейшего: большого поэта.

«Долой Пушкина» есть ответный крик сына на крик отца: «Долой Маяковского» — сына, орущего не столько против Пушкина, сколько против отца. Крик «долой Пушкина» — первая на глазах уже некурящего отца и не столько на радость себе, как назло ему выкуренная папироса. В порядке семейной ссоры, кончающейся — миром. (Ни отцу, ни сыну, по существу, ни до Маяковского, ни до Пушкина дела нет.) Крик враждующих поколений.

Второй автор обывательскому крику: Долой Пушкина — худший из авторов: мода. На этой авторессе останавливаться не будем: страх отстать, то есть расписки в собственной овечности. Что спрашивать с обывателя, когда этой овечности подвержены и сами писатели, писательский хвост. У каждой современности два хвоста: хвост реставраторский и хвост новаторский, и один хуже другого.

Но крик не обывателя, крик большого писателя (тогда восемнадцатилетнего) Маяковского: долой Шекспира!

Самоохрана творчества. Чтобы не умереть — иногда — нужно убить (прежде всего — в себе). И вот Маяковский — на Пушкина. Своего по существу не врага, а союзника, самого современного поэта своего времени, такого же творца своей эпохи, как Маяковский — своей — и только потому врага, что его вылили в чугуне и этот чугун на поколения навалили. (Поэты, поэты, еще больше прижизненной славы бойтесь посмертных памятников и хрестоматий!) Крик не против Пушкина, а против его памятника. Самоохрана, кончающаяся (и кончившаяся) как только творец (борец) окреп. (Чудесная поэма встречи с Лермонтовым, например, произведение зрелых годов)¹.

Но — кроме исключительного примера Маяковского — утверждение: «очень люблю стихи, только не современные» и его контр: «очень люблю стихи, но только современные» друг друга стоят, то есть мало — то есть ничего не стоят.

Никто (кроме кровной самообороны Маяковского) любящий стихи так не скажет, никто истинно-любящий стихи в пользу нынешнего настоящего не отрубил вчерашнего — и всегдашнего — настоящего, никто истинно-любящий и не вспомнит, что есть у слова *настоящее* еще иное значение кроме как: *неподдель-*

На снимке: М. И. Цветаева. Начало 1910-х гг.

ное — в искусстве ему иного значения нет — никто над искусством, природой, не совершит греха политиков: на единстве почвы установки столба розни.

Не любит никакого любящий только это. Пушкин с Маяковским бы сошлись, уже сошлись, никогда по существу и не расходились. Враждуют низы, горы — сходятся. «Под небом места много всем» — это лучше всего знают горы. И одинокие пешеходы. А до суждения остальных: отсталых, усталых или отстать боящихся, до суждения и предпочтения *незнающих* нам, по выяснению, а самому искусству и до выяснения — дела нет.

Надпись на одном из пограничных столбов современности: *В будущем не будет границ* — в искусстве уже сбылась, отродясь сбылась. Мировая вещь та, которая в переводе на другой язык и на другой век — в переводе на язык другого века — меньше всего — ничего не утрачивает. Все дав своему веку и краю, еще раз все дает всем краям и векам. Предельно явив свой край и век — беспредельно являет все, что не-край и не-век: навек.

Не современного (не являющего своего времени) искусства нет. Есть реставрация, то есть не искусство, и есть одиночки, заскочившие из своего времени на сто, скажем, лет вперед (NB! никогда — назад), то есть опять-таки, хотя и не своему времени, но современные, то есть не вне-временные.

Гений? Чье имя мы произносим, когда думаем Возрождение? Винчи. Гений дает имя эпохе, настолько он — она, даже если она этого не доосознает. Да просто: Эпоха Гете, определение, дающее и историческую и географическую — вплоть до звездной карты данного часа. «В дни Гете», то есть когда так-то стояли звезды, либо, совсем уже достоверно: «Землетрясение в Лиссабоне», то есть когда Гете впервые усумнился во всеблагости божества. Сомнение семи-летнего Гете то землетрясение увековечило — и *перевесило*.

Гений дает имя эпохе, настолько он — она, даже если он этого не доосознает (якобы, прибавим, ибо Винчи, Гете, Пушкин — сознавали). Даже в учебниках: Гете и его время (то есть собирательное и его собираемое). Гений с полным правом может сказать о времени то, что о государстве Людовик — без никакого: *le Temps c'est moi* * (вся плеяда: *mon temps — c'est nous* **). Это о гении, опережающем. Насчет же якобы на век или на три запаздывающих приведу один только случай: поэта Гельдерлина, по теме, источникам, даже словарю — античного, то есть в свой XVIII в. запоздавшего не на век, а на все восемнадцать, Гельдерлина, которого в Германии начинают читать только теперь, то есть сто с лишним лет спустя, то есть усыновленного нашим веком, уже вовсе не античным. Запоздавший в свой век на восемнадцать веков оказался современником XX в. Что сие чудо означает? А то, что запоздать в искусстве нельзя, что само искусство, чем бы ни питалось и что бы ни пыталось восстановить, уже само есть продвижение. Что возврата в искусстве нет: безостановочно, то есть неовозвратно. Не безоглядно, но неовозвратно. Не на поворот головы идущего глядите, а на версты отмахиваемые. Можно идти и вовсе закрыв глаза — с палкой слепого — и вовсе без палки. Ноги сами выведут, будь ты мысленно от них за тридевять земель. Глядел назад, а шел вперед.

Одиночка Тютчев? Лесков, вместо своего поколения попавший в наше? Но так ведь можно дойти до Есенина, запоздавшего в свой край всего на десять лет. Родись он на десять лет раньше — пели бы — успели бы спеть — *его*, а не Демьяна. Для литературы эпохи показателен он, а не Демьян — показательный, может быть, но никак не для поэзии. Есенин, погибший из-за того, что заказа нашего времени выполнить не мог — из-за чувства очень близкого к совести: между

завистью и совестью — зря погиб, ибо даже гражданский заказ нашего времени (множеств — единичному) выполнил.

«Я последний поэт деревни»...

Всякая современность в настоящем — сосуществование времен, концы и начала, живой узел — который только разрубить. Всякая современность — пригород. Вся российская современность сейчас один сплошной огромный духовный пригород с деревнями-недеревнями и городами-негородами — *место во времени*, на котором Есенин, так и оставшийся между деревней и городом, и биографически был уместен.

Не современных, поныне здравствующих поэтов, могла бы назвать десятками, но они либо уже не поэты, либо никогда ими и не были. Их покинул дар, чувство своего времени, которого, может быть, в голом виде у них и не было, их покинул дар, через который они свое время чувствовали — являли — творили. Не идти дальше (в стихах — как во всем) — идти *вспять*, то есть выбывать. С главным козырем эмигрантской литературы случилось то же, что с тридцати лет случается с обывателем: он стал современен предыдущему поколению, то есть в данном случае собственному авторству тридцать лет назад. Не от других идущих, от долженствовавшего идти себя — отстал. Причина неприятия Иксом современного искусства в том, что он его больше не творит. Икс не современен не потому, что не принял современности, а — на своем творческом пути остановился, единственное, на что творец не в праве. Искусство идет, художники остаются.

Не современные, кроме нейтральностей, не современных никакому времени, только выбывшие из строя — инвалиды, титул почтенный, ибо в прошлом предполагает валидность (годность).

Даже мой собственный вызов времени:

Ибо мимо родилась
Времени. Вотще и вусе
Требуешь! Калиф на час —
Время! Я тебя миную.

— крик моего времени — моими устами, контр-крик его самому себе. Живи я сто лет назад, когда реки тихо текли... Современность поэта есть его обреченность на время. Обреченность на водительство им.

Из Истории не выскочишь. Пойми это Есенин, он спокойно пел бы не только свою деревню, но и дерево над хатой, и этого бы дерева никакими топорами из поэзии XX в. не вырубить.

Современность у поэта не есть провозглашение своего времени лучшим, ни даже просто приятие его — *нет* тоже ответ! — ни даже насущность того или иного ответа на события (поэт сам событие своего времени, и всякий ответ его на это самособытие, всякий самоответ, будет ответ сразу на все) — современность поэта настолько не в содержании (что ты этим хотел сказать — А то, что я этим *сделал*) — что мне, пишущей эти строки, своими ушами довелось слышать после чтения моего Молодца — это о Революции? (Сказать, что слушатель просто не понял — самому не понять, ибо: не о революции, а она: ее шаг).

Больше скажу, современность (в русском случае — революционность) вещи не только не в содержании, но иногда вопреки содержанию, — точно на смех ему. Так и в Москве 20 г. мне из зала постоянно заказывали стихи «про красного офицера», а именно:

И так мое сердце над Рэсэфэсэром
Скрежещет — корми-не корми! —
Как будто сама я была офицером
В октябрьские смертные дни.²

Есть нечто в стихах, что важнее их смысла: — их звучание. И солдаты Москвы 20 г. не ошибались: стихи эти, по существу своему, гораздо более про красного офицера (и даже солдата), чем про белого, который бы их и не принял, который (1922 г. — 1932 г.) *их и не принял*.

Знаю это по чувству веселия и доверия, с которым я их читала там: врагам бросала как в родное, и по чувству (робости и неуместности), с которыми их

* Время — это я (франц.).

** Наше время — это мы (франц.).

читаю здесь, вроде: «простите Христа ради» — что? да то, что я о вас пишу — так, о вас пишу — не так: по-тамошнему, по-ихнему, вас славлю на языке врага: моем языке! А в общем: простите Христа ради за то, что я — поэт, ибо пиши я так, чтобы вы мне меня не «прощали», а себя во мне узнавали — я бы не была тем, что я есть — поэтом.

Когда я однажды читала свой Лебединый Стан³ в кругу совсем неподходящем, один из присутствующих сказал: — Все это ничего. Вы — все-таки революционный поэт. У вас наш темп.

В России мне все за поэта прощали, здесь мне этого поэта прощают.

Знаю еще, что истинные слушатели моему белому Перекопу⁴ — не белые офицеры, которым мне, каждый раз как читаю, в полной чистоте сердца хочется рассказать вещь в прозе — а красные курсанты, до которых вещь вплоть до молитвы священника перед наступлением — дошла бы — дойдет.

Если бы между поэтом и народом не стояло политиков!

И еще: мои *русские* вещи, при всей моей уединенности, и волей не моей, а своей, рассчитаны — на множества. Здесь множества — физически нет, есть группы. Как вместо арен и трибун России — зальца, вместо этического события выступления (пусть наступления!) литературные вечера, вместо безымянного незаменимого слушателя России — слушатель именной и даже именитый. В порядке литературы, не в ходе жизни. Не тот масштаб, не тот ответ. В России, как в степи, как на море, есть откуда и куда сказать. Если бы давали говорить.

А в общем просто: здесь *та* Россия, там — вся Россия. Здешнему в искусстве современно прошлое. Россия (о России говорю, не о властях), Россия, страна ведущих, от искусства требует, чтобы оно вело, эмиграция, страна оставшихся, чтобы вместе с ней оставалось, то есть неудержимо откатывалось назад. В здешнем порядке вещей я не порядок вещей. Там бы меня не печатали — и читали, здесь меня печатают — и не читают. (Впрочем, уж и печатать перестали.) Главное в жизни писателя (во второй половине ее) — писать. Не: успех, а: успеть. Здесь мне писать не мешают, дважды не мешают, ибо мешают не только травля, но и слава (любовь).

Все точка зрения. В России меня лучше поймут. Но на том свете меня еще лучше поймут, чем в России. Совсем поймут. Меня самое научат меня совсем понимать. Россия только предел земной понимаемости, за пределом земной понимаемости России — беспредельная понимаемость не-земли. «Есть такая страна — Бог, Россия граничит с ней», так сказал Рильке, сам тосковавший везде вне России, по России, всю жизнь. С этой страной Бог — Россия по сей день граничит. *Природная граница*, которой не сместят политики, ибо означена не церквями. Не только сейчас, после всего свершившегося, Россия для всего что не-Россия, всегда была тем светом, с белыми медведями или большевиками, все равно — тем. Некой угрозой спасения — душ — через гибель тел.

И решиться ехать *туда* тогда, при всех до-военных ласках, было не многим легче, чем сейчас через все запреты. Россия никогда не была страной земной карты. И ехавшие отсюда ехали именно за границу: видимого.

На эту Россию ставка поэтов. На Россию — всю, на Россию — всегда.

Но и России мало. Всякий поэт, по существу, эмигрант, даже в России. Эмигрант Царства Небесного и земного рая природы. На поэте — на всех людях искусства — но на поэте больше всего — особая печатать неуют, по которой даже в его собственном доме — узнаешь поэта. Эмигрант из Бессмертья в время, невозвращенец в свое небо. Возьмите самых разных и мысленно выстроите их в ряд, на чьем лице — присутствие? Все — там. Почвенность, народность, национальность, расовость, классовость — и сама современность,

которую творят — все это только поверхность, первый или седьмой слой кожи, из которой поэт только и делает что лезет. «Который час? его спросили здесь — А он ответил любопытным: Вечность» — Мандельштам о Батюшкове, и: «Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?» — Борис Пастернак о самом себе. По существу все поэты всех времен говорят одно. И это одно так же остается на поверхности кожи мира, как сам зримый мир на поверхности кожи поэта. Перед той эмиграцией — что — наша!

И долго на свете томилась она
Желанием чудным полна
И песен небес заменить не могли
Ей скучные песни земли⁵

— не менее скучные оттого что собственные!

Возвращаясь к здесь:

Обыватель большей частью в вещах искусства современен поколению предыдущему, то есть художественно сам себе отец, а затем и дед и прадед. Обыватель в вещах искусства выбывает из строя к тридцати годам и с точки своего тридцатилетия неудержимо откатывается назад — через непонимание чужой молодости — к неузнаванию собственной молодости — к непризнанию никакой молодости — вплоть до Пушкина, вечную молодость которого превращает в вечное старчество, и вечную современность которого в отродясь-старинность. И на котором и умирает. Показательно, что ни один рядовой старик Пастернаку, которого не знает, не противопоставляет Державина — которого тоже не знает. Великий знаток не только своей современности, но и первый защитник подлинности новооткрытого тогда Слова о Полку Игоревом — Пушкин — предел обывательской осведомленности вокруг и назад. Всякое незнание, всякая немощь, всякая нежить неизменно под прикрытие Пушкина, знавшего, могшего, ведшего.

Два встречных движения: продвигающегося возраста и отодвигающегося, во времени, художественного соответствия. Прибывающего возраста и убывающего художественного восприятия.

Так старшие в эмиграции по сей день считают своего семидесятилетнего сверстника Бальмонта — двадцатилетним и до сих пор еще с ним сражаются или как внуку «прощают». Другие, помоложе, еще или уже современны *тому* Игорю Северянину, то есть собственной молодости (на недавний вечер Игоря Северянина эмиграция пошла посмотреть на себя — тогда: на собственную молодость воочью, послушать, как она тогда пела, а молодость — умница! — выросла и петь перестала, только раз — с усмешкой — над нами и над собой...). Третьи, наконец, начинают открывать (допускать возможность) Пастернака, который вот уже пятнадцать лет (1917 г. Сестра моя — жизнь) как лучший поэт России, а печатается больше двадцати лет. Любят и знают Пастернака, то есть настоящие Борису Пастернаку современники, не его сверстники, возле-сорокалетние, а их дети, которые когда-нибудь тоже в свою очередь отстанут, устанут, застынут, на том — нем, если не откатятся куда-нибудь за Блока и дальше, в страну отцов, забывая, что та в *свое* время была страной сыновей. А где-то, в защитном цвете неизвестности, бродит среди нас тот, будущий — уже сущий — которого — о как любили бы двадцатилетние его ровесники — если бы знали! Но они его не знают. Но он сам себя еще не знает. Он для себя сейчас еще последний из всех. О нем знают только боги и — пустая его тетрадь с продолженным следом двух его локтей. Двадцатилетнего Бориса Пастернака не дано знать никому.

Из всего сказанного явствует, что признак современности поэта отнюдь не в своевременности его общепризнанности, следовательно, не в количественности, а в качественности этого признания. Общепризнанность поэта может быть и посмертной. Но современность (воздействие на качество своего времени)

всегда прижизненная, ибо в вещах творчества только качество и в счет.

...Современная Россия, которая обывателя чуть ли не насильно — во всяком случае неустанно и неуклонно — наглядным и изустным путем приучает к новому искусству, все это переместила и перевернула. Пусть не все понимают, пусть не все сразу понимают, достаточно того, что причину этого непонимания ищут в себе, а не в писателе. — «Почему, Владимиру Владимирович», — вопрос рабочих Маяковскому — «когда вы читаете, мы все понимаем, а когда сами»... «Учитесь читать, ребята, учитесь читать»... Россия страна, где впервые учатся читать поэтов, которые — сколько бы этого ни утверждали — не есть соловьи.

Современность поэта во стольких-то ударах сердца в секунду, дающих точную пульсацию века — вплоть до его болезней (NB! мы в стихах все задыхаемся!) во внесмысловом, почти физическом созвучии сердцу эпохи — и мое включающему, и в моем — моим — быщемуся.

Я идейно и жизненно могу отставать, отстаю, ушедшее — там за краем земли оставшееся отстаиваю, а стихи сами без моего ведома и воли выносят меня на передовые линии. Ни стихов ни детей у Бога не заказывают, они — отцов!

Так я в Москве 20 г., впервые услышав, что я «новатор» — не только не обрадовалась, но вознегодовала — до того сам звук слова был мне противен. И только десять лет спустя, после десяти лет эмиграции, рассмотрев, кто и что мои единомышленники в старом, а главное, кто и что мои обвинители в новом — я наконец решила свою «новизну» осознать — и усыновить.

Стихи наши дети. Наши дети старше нас, потому что им дольше, дальше жить. Старше нас из будущего. Поэтому нам иногда и чужды.

Возвращаясь к содержанию и его частности — направлению.

Оттого, что Луначарский революционер, он не стал революционным поэтом, оттого, что я не — я не стала поэтом-реставратором. Поэт Революции (*la chante de la Révolution**) и революционный поэт — разница. Слилось только раз в Маяковском. Больше слилось, ибо еще и революционер — поэт. Посему он чудо наших дней, их гармонический максимум. Но бывают и контр-чудеса: Шатобриан, бывший не с Революцией, а против подготовил в литературе революцию Романтизма, чего бы не было, если бы Революция взяла его в оборот на предмет писания политических памфлетов (NB! гениальных — у Маяковского, сильных всей его — им самим в себе подавленной — лирической силой). Второе и главное: признай, минуй, отвергни Революцию — все равно она уже в тебе — и извечно (стихия) и с русского 1918 г., который хочешь не хочешь — был. Все старое могла оставить Революция в поэте, кроме масштаба и темпа.

— А старый Сологуб с его предсмертными бергериями? ** Именно что — старый Сологуб. Пронзительно, как человеческий документ (старого поэта в Революцию), растравительно, как образ (старика, потерявшего все, и вот...) но не это же, не бергерии же — искусство, и не это же, не бергерии же — Сологуб! В бергериях Сологуб мрачным потоком своего дара отпущен — опущен на аркадский бережок. У тоже старого Кузмина в его византийском Св. Георгии (1921 г.)⁶ — шаг Революции, слушал бы иностранец, сказал бы: бой. Об этой революционности говорю. Другой для поэта нет. Или уж (кроме единственного чуда Маяковского) поэта нет. Пастернак не потому революционер, что написал 1905 год, а потому что открыл новое поэтическое сознание и его неизбежное следствие — форму. (Показательно, что Пятый Год

среди своих — тогда больших современников — певца не нашел, в своих тогда больших поэтах современника не нашел. Есть один Пятый Год — пастернаковский, двадцать с лишним лет спустя. Из чего вывод, что событие — так же как поэт и как поэма — иногда может и подождать, не только без всякого для себя урона, но и на благо. Событиям и события-торопящим великий творческий урок терпения).

Ни одного крупного русского поэта современности, у которого после Революции не дрогнул и не вырос голос — нет.

Тема Революции — заказ времени.

Тема прославления Революции — заказ партии.

Является ли — хотя бы самая могущественная, с самым большим будущим в мире политическая партия — всем своим временем и может ли она от лица всего его предъявлять свой заказ?

Есенин погиб, потому что не свой, чужой заказ (времени — обществу) принял за свой (времени — поэту), один из заказов — за весь заказ. Есенин погиб, потому что другим позволил знать за себя, забыл, что он сам — провод: самый прямой провод!

Политический (каков бы ни был!) заказ поэту — заказ не по адресу, таскать поэта по Туркисбам — не по адресу, поэтическая сводка вещь неубедительная, таскать поэта в хвосте политики — непроизводительно.

Посему: политический заказ поэту не есть заказ времени, заказывающего без посредников. Заказ не современности, а злободневности. Злобе вчерашнего дня и обязаны мы смертью Есенина.

Есенин погиб, потому что забыл, что он сам такой же посредник, глашатай, вожатый времени — по крайней мере настолько же сам свое время, как и те, кому во имя и от имени времени дал себя сбить и загубить.

Писатель, если только он
Волна, а океан — Россия,
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена стихия.⁷

Если бы идеологи пролетарской поэзии побольше читали и поменьше учили поэтов, они бы дали этой потрясенной стихии потрясать поэта самой, предоставили поэту потрясаться ею по своему.

Если бы идеологи пролетарской поэзии побольше читали и поменьше учили поэтов, они бы задумались и над последующим четверостишием:

Писатель, если только он
Есть нерв великого народа,
Не может быть не поражен,
Когда поражена свобода —

то есть самый нерв творчества.

Не пишите против нас, ибо вы — сила, вот единственно-законный заказ всякого правительства — поэту.

Если же вы мне скажете: «во имя будущего»... — я от будущего заказы принимаю непосредственно.

Что все то давление (церкви, государства, общества) перед этим, изнутри!

<...> Те, кого в Советской России или кто сами себя по скромности зовут попутчиками — сами вожаемые. Творцы не только слова, но и видений своего времени.

Даже в бессмертной гоголевской тройке России я поэта не вижу пристижной.

Не «попутчество», а одинокое сотворчество. И лучше всего послужит поэт своему времени, когда даст ему через себя сказать, сказаться. Лучше всего послужит поэт своему времени, когда о нем вовсе забудет (о нем вовсе забудут). Современность не то, что перекикивает, а иногда и то, что перемалчивает.

* Певец революции (франц.).

** Пасторальями (от франц. *bergerie*).

Современность не есть все мое время. Современное есть показательное для времени, то, по чему его будут судить: не заказ времени, а показ. Современность сама по себе отбор. Истинно современное есть то, что во времени — вечного, посему, кроме показательности для данного времени, своевременно — всегда, современно — всему. Пушкинские стихи «К морю», например, с тенью Наполеона и Байрона на вечном фоне Океана.

Современность в искусстве есть воздействие лучших на лучших, то есть обратное злободневности: воздействию худших на худших. Завтрашняя газета уже устарела. Из чего явствует, что большинство обвиняемых в «современности» этого обвинения не заслуживают, ибо грешат только временностью, понятию такому же обратному современности, как и вне-временности. Современность: все-временность. Кто из нас окажется нашим современником? Вещь, устанавливаемая только будущим и достоверная только в прошлом. Современник: всегда меньшинство.

Современность не есть все мое время, но так же и вся современность не есть одно из ее явлений. Эпоха Гете одновременно и эпоха Наполеона и эпоха Бетховена. Современность есть совокупность лучшего.

Если даже допустить, что коммунизм как попытка наилучшего устройства земной жизни — благо, есть ли он один — благо, есть ли он один — все блага, включает ли в себя, определяет ли он собою все остальные блага и силы: искусства, науки, религии, мысли. Включает, исключает или — наравне — сосуществует.

Я, от лица всех остальных благ стою на последнем. Как один из двигателей современности, а именно строитель земной жизни чем дальше, тем хуже расстраиваемой — честь и место. Но равно как земное устройство не главное духовного, равно как наука общезнания не главное подвига одиночества — так и коммунизм, строитель земной жизни — не главное всех двигателей жизни духовной, ни надстройкой ни пристройкой не являющейся. Земля — не все, а если бы даже и все — устройство людского общезнания — не вся земля. Земля большего стоит и заслуживает.

Честь и место — как всякому знающему честь и место.

Подхожу к самому трудному для себя ответу: показателен ли для наших дней Рильке, этот из далеких — далекий, из высоких — высокий, из одиноких — одинокий. Если — в чем никакого сомнения — показателен для наших дней — Маяковский.

Рильке не есть ни заказ ни показ нашего времени, — он его противовес.

Войны, бойни, развороченное мясо розни — и Рильке.

За Рильке наше время будет земле — отпущено.

По обратности, то есть необходимости, то есть противуядию нашего времени Рильке мог родиться только в нем.

В этом его — современность.

Время его не заказало, а вызвало.

Заказ множеств Маяковскому: скажи нас, заказ множеств Рильке: скажи нам. Оба заказа выполнили. Учителем жизни Маяковского никто не назовет, так же как Рильке — глашатаем масс.

Рильке нашему времени так же необходим, как священный на поле битвы: чтобы за тех и за других, за них и за нас: о просвещении еще живых и прощении павших — молиться.

Быть современником — творить свое время, а не опережать его. Да, отражать его, но не как зеркало, а как щит. Быть современником — творить свое время, то есть с девятью десятками в нем сражаться, как сражаешься с девятью десятками первого черновика.

Со щей снимают накипь, а с кипящего котла времени — нет?

Гумилевское:

Я вежлив с жизнью современной,
Но между нами есть преграда —

конечно, относится к тем, кто локтями и гудками мешали ему думать, к времени *шумам*, а не к тем, кто совместно с ним творили тишину своего времени, о которой так чудесно Пастернак:

Тишина, ты лучшее
Из всего что слышал.

К временщикам и поденщикам времени, а не к его, Гумилева, современникам.

Теперь, расчистив совесть от всяких недомолвок, взяв труднейшую на себя задачу: констатирования факта времени, признав свою зависимость от времени, свою связанность с ним — и им —

признав время своим рабочим материалом, своим орудием производства, своим частичным — и как часто частным! — работодателем, наконец — спрашиваю:

Кто такое мое время, чтобы я ему еще и вольно служила?

Что такое вообще время, чтобы ему служить?

Мое время завтра пройдет, как вчера — его, как послезавтра — твое, как всегда всякое, пока не пройдет само время.

Служение поэта времени — оно *есть!* — есть служение мимовольное, то есть роковое: не могу *не*. Моя вина перед Богом, — пусть заслуга перед веком!

Брак поэта с временем — насильственный брак. Брак, которого как всякого претерпеваемого насилия он стыдится и из которого рвется — прошлые поэты в прошлое, настоящие в будущее — точно время оттого меньше время, что оно не мое! Вся советская поэзия — ставка на будущее. Только один Маяковский, этот подвижник *своей* совести, этот каторжанин нынешнего дня, этот нынешний день возлюбил: то есть поэт в себе — превозмог.

Брак поэта с временем — насильственный брак, потому ненадежный брак. В лучшем случае — *bonne mine à mauvais jeu* *, а в худшем — постоянном — настоящем — измена за изменой все с тем же любимым — Единым под множеством имен.

Как волка ни корми — все в лес глядит. Все мы волки дремучего леса Вечности.

Служение времени как таковому есть служение смене — измене — смерти. Не утонишь, не услужишь. Настоящее. Да есть ли оно? Служение периодической дроби. Думаю, что еще служу настоящему, а уже прошлому, а уже будущему. Где оно, *Präsens* **, в чем?

С бегущим можно бежать, но если ты узнаешь, что он *никуда* не бежит, всегда бежит, бежит потому что бежит, бежит для того чтобы бежать. Что его бег — самоцель <...>

Прогресс? Но доколе? А если и до конца планеты — продвижение вперед — к яме?

Продвижение вперед не к концу — достижению, а к концу — уничтожению. Если же и планету как-нибудь научат *не-кончиться*, отстоят планету у небытия — поколение земных богов за поколением земных богов? Конец или бесконечность земной жизни, равно-страшно ибо равно-пусто.

Лермонтовское «на время не стоит труда» относится не к любви, а к самому времени: само *время* не стоит труда.

Смерть и время царят на земле
Ты владыками их не зови
Все кружась исчезает во мгле
Неподвижно лишь Солнце Любви.

* Хорошая мина при плохой игре (франц.).

** (Грамматическое) настоящее время (нем.).

Послесловие

Проставив последнюю точку — Любви, в вечер того же дня читаю в газете:

«Кончилась в Москве одна «дискуссия», начинается другая. Сейчас «внимание писательской общественности перенесено на стихотворный фронт».

Доклад о поэзии прочел Асеев, друг и последователь Маяковского. Потом начались прения и длились они три дня. Сенсацией прений было выступление Пастернака. Пастернак сказал во-первых, что

— Кое-что не уничтожено Революцией...

Затем он добавил, что

— Время существует для человека, а не человек для времени.

Борис Пастернак — там, я — здесь, через все пространства и запреты, внешние и внутренние (Борис Пастернак — с Революцией, я — ни с кем), Пастернак и я, не сговариваясь, думаем над одним и говорим одно.

Это и есть: современность.

Медон, январь 1932 г.

Комментарии

Текст печатается с небольшими сокращениями по прижизненному изданию («Воля России», № 1—3, 1932) с сохранением в ряде случаев особенностей авторской пунктуации.

¹ По-видимому, Цветаева имеет в виду стихотворение В. Маяковского «Тамара и Демон» (1924).

² Из стихотворения М. Цветаевой «Есть в стане моем офицерская прямота...» (1920).

³ Сборник стихов М. Цветаевой 1917—1921 гг. о революции и Гражданской войне.

⁴ Поэма М. Цветаевой (1928—1929).

⁵ Из стихотворения М. Лермонтова «Ангел» (1831).

⁶ Кантата «Св. Георгий» написана в 1917 г., вошла в сборник М. Кузмина «Нездешние вечера» (Петроград, 1921).

⁷ Здесь и далее Цветаева цитирует стихотворение Я. Полонского «В альбом К. Ш.» (1864).

⁸ Из стихотворения Вл. Соловьева «Бедный друг, истомил тебя путь...» (1887).

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

☆☆☆

Да с этой львиною
Златою россыпью,
Да с этим поясом,
Да с этой поступью,—
Как не бежать за ним
По белу по свету —
За этим поясом,
За этим посвистом!

Иду по улице —
Народ сторонится,
Как от разбойницы,
Как от покойницы.

Уж знают все, каким
Молюсь угодникам
Да по зелененьким,
Да по часовенкам.

Моя, подруженьки,
Моя, моя вина.
Из голубого льна
Не тките савана.

На вечный сон за то,
Что не спала одна —
Под дикой яблоней
Ложусь без лада.

2 апреля 1916

☆☆☆

Из строгого, стройного храма
Ты вышла на визг площадей...
— Свобода! — Прекрасная Дама
Маркизов и русских князей.

Свершается страшная спевка, —
Обедня еще впереди.

— Свобода! — Гуляющая девка
На шалой солдатской груди!

26 мая 1917

☆☆☆

Чердачный дворец мой, дворцовый чердак!
Взойдите: гора рукописных бумаг...

— Так! — Руку! — Держите направо!
Здесь лужа от крыши дырявой!

Теперь полюбуйтесь, воссев на сундук,
Какую мне Фландрию вывел паук.
Не слушайте толков досужих,
Что женщина может без кружев.

Ну-с, перечень наших чердачных чудес:
Здесь нас посещают и ангел, и бес.
И тот, кто обоих превыше, —
Недолго ведь с неба — на крышу!

Вам, дети мои, два чердачных царька,
С веселою Музой моею — пока
Вам призрачный ужин согрею —
Покажут мои Эмпирей.

— «Но что ж с Вами будет, как выйдут дрова?»
— Дрова? Но на то у поэта слова —
Всегда — огневые в запасе.
Нам нынешний год не опасен.

От века поэтовы корки черствы,
И дела нам негу до красной Москвы.
Глядите — от края до края —
Вся наша Москва — голубая!

А если уж слишком поэта доймет
Московский чумной девятнадцатый год, —
Что ж, мы проживем и без хлеба!
Недолго ведь с крыши — на небо!

Конец 1919

☆☆☆

Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!
То шатаюсь причитаю в поле — Русь.
Помогите — на ногах нетверда!
Затуманила меня кровь-руда!

И справа и слева
Кровавые зевы,
И каждая рана:
— Мама!

И только и это
И внятно мне, пьяной,
Из чрева — и в чрево:
— Мама!

Все рядком лежат —
Не развесть межой.
Поглядеть: солдат.
Где свой, где чужой?

Белый был — красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был — белым стал:
Смерть побелила.

— Кто ты? — белый? — не пойму! — привстань!
Аль у красных пропадал? — Ря-зань.

И справа, и слева,
И сзади и прямо
И красный и белый:
— Мама!

Без воли — без гнева —
Протяжно — упрямо —
До самого неба:
— Мама!

7 января 1921

☆☆☆

Душа, не знающая меры,
Душа хлыста и изувера,
Тоскующая по бичу.
Душа — навстречу палачу,
Как бабочка из хризалиды!
Душа, не съевшая обиды,
Что больше колдунов не жгут.
Как смоляной высокий жгут
Дымящая под власяницей...
Скрежещущая еретица,
— Савонароловой сестра —
Душа, достойная костра!

10 мая 1921

Ахматовой

Кем полосынька твоя
Нынче выжнется?
Чернокосынька моя!
Чернокнижница!

Дни полночные твои,
Век твой таборный...
Все работнички твои
Разом забраны.

Где сподручники твои,
Те сподвижнички?
Белорученька моя,
Чернокнижница!

Не загладить тех могил
Слезой славою.
Один заживо ходил —
Как удушенный.

Другой к стеночке пошел
Искать прибыли.
(И гордец же был — сокол!)
Разом выбыли.

Высоко твои братья!
Не докличешься!
Яснооконька моя,
Чернокнижница!

А из тучи-то (хвала —
Диво дивное!)
Соколиная стрела,
Голубиная...

Знать, в два перышка тебе
Пишут тамотка,
Знать, уж вскорости тебе
Выйдет грамотка:

— Будет крылышки трепать
О булыжники!
Чернокрылонька моя!
Чернокнижница!

29 декабря 1921

Плач цыганки по графу Zubову

Расколюсь — так в стклянь!
Распалюсь — так в пар!
В рокота гитар
Рокочи, гортань!

В пляс! В тряс! В прах — да не в пляс!
А — ах, струна сорвалась!

У — ехал парный мой,
У — ехал в Армию!
Стол — бы фонарные!
Ла — ды гитарные!

И в прах!
И в тряс!
И грянь!
И вдарь!

Ермань-Дурмань.
Гортань-Гитарь.

В пляс! В тряс! В прах — да не в пляс!
А — ах, рука сорвалась!

Про трудного
Про чудного
Про Zubова-
Про сударя.

Чем свет — ручку жав
— Zubов-граф, Zubов-граф! —
Из всех — сударь-брав!
Зу — бов граф!

В пляс! В тряс! В прах — да не в пляс!
А — ах, душа сорвалась!

У — пал, ударный мой!
Стол — бы фонарные!
Про — пала Армия!
Ла — ды гитарные!

За всех — грудью пав,
(Не снег — уголь ржав!)
Как в мех — зубы вжав,
Э — эх, Zubов-граф!..

И в прах и в...

19 февраля 1923

Брат

Раскалена, как смоль:
Дважды не вынести!
Брат, но с какой-то столь
Странною примесью

Смуты... (Откуда звук
Ветки откромсанной?)
Брат, заходящий вдруг
Столькими солницами!

Брат без других сестер:
На-прочь присвоенный!
По гробовой костер —
Брат, но с условием:

Вместе и в рай и в ад!
Раной — как розаном
Соупиваться! (Брат,
Адом дарованный!)

Брат! Оглянись в века:
Не было крепче той
Спайки. Назад — река...
Снова прошепчется

Где-то, вдоль звезд и шпал,
— Настежь, без третьего! —
Что по ночам шептал
Цезарь — Лукреции.

13 июня 1923

☆☆☆

Променивши на стремя —
Поминайте коня ворона!
Невозвратна как время,
Но возвратна как вы, времена

Года, с первым из встречных
Предающая дело родни,
Равнодушна как вечность,
Но пристрастна как первые дни

Весен... собственным пенем
Опьяняясь как ночь — соловьем,
Невозвратна как племя
Вымирающее (о нем

Гейне пел, — брак мой тайный:
Слаще гостя и ближе, чем брат...)
Невозвратна как Рейна
Сновиденный убийственный клад.

Чиста-злата — нержавый,
Чиста-серебра — Вагнер? — нырни!
Невозвратна как слава
Наша русская...

19 февраля 1925

Подготовка текста и публикация
Е. И. ЛУБЯННИКОВОЙ.

Юрий БЕЛИКОВ

ВЕТО НА СОЛОВЬЕВ

(Мнение молодого поэта)

Когда-то Андрей Вознесенский, тоскуя по тому, «на кого возложить мне ладони», провозгласил: «Мы научили свистать пол-России. Дай одного соловья-разбойника!» Соловьи-разбойники хладнокровно не подняли эту перчатку. «Годы стоят густые. Соловьи крепостные», — ответил Вознесенскому Петр Вегин.

«Густые годы» диктовали иные формы поэтического существования.

В рощицах остались просто соловьи. Жизнь маршировала на месте под их регламентированный посвист. Сии ничему не перечасные птицы перелетали из одной поэтической книжицы в другую. Увы, перелет их продолжается.

«Утихнет гром сверхсовременный, и соловья услышим звон — неповторимый, неизменный еще с Бояных времен!»

И не приведи случай, ежели эту седую неизменность вдруг что-то ненароком заглушит! Тотчас же рождается ностальгически-всплывающее: «Даже песню о юной березке не поют в эту ночь соловьи».

А вот и мощное обоснование их маломощной прыти: «Значит, в городе все идет как надо, если в нем так распелись соловьи».

Читатель, зажмите уши! Иначе, оглушенный соловьиными трелями, вы не дочитаете до конца поэтический сборник «Молодая гвардия-85», выдержки из которого приведены выше. Правда, если вы прочтете его внимательно, то перед вашим взором, кроме соловьев, в общей стае пролетят синица, жаворонок, лебедь, журавли, вы даже услышите «крупный утренний крик петухов». В аннотации же, предваряющей очередной выпуск ежегодника библиотеки журнала «Молодая гвардия», говорится: «...это живой заинтересованный рассказ о сегодняшнем дне молодого строителя коммунизма, о его свершениях и планах. В образе героя книги сделана попытка воплотить существенные черты характера советского человека, чьи личностные ценности кровно связаны с общенародным идеалом, с коммунистической убежденностью. «Страда моя, живу судьбой твоей...» — в простых, но очень ответственных словах одного из наших авторов четко выражена главенствующая идея книги».

Жить судьбой Отечества — счастье поэта, непременное условие его бытия. Строки, по мнению редактора сборника Анатолия Вершинского, выражающие «главенствующую идею книги», действительно очень ответственные. Если их декларативность подкреплена наболевшим и пережитым, тогда они имеют право на существование. А если нет? Возвращаясь к соловьиной тематике, зададим вопрос: «Все ли в городе идет как надо?»

У подавляющего большинства авторов «Молодой гвардии-85» этот вопрос вообще не возникает.

Не характерно ли, что сейчас — и с объективной силой — умы приковывают произведения Астафьева и Айтматова, но не представителей «племени молодого»? А ведь пришло их время — время соловьев-разбойников, юность которых счастливо совпадает с обновлением общества.

Поколения в литературе «вспыхивают» друг от друга. Либо противостоят предшествующим традициям, либо их развивая. Как ни парадоксально, но Маяковский «вспыхнул», с одной стороны, от Бальмонта, отвергая его сонорную поэтику, с другой стороны, от сатириконцев, вбирая их опыт. На мой взгляд, дефицит на «двадцатидвухлетниках» вырос из той черной дыры, которая образовалась между ними и тридцатилетними. От кого было «вспыхивать»? Кому было противостоять или следовать? Да, изустно тридцатилетние, конечно, существовали, известные слишком узкому кругу приверженцев, на страницах же издания явного их прилива не ощущалось. Выпало звено. А вместе с ним и многое другое...

Сборник «держится» на сваях-обращениях — к Родине, к России.

О край берез, тобой ли не гордиться,
О Русь моя, тебя ль мне не любить?!
И как без неба жить не может птица,
Так без тебя я не смогу прожить!

(О. Родионов)

О Россия!
Твои пространства
Не вписать в холсты и тома.
И едва ли ты знаешь сама,
Как огромна ты и прекрасна!

(В. Лякишев)

И он и я — защитники Отчизны,
Одной страны родные сыновья.

(В. Фатинцев)

Если бы эти безошибочно-мимоезжие восклицания услышал поэт Михаил Кульчицкий, один из тех, кто погиб, защищая Отчизну, он бы, горько усмехнувшись, повторил написанное им более сорока лет назад: «Я б запретил декретом Совнаркома писать о Родине (бездарные стихи!» Сказать о России: «Как огромна ты и прекрасна!» — значит ничего не сказать. Сказать о России: «Других ты богаче, себя ты бедней» (И. Шкляревский) — выразить ее величие и драму.

Настал такой момент, когда поэзии (она грешит этим больше, чем проза) необходимо наложить внутреннее вето на некоторые свои атрибуты. Хватит злоупотреблять соловьями, Россией, милым краем и отчим домом. А если уж «злоупотреблять», то с блеском:

Сто раз я нажимал курок винтовки,
а вылетали только соловьи!

(Б. Окуджава)

Мне кажется, просчет составителей сборника «Молодая гвардия-85» в том, что он смонтирован по принципу похожести, совмещения стихов одного ряда. От похожих стихотворений до похожих авторов — один шаг. «Над горюю серебристый серпик месяца блестит». «Тихие поляны. Желтые стога». Кто это написал: А. Ковалевский или Л. Сосновская?

Усредненное сходство произведений большинства участников ежегодника настолько очевидно, что, когда обнаруживаешь «Монолог воздухоплователя» В. Изегова из Вильнюса, непохожий на все соседствующее с ним, но напоминающий стихи Маяковского, то невольно радуешься: все-таки вразрез с «соловьиным» монолитом.

Обратимся еще раз к аннотации, где сказано, что «чувство, проясненное образной мыслью, ведет начинающих литераторов к осмыслению современности, к постижению народной жизни...». На мой взгляд, эти слова — как турник, на котором, посинев и покраснев от перенапряжения, подтягиваются начинающие литераторы.

Когда беда набатом
гудела
в каждом сердце,
Донбасс мой был
солдатом,
был молодогвардейцем.

(В. Юрченко)

Что это: «чувство, проясненное образной мыслью»? Или составителей сборника «Молодая гвардия-85» предвстила переключку — «молодогвардейцем»? Может быть, к «осмыслению современности и постижению народной жизни» ведут следующие строки:

Вот ватага подростков с гитарой,
Вот комбайна замедленный ход,
Вот огромное ухо радара
И готовый взлететь самолет...

Что ж, если помочь этим строчкам, подтягивающимся на турнике поэзии, сдать норму ГТО, оче-

видно, «замедленный ход комбайна» будет символом требующей ускорения жизни, а «огромное ухо радара» — метафорической находкой, указующей на дисгармонию сущего?

У настоящей поэзии есть всегда отражение, тень, двуединство. Как правило, двуединство это движется по возрастающей: от постижения состояния природы к постижению состояния души, времени, мира. Примером тому может служить стихотворение Владимира Высоцкого «Банька по-белому»:

Разомлею я до неприличности,
ковш холодный — и все позади.
И наколка времен культа личности
засинеет на левой груди.

В стихах же авторов «Молодой гвардии-85», пожалуй, за исключением одного-двух, нет и намека на художественное взаимопроникновение этих состояний. Природа, человек и время здесь статичны. Герой сборника либо бесконфликтен, либо не идет дальше абстрактных столкновений: «Какое великое благо — назвать подлеца подлецом!» Теперь — о золотых крупицах, чей блеск почти неразличим под грудой галечника.

И вот вторгается в рисунок
дождя свинцовый карандаш,—

пишет Сергей Терентюк, и дождь под увеличительным стеклом метафоры становится контрастно-зримым.

У выхлопной трубы мотора
Я газом грею свой сапог,—

говорит Вадим Орловский, и по своей подчеркнуто точной, приземленной реалистичности эти строки звучат подобно заявлению (когда-то, наверное, эпатажному) древнегреческого поэта Архилоха: «Пью, опершись на копье». А вот стихи — без знаков препинания и рифм — латыша Модриса Аузиньша в переводе Дмитрия Цесельчука:

Черным углем в дымоходе
Я слово пишу

Дым его прочтает
и после дождям скажет

С дождями на землю прольется слово
И — белое — из земли прорастет
Ведь никуда не пропадает то что написано
Черным углем в дымоходе.

Если бы слово авторов поэтического сборника шло тем длительным путем превращений, какой избрал для своего слова Аузиньш, оно бы наверняка достигло границ читательского сердца и «никуда бы не пропало».

Я прочитал от корки до корки поэтические ежегодники библиотеки журнала «Молодая гвардия», начиная с первого выпуска 1982 года. Нашел здесь «сверхновые» рифмы типа «рожденья — юбилею», «удесятерив — соединил»; «сверхсмелые» откровения: «Там, на границе, он стреляет в мужа, а я сейчас тебя рожаю, дочка!»; «сверхоригинальные» (в который раз!) названия: «На Родине», «Родина», «Отчизна», «Родные места», «Родная земля», стыкующиеся через пять-шесть страниц в каждом сборнике; но — за редким исключением — я не увидел предмета поэзии.

В данном случае исключение не подтверждает правила. Если, скажем, в «Молодой гвардии-84» нас останавливают пространственно-временной зоркостью стихи Александра Лаврина: «Кровь на землю лилась столько лет, своевластью и лжи на потребу, что порою малиновый свет из глубин поднимается к небу»; или в «Молодой гвардии-83» запоминаются масштабностью дыхания строки Юрия Ложица: «Неоднообразная земля: долина — выдох, вдох — пригорок. Тут человек, прозрачно-зорок, проходит, воздух шевелит», то это не становится доминантой ежегодников, не разрушает их блеклого единства.

Где же выход?

Нужен новый взгляд. Мысль, высказанная Михаи-

лом Сергеевичем Горбачевым применительно к сферам политики и экономики, затрагивает литературу в целом, а также издательское дело. Сама идея выпуска журналом «Молодая гвардия» поэтических ежегодников, где бы происходил своеобразный смотр лучших молодых творческих сил страны, заслуживает всяческой поддержки. Однако «лучших» читай «неоднозначных». «Неоднозначных» — стало быть, ищущих, думающих, идущих на обновление в области содержания и формы. 15 000 экземпляров — тиражные рамки выпуска, думается, вполне могут вместить эти поиски. Стоит учесть опыт ленинградцев, издавших в 1985 году под рубрикой «Мастерская» сборник молодых авторов «Круг». Здесь воистину, как в мастерской столяра, кудрявится стружка, видны заусенцы, но вместе с ними и четкий орнамент обнаженной сердцевины дерева.

Опасаются поэтических заусенцев и другие издательства. Десять лет кочевала от одного редакционного порога к другому рукопись поэта Виктора Коркия. Пять лет лежат «нержавеющей» в «Советском писателе» стихи Александра Еременко. Четвертый год редакция библиотеки журнала «Молодая гвардия» рассматривает «вихрастую» рукопись стихотворений Александра Кормашова, рекомендованную для издания VIII Всесоюзным совещанием молодых писателей. Все, как говорится, при ней: положительная рецензия, поиск незакатанных возможностей смысла и языка. Но последнее-то, очевидно, и пораживает, если возраст рукописи скоро подойдет к рубежу IX совещания. Между тем Александр Кормашов пишет:

На зеленой воде,
где опавшие листья, как солнечные зайчики,
белый лебедь спит
посредине пруда,
засунув голову под крыло
и медленно кружась.
Кругом так невозможно тихо,
что кажется,
это собственное вращение Земли
то и дело
слегка поворачивает птицу
против часовой стрелки.
Или таким образом проявляет себя
вращательный момент вселенной.
Хотя, может быть, у этого лебеда
просто такая привычка:
во сне
пошевеливать правой лапой.

Необходимость издателей не во сне, а наяву «пошевеливать правой лапой» диктуется и фактом существования таких поэтов, как Парщиков, Искренко, Жданов, Арабов. В медицине бытует понятие — акромегалия. Это когда непропорционально начинают расти различные части лица. Определимся сразу: у названных поэтов есть свой взгляд на вещи. Но в силу того, что они долго шли и продолжают замедленно взбираться по неуступчивым издательским уступам, их третий — космический — глаз стал вылезать из орбиты, приобретая размеры метаталактики и находя свое философское подкрепление в термине «метаметафора», который был подан в моментальном пасе поэтам «новой формации» литературоведом Константином Кедровым.

Вот как, к примеру, описывает сома Алексей Парщиков:

Нам кажется: в воде он вырыт, как траншея.
Всплывая, над собой он выпятит волну.
Сознание и плоть сжимаются теснее.
Он весь как черный ход из спальни на Луну.

Думаю, что, кроме «работы глаза», тотального выдавливания одного предмета из другого (сом — траншея — черный ход), здесь нет ощутимой работы тех же упомянутых поэтом «сознания и плоти» или банального, но немыслимо-необходимого сердца.

Куда ведут эти, быть может, интересные метафоры? Если бы из «спальни на Луну»!

Все это я говорю вот к чему. Чтобы у поэта начали гармонично развиваться органы всех чувств, ему нужна естественная среда обитания — широкий контакт с читателем.

Тут я, применяя слова другого поэта, поневоле «зачерпнул стихии чуждой, запредельной». Стихотворение Парщикова «Сом» входит в состав «Дней этого года» — сборника участников VIII Всесоюзного совещания молодых писателей, подготовленного к выпуску в свет редакцией по работе с молодыми авторами издательства «Молодая гвардия». Адрес один, а подходы различные.

Первый подход, как уже было отмечено, обусловлен составительским принципом совмещения стихов одного ряда, второй — попыткой сцепить (или столкнуть?) разнохарактерные авторские манеры. В результате такого сцепления (или столкновения?) высвечивается наиболее интересное, и потому оно становится доминантой сборника. Например, рядом «с простыми, как сравнения, подошвами башмаков» Ивана Панкеева соседствует вихрь непривычных видеосмещений «Землетрясения в бухте Цэ» Алексея Парщикова, что оттеняет различные стиливые подачи и того и другого.

Точно так же серьезность мироощущения Анатолия Иванена контрастирует с лукавой жизнерадостностью Вячеслава Казакевича:

У первого: Весь в прожилках лист моих дней,
все пожитки — роса на листе...

У второго: За дом, за кошку на диванчике,
за бабу, что устала жить,
все десять тысяч одуванчиков
готовы головы сложить.

А вот как прошивает стихотворную ткань звуком «в» — своим фамильным звуком — один из авторов «Дней этого года», живущий в Волгограде молодой поэт Сергей Васильев:

Зевая, на станции с влажным названием,
С невинным славянским названием Елань.

Особую поэтическую энергию, которая пробивается сквозь менее активные творческие пласты других авторов сборника, генерируют Наталья Лясковская, Наталья Попельшева, Юрий Мезенко, Игорь Рима-рук, Михаил Шелехов, Клавс Элсбергс. Что их объединяет? Я ответил бы так: у каждого из них есть своя смелость. Игорь Римарук говорит о «глубинном вздохе космодрома», который «всколыхнул отблеск молодого лица на острой днепровской воде». И в этой взаимозависимости двух стихий — изначальной и рукотворной — мне видится тревожно-зоркий взгляд современного поэта. Смелость Натальи Лясковской — в попытке вернуть миру, похожему на устоявшийся куб, ограничивающий жизненные пространства, его красочное многообразие:

От их сердец, дыханий, губ,
теплом неслышанным согретый,
растает хладнокровный куб,
мир распадется на предметы...
И станет лето.

Когда с земли сходит снег, он еще долго держится в овражках и логах. Однако верится, что дни его пошли на убыль. Потому что настали «Дни этого года». Они возвращают нам Николая Гумилева и Владислава Ходасевича, дополняют Андрея Платонова и Михаила Булгакова, скорбят по Осипу Мандельштаму, Павлу Васильеву и Марине Цветаевой, образуя этим всплеском памяти феномен, который можно назвать современной литературой прошедшего.

Неужели неизвестная современная литература настоящего, чтобы прийти к читателю, должна стать прошедшей? «Дайте каждому тарелку не в бессмертии — сейчас!» — справедливо говорит Петр Вегин. В переводе на деловой язык этот призыв означает, что проблемы перестройки и ускорения имеют прямое отношение к работе издательства.

Г. Чусовой

Анна ПУГАЧ

ДЯГИЛЕВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

«Пермская художественная галерея, кафедра истории искусств Уральского государственного университета проводят первые Дягилевские чтения, посвященные 115-летию со дня его рождения» — письмо-приглашение, полученное весной этого года, обрадовало: наконец-то появилась возможность сказать о нем в полный голос, восстановить целую эпоху в истории русского искусства начала XX века.

Долгие годы это имя, связанное с экспериментальными течениями искусства предреволюционной поры, оставалось в тени. В свое время Сергей Прокофьев писал о масштабности фигуры Дягилева, которая увеличивается по мере удаления.

Меценат без гроша в кармане, Дягилев открывал, выдвигал, объединял молодых талантливых живописцев, музыкантов, хореографов. Одержимый пропагандист русского искусства, он был хорошо известен в Европе и Америке: выставки творческого объединения «Мир искусства», Русские исторические концерты, знаменитый дягилевский балет и «Русские сезоны» в Париже — все это было освещено его незаурядной личностью.

Дягилев «вернулся в Пермь» благодаря многолетней кропотливой работе краеведов и сотрудников галереи во главе с Н. В. Беллевой, для них это была запоздалая дань благодарности своему соотечественнику и земляку. Несколько лет назад сама мысль о подобной конференции и выставке искусства рубежа веков показалась бы нереальной, но время позволило распечатать и достать из запасников Урала, Москвы, Ленинграда, частных коллекций холсты нетрадиционных художников, собрать их вместе под одной крышей так же, как это делал Дягилев.

Один из устроителей Дягилевских чтений, доцент Уральского университета С. В. Голынец, осуществил свою давнюю мечту организовать подобную выставку, созвать искусствоведов страны, открыть памятный рельеф на доме, где жил Дягилев.

Родившись в Новгородской губернии, Сергей девять лет от роду приехал с родителями в Приуралье, здесь сформировались его художественные вкусы, отсюда 18-летним юношей отправился он в Петербург. О детских и отроческих его годах известно крайне мало. А вот экспозиция выставки с довольно размахистым и озорным названием «Пермь — Петербург — Париж» дает представление о том, как воспитывался и чем увлекался Дягилев.

Дом Дягилевых, сохранившийся до сих пор, когда-то был центром культурной жизни Перми. Дядя Сергея организовал первый музыкальный кружок в городе, в доме отца нередко собирались артисты, ставились любительские спектакли, в них играл и юный Сережа. Трогательные, написанные детской рукой афиши домашних спектаклей сменяются официальной концертной программой Марининской гимназии: Сергей Дягилев выступает со своим первым сочинением — либретто к опере «Борис Годунов», а в ученическом квартете исполняет произведения Шумана и Даргомыжского.

На малоизвестном портрете работы К. Сомова отражена та жажда одухотворенной деятельности и благородных устремлений, которая привела юношу в столицу. Именно таким он уехал из Перми и окупился в петербургскую жизнь: занятия на юридическом факультете университета, уроки пения у Котоньи и композиции у Римского-Корсакова, работа помощником директора императорских театров — все это было хорошей жизненной школой, но не призванием Дягилева.

Только сближение с художественным кружком А. Бенуа, увлечение живописью помогло ему определиться. Критические выступления на страницах «Новостей и Биржевой газеты» принесли Дягилеву славу блестящего полемиста, нападавшего на академизм и рутину: «Новое поколение приходит со своими требованиями, и оно пробует и скажет свое слово...» Петербург сильно отстал от художественной жизни Москвы. В Москве — абрамцевский кружок художников, разрабатывающий принципы синтеза искусств, модернистские декорации Врубеля и Коровина к спектаклям Большого театра, Третьяковская галерея, где выставлены современные художники; в Петербурге — господство устаревшей академической школы и отсутствие яркой выставочной деятельности: «Мы представляемся в Европе чем-то устаревшим и заснувшим на отживших традициях...»

К 25 годам у Дягилева уже выработана четкая эстетическая программа путей обновления искусства: «...есть

группа рассыпанных по разным городам молодых художников, которые, собранные вместе, могли бы доказать, что русское искусство свежо, оригинально и может внести много нового в историю искусства...»

Увлеченный этой идеей, Дягилев устраивает в 1898 г. русско-финляндскую выставку, где петербуржцы познакомились с западным искусством и впервые с молодой московской школой: А. Васнецовым, Серовым, Коровым, Нестеровым, Левитаном. Влияние москвичей позже скажется на графике столичных художников, которые от изображения мрачного индустриального Петербурга перейдут к поэтизации города и его архитектуры (Добужинский, Остроумова).

В этом же году Дягилев создает первый в России журнал художественной интеллигенции «Мир искусства» и организует ежегодные выставки под тем же названием от имени журнала. Все, что было в ту пору молодым и талантливым, сплотилось вокруг Дягилева. Выставки объединения стали открытием нового искусства: привычный описательный ряд сменился живой пластической экспрессией, свежестью красок и изысканностью колорита. Ошеломленные современники Дягилева с удивлением и гордостью читали отзывы западных корреспондентов: «...на берегах Невы существует не только хорошая музыка и не одна русская литература... но там пишутся также хорошие картины...» В организации выставок сказались творческие убеждения Дягилева в том, что выставка, как поэма, должна объединяться внутренним смыслом, иметь цельность и систему. Даже цветовое оформление павильонов заранее тщательно разрабатывалось.

Поистине с той же продуманностью в 10 залах Пермской галереи размещена юбилейная выставка. Картины ранних «мирискусников» соседствуют с графикой, книжными иллюстрациями, эскизами декораций и костюмов и дягилевским спектаклем. Портреты творческой интеллигенции, модные в то время, представлены работами Бакста, Сомова, Серова, Головина. Позже многие из них отойдут от жанра портрета, но не утратят интереса к раскрытию психологической характеристики образа. Кустодиев, близкий по своей стилистике к «мирискусникам», разрабатывал новую форму портрета-картины. На этюде к знаменитому портрету Шаляпина — дочери артиста Марфа и Мария. Этот кустодиевский портрет Шаляпина особенно любил и, несмотря на размеры, повсюду возил с собой.

Театральность и зрелищность были присущи работам Головина. Восхищенный ими, Дягилев писал: «Особенная сочная гамма красок — большое удовольствие для глаз. Он слишком индивидуален. Есть очаровательность в его импровизаторстве». Впоследствии Головин стал одним из декораторов дягилевских постановок.

«Весенний ветер» Грабаря, «Аллея» и «Автопортрет» Борисова-Мусатова — собственность Пермской галереи — напоминают о последней выставке «Мира искусства» при Дягилеве в 1906 г. На ней были показаны молодые, еще не известные живописцы, в судьбах которых Сергей Павлович принимал деятельное участие: Малевич, Анисфельд, основатели теории лучизма Гончарова и Ларионов. Картины Борисова-Мусатова, собранные Дягилевым после его смерти, заставили говорить о художнике весь Петербург. В «Автопортрете» тонкое световое изящество и переливчатость красок, но неожиданно для этого художника отсутствие романтичности.

Обладая поразительным чутьем на таланты, Дягилев вывел на авансцену художников, которые вдохнули новую жизнь в русское изобразительное искусство.

Охладев к выставочной деятельности, он, как всегда, страстно бросается на завоевание Европы. Постановка оперы «Борис Годунов» с Шаляпиным в главной роли и балета «Павильон Армиды» с декорациями Бенуа потрясла парижскую публику: «Русские вновь демонстрируют свое отчаянное новаторство».

Все достижения «мирискусников» были использованы в оформлении дягилевских спектаклей. Костюмы и декорации были не просто фоном, они подчеркивали и усиливали экспрессию танца и музыки. Художники, балетмейстеры, композиторы совместно работали над созданием единой цветовой гаммы произведений.

Но познакомить русских со своим балетом Дягилеву не удалось: царское правительство отказалось предоставить сцену для его труппы. Не суждено ему было вернуться и в Советскую Россию, искренний интерес к которой был естествен для этой живой и динамичной природы. В 1929 г. он неожиданно умер в Венеции от заражения крови.

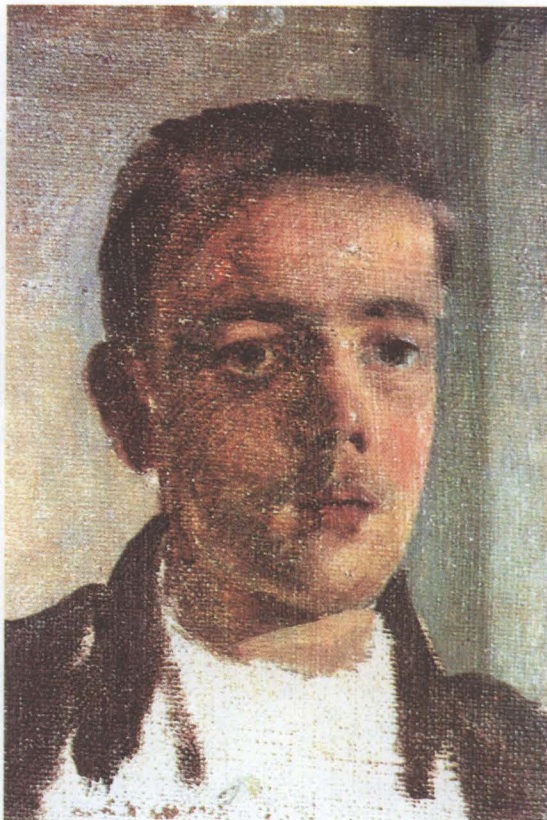
Его уничтожительные слова в свой адрес — «живописец без картин, писатель без собраний, музыкант без композиций» — оказались поспешными и несправедливыми. М. Нестеров, узнав о кончине Дягилева, писал: «Богата русская земля, даровит наш народ, Сергей Павлович Дягилев был живым его воплощением».

Имя Дягилева связано со многими городами мира: с Парижем, где площадь недалеко от театра «Grand Opera» названа «Place Diaghilev», с Монте-Карло, где ему установлен памятник, с Венецией, Нью-Йорком, Берлином, Лондоном...

Пермская галерея сложила свой достойный венок его памяти.

ПО ЗАЛАМ ВЫСТАВКИ
«СЕРГЕЙ ДЯГИЛЕВ
И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
КОНЦА XIX—НАЧАЛА XX ВЕКА»

Пермская художественная
галерея. Май. 1987 г.



М. ЛАРИОНОВ 1881—1964 гг.
Улица в провинции.

К. СОМОВ. 1869—1939 гг.
Портрет С. П. Дягилева





М. ДОВУЖИНСКИЙ.
1875—1957 гг.
Петербургский пейзаж.



К. СОМОВ
1869—1939 гг.
Портрет М. Д. Карповой.



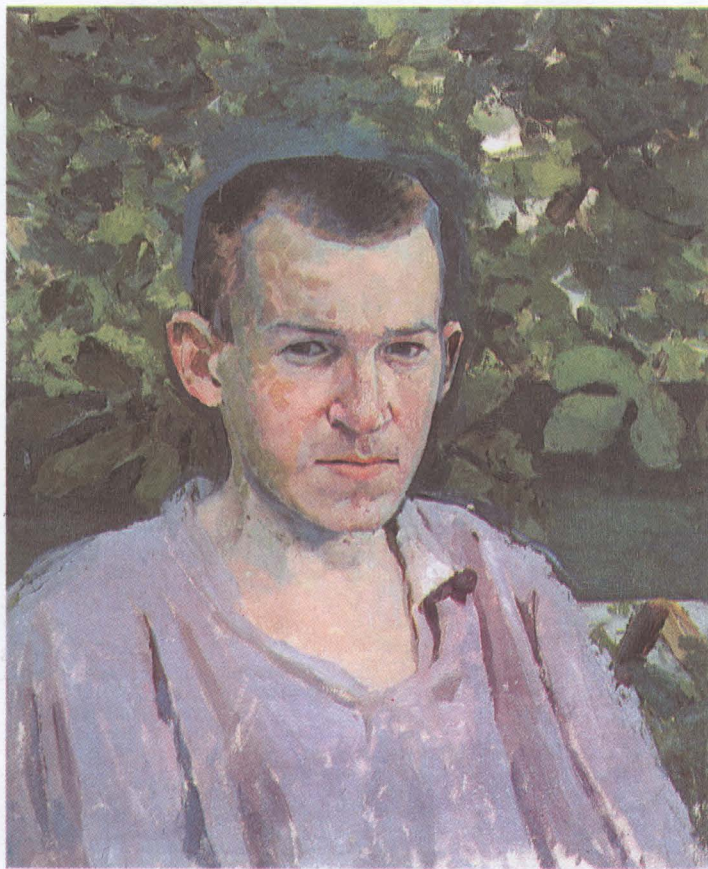
Б. КУСТОДИЕВ.
1878—1927 гг.
Портрет детей
Ф. Шаляпина.



Н. ГОНЧАРОВА. 1881—1962 гг.
Лучистые лилии.



Л. БАКСТ. 1866—1924 гг.
Эскиз костюмов к балету
Н. Черепнина «Нарцисс».



В. БОРИСОВ-МУСАТОВ
1870—1905 гг.
Автопортрет.



А. ГОЛОВИН 1863—1930 гг.
Портрет А. И. Люц.



И. ГРАБАРЬ
1871—1960 гг.
Свежий ветер.

Иосиф ГЕРАСИМОВ

СКАЧКА

Глава четвертая ДОРОГА НЕУДАЧ

1

Роман

В Третьякове как заладят дожди, то не меньше, чем на неделю. Говорят, началось это, когда порубили леса за заводом, ведь добрались и до отрогов гор, даже те деревья, что росли на склонах, повалили. На порубках разросся кустарник, а по низинам земля заболотилась, и оттуда поднимался дурманящий туман, цеплялся за голые острые вершины гор, собираясь в дождевые тучи, а они застилали небо, и поначалу моросило, а уж где-то на третий день начинало лить ровно и, казалось, так будет всегда. Тучи нависали низко и держались недвижно. Чаще всего дождь кончался ночью. Небо внезапно обнажалось, и в нем вспыхивали яркие, сильные звезды, а утром под солнцем быстро просыхали тротуары и мостовые, но где были колдобины, еще долго держались лужи.

В дожди Петр Петрович чувствовал себя худо, начинала ныть поясница, ломило в суставах и в груди — старая рана, — и, чтобы одолеть боль, не выказывать своего дурного настроения, он уходил в занятия: или читал журналы, которых выписывал немало, или делал заметки для будущих уроков. Давалось это ему нелегко.

Светлана позвонила ночью, когда он мучился бессонницей.

— Еду снова к вам, — сообщила она. — Взяла отпуск.

Он всю ночь промаялся, ожидая. Светка, Светка! Он редко видел ее, он многого не знал из того, что происходит с ней, в ней была своя тайна, не разгаданная им, такая же тайна была в ее матери Кате, она так и ушла из жизни, не понятая им до конца, хотя и была самым близким и самым дорогим ему человеком за всю его странную судьбину, и если он был когда-нибудь с кем-то по-настоящему счастлив, то только с Катей... Только с ней. И вот ведь что: Светка ныне старше своей матери; может, еще и потому в голове его иногда происходит путаница: он думает о Светке, а ему кажется — о Кате. Это недавно с ним началось: стало мниться, будто Катя и не покинула землю, а обернулась Светкой, ведь они были уж очень похожи, ну, только глаза у Светки не серые — зеленые, а так она и фигурой, и статью, и светлыми волосами с каштановыми разводами такая же, как мать, и привычки у нее те же — хотя бы вот проводить пальцами в задумчивости по щекам, и смеется она, как Катя, запрокидывая назад голову.

Ему редко снились сны, а может быть, он забывал о них, спал немного — пяти часов ему хватало, он засыпал быстро и пробуждался мгновенно — долгая мирная жизнь все же не избаловала его; привычный в молодости вскакивать с постели по команде, он пожизненно сохранил эту привычку. Его самого поднимало по утрам — будильник заводите не надо. Говорят, у стариков часто сны действуют на их расположение духа. В эту ночь ему приснилась Катя. Она шла в белой рубашке по лужам босая, но вода оставалась гладкой, круги не расходились от ее ступней, лил дождь, а волосы и одежда у Кати были сухи, она улыбалась, как всегда, краешками губ, только глаза у нее по-Светкиному зеленели, и вообще она обликом была настоящая Светка, но он точно знал: это Катя. Она подошла к нему, а он сидел в «виллисе», обняла его за шею и зашептала в ухо, чтобы он не томился, а жил, как живется, он не слышал ее слов, но понимал, что смысл их сводится к тому, что истинность человеческой отваги рождается лишь тогда, когда возможно безбоязненно взглянуть в глаза смерти. тому крайнему пределу, который поставлен всякому человеческому существованию. Стоит это сделать, тогда ощутишь себя свободным. А дождь все лил и лил, но струи его не трогали светлых Катиних волос, не попадали на щеки, и так было долго, может быть, целую вечность.

Рисунки
В. Мочалова

Окончание. Начало см. № 7 за 1987 г.

Он проснулся и удивился сну, потом вспомнил: именно эту мысль он сам высказывал Кате, когда лежал в госпитале и неизвестно было, поднимется ли он вообще, а Катя не отходила от его постели, как на нее ни ворчали врачи. Он знал, почему ему пришлось такое: ведь его вторая встреча с Катей и случилась на дороге. Она шла по лужам в кирзовых сапогах, с «сидором» за плечами, а он гнал на свой командный пункт, потому что через полтора часа должно было начаться наступление. Он думал о нем, высчитывал, все ли у них в дивизии готово. И все же он увидел ее. «Виллис» чуть не окатил Катю с ног до головы, и она крикнула: «Да что вы, поаккуратней не можете!» Тогда он тронул за руку шофера, и тот мгновенно остановился. Он ведь сразу узнал эту самую телефонистку Крылову, которая заставила его ползти на брюхе к передовым траншеям, он и фамилию вспомнил мгновенно, рассмеялся, спросил:

— Ты куда, Крылова?

— Я в Москву, товарищ генерал. Отвоевалась.

— Из госпитала, что ли?

— Ну!

— Ну да ну! — засмеялся он. — Салазки гну. Полежай в машину. Воевать поедем.

— Воевать так воевать, — рассмеялась и она.

Адъютант отворил дверцу, помог ей забраться в машину. Найдя обернувшись и увидев совсем близко ее лицо, побледневшее, но открытое, обращенное в бесхитростности к нему, и сразу смутился, потому как не ожидал такого доверчивого, точно у ребенка, взгляда, а он-то знал, как туго женщины на войне, как грубеют они здесь, как все им становится ни почем, но у этой и лихость была какая-то девичья. Он выдвигал раньше в заводском поселке таких, что покрепче пацанов лазили по заборам, плавали в студеной воде туда, куда не каждый из добрых мужиков доберется.

— Тебя сильно зацепило? — спросил он.

— Не так, чтобы очень. Навылет ногу пробило, но ни кость, ни связки не задело. Ну, и осколочек в подреберье. Говорят, с ним жить можно.

— Ну, так живи. Побудешь у меня на командном? Ты ведь по связи молодец.

— Ну, если вы просите. Другому бы отказала, а вам...

— Откуда же ты знаешь, какой я?

— Знаю, — сказала она уверенно. — Видела и слышала.

Он не обращал внимания ни на адъютанта, ни на шофера, да они и не существовали сейчас — только она, с серыми открытыми глазами и мягкой улыбкой на губах. Они ехали лесом, мрачным и влажным, на дороге валялись раздавленные еловые ветви, среди деревьев шло мельтешение, кое-где горели кусты, артиллеристы возились подле орудий, а впереди урчал, охал и стонал передний край, словно корчился в ожидании неминуемой схватки. Он подумал: вот через час с небольшим рвать немецкую оборону, все для этого готово. Но его что-то мучило еще ночью, все казалось — надо двигать главные силы не на станцию, а на городок, что северо-западной, а сейчас ясно увидел: нет, все правильно, и начальник штаба прав, и командиры полков. Надо ударить по станции, отрезать ее от городка, а его обойти слева, и один полк с танками кинуть к реке, тогда городок окажется в кольце, так и потерь будет меньше, намного меньше. Он обрадовался, что сомнения его развеялись, и сразу пришла твердая убежденность в удаче.

Они прибыли на командный — его соорудили на холме, с которого хорошо проглядывались поле, влажное после дождей, траншеи, в туманной дали под низким серым небом крохотная станция, а правее — острый шпиль городского собора. Едва он вошел в просторную ячейку, забранную бревнами, где стояли две стереотрубы и был сооружен деревянный столик для карты, то забыл о Кате, обо всем на свете забыл. Теперь надо было ждать команды из корпуса, а перед тем проверить готовность. Он никогда не кричал по телефону и терпеть не мог, когда это делал кто-нибудь из подчиненных или стоящих над ним. Он

свято верил, что только спокойный, без всякой нервной взвинченности тон может верно донести мысль командира. Крик — свидетельство неуверенности, а она сразу передается подчиненным и может обернуться трагедией. Настоящий бой возможен, когда нет и малой доли колебаний, все должно быть устремлено на главное, тогда и неожиданности — а их не избежать — не застанут врасплох. Он забыл о Кате, погрузился во все то, что происходило: гул артподготовки, бесконечные доклады. Он почти не отрывался от стереотрубы, все нервные нити боя завязывались в единый узел в его душе. Да, он забыл о Кате, но потом ему казалось — все время чувствовал ее рядом с собой, даже, скорее всего, она была частью его самого, и потому так споро двигалось дело, и уже через два часа окружение городка завершилось, два полка двинулись дальше, все набирая и набирая темп, а к вечеру прошли километров пятнадцать, пока не уперлись в новую оборону.

И снова они ехали в «виллисе», Катя сидела в нем вместе с адъютантом, их привезли в каменную мызу — тут определили штаб дивизии.

Сколько он ни пытался вспомнить, как очутился с ней после ужина в комнате, где стояла старинная деревянная мебель, широкая кровать с резными амуриками, так и не смог, и Катю спрашивал, но и она объяснить не могла. Это было как наваждение, он, еще разгоряченный удачей боя, кинулся к ней, целовал яростно, и она обнимала его, и, когда все свершилось, пришла трезвость, он ахнул от удивления:

— Да ты что?.. Девка?

— Ага, — сказала она и улыбнулась. — Была.

Она сидела, стыдливо загородившись от него желтой простыней, но смотрела прямо, безбоязненно, и он засмущался ее взглядом.

— Да как же это так? — растерянно проговорил он.

— А так, — ответила она, и в словах ее прозвучал вызов.

— Так что же ты?..

— Это вы про что?

А он и сам не знал, про что, уж очень давно у него не было женщины, жил, как монах, знал, другие командиры заводили себе временных жен, так и называлось — ППЖ, что значило: походно-полевая жена, — в слово это вкладывали разный смысл, кто уважительный, а кто и презрительный. Всякая жизнь была на войне.

— Вы отвернитесь, — сказала она. — Я сейчас... Там ванна, кажется, — кивнула она на дверь.

Он отвернулся, слышал, как она босиком прошла по полу, как тихо скрипнула дверь, и сделалось ему неловко, нехорошо, будто обидел ребенка, непоправимо обидел. Он еще помнил ее гладкое, покрытое мягким пушковым телом, хрупкое, с вмятиной от раны на ноге, помнил свежесть ее дыхания и подумал странно: «Да она же мне сейчас родная». Он не слышал, как она вернулась, как шмыгнула под одеяло, и, когда обернулся к ней, словно пытаясь защитить от чего-то, крепко прижал, снова поцеловал, она в ответ ласково провела по его щеке.

— Что же ты со мной пошла, дурочка?

— Понравилась, и пошла. Давно понравились, не сегодня. Я про вас многое знаю.

— Откуда же?

— Да ведь по дивизии говорят. Ну, и сама видела... Это вы меня не замечали.

— Ну, почему же? Тогда, на командном пункте, заметил.

— Это опять же я вас заметила, — засмеялась она.

— Ты сколько на войне?

— Полтора годика.

— Как же тебя мужики-то обошли?

— А меня боялись, — просто сказала она. — Знают: если силой, то я и убить могу... А так... Ну, никто мне не пришелся. Сама не знаю — почему. У меня и в школе так было. Меня мальчишки боялись.

Дом содрогнулся от сильного разрыва, зазвенели разбитые стекла, за окнами надрывно кричали, потом еще раз ударило, и с потолка посыпалась известка. Катя даже не вздрогнула, лежала у него под ру-

кой, ласково терлась щекой о его плечо. За окном ругались, кричали, может быть, кто-нибудь и заглядывал в их комнату, но потревожить не посмел, да ему наплевать было на все. Вздвигнутый, взбешенный войною осенний мир, погибающий под грохотом моторов, буксующих в темноте на разбитых дорогах, весь этот мир с походными кухнями, танками, самоходками, пехотой, укрывшийся плащ-палатками от дождя, окружал их, не боявшихся никакой угрозы смерти, а так как она бушевала вокруг, беспорядочно разворачивая землю, охватывая пламенем дома, вонзаясь раскаленными осколками в человеческие тела, близость двоих, так странно и неожиданно нашедших друг друга, становилась еще острее.

Когда рассветало, она поцеловала его и сказала:

— Ну, вот, и кончилось все... Мне домой надо.

— Кто же тебя отпустит?

— А меня ведь списали... Долечиваться буду в Москве, потом — учиться.

— Ты ничего не поняла, дурочка, — сказал он. — Мы сегодня поженились. А разве жена может бросить мужа?

Она осталась с ним, она была всегда рядом, и хоть в той жизни не виделось просвета, спать и то приходилось иногда два-три часа, а все же находилось время — бог весть откуда оно бралось, — чтобы поболтать с Катей. Ему всегда было с ней интересно, а говорила она более всего о любви. Это сейчас может показаться странным, но ему нравилось, как она говорила: любовь всегда делает ставку на будущее — это, мол, не однажды данное, а то, что способно творить. Слепое преклонение — это не любовь, а рабство, оно даже может быть добровольным, но все равно останется рабством, а любовь строит, вернее, из нее создают будущее — потому-то один всегда может даже пожертвовать собой ради другого во имя еще одной жизни, что возникнет, как творение их любви, утверждающей бескорыстное единение. Он уже не помнит сейчас ее слов, повторяемых не раз, а только мысли, которые они выражали, помнит, потому что все, что она говорила, подкрепилось ее судьбой.

Она вовсе не была покорной женой, и, если ей иногда что-нибудь взбредало в голову, переупрямить ее было нельзя. Он это быстро понял, и, если она говорила: «Я сегодня с тобой», — а ему нужно было проскочить на передний край, на наблюдательный пункт какого-нибудь батальона, потому что он любил все увидеть своими глазами, он не перечил ей, соглашался, и она моталась за ним, хотя зима в Прибалтике стояла гнилая, часто шел снег с дождем. Он знал: ее разведки с ним не всем нравились, но старался этого не замечать.

Они стояли в обороне, хотя уж начался сорок пятый, готовили удар, и в это время прибыл к ним полный краснощекий полковник, у него были свои полномочия, и довольно серьезные. Он сказал Найдину:

— Поговорить надо.

Землянка комдива была довольно просторна, вырыли ее за стеной каменного коровника, сюда затащили кресло, несколько стульев, даже письменный стол. У полковника топорщились пегие усы, нос был картошкой, неприятные желтые зубы. Он вынул из планшетки бумагу, сказал:

— Вот что, товарищ Найдин, тут на тебя несколько рапортов. Это неважно, чьи... Пример офицерам не очень хороший подаешь. Возишь с собой женщину. Как это понимать?

— А как надо понимать? — спросил он.

— А так надо, — надулся полковник, — чтобы никаких аморалок не было.

— У тебя жена есть? — спросил Найдин.

— Ну, есть, — ответил полковник.

— Вот, — кивнул Найдин. — Твоя в тылу по аттестату харчуетса, а моя со мной. Бросать меня не хочет. Так это, что же, нынче аморальным считается?

Полковник усмехнулся, покачал головой:

— У меня, товарищ Найдин, законная. То, что ты холостой, — это, конечно, нам известно. Известно и почему брак не оформляешь. Не было бы тебе на это разрешения... Мы справки навели. Катерина Ва-

сильевна Крылова — по анкете человек не очень чистый. Отец ее в тридцать восьмом... Обвинен в саботаже. Хоть известный инженер, однако же на британской земле стажировался и имел связи. А у нас нынче сорок пятый. Вот-вот конец войне. Мне поручили предупреждение тебе сделать, чтобы ты с этой женщиной кончал. В общем, сам понимать должен.

Он знал, что если даст себе сейчас волю, то может этого полковника и пристрелить, но он зажал себя, проговорил негромко:

— У нее, между прочим, два ранения. И медаль «За отвагу» имеется. Не я представлял, до меня получила. Она связисткой под самый огонь совалась. А ты где, полковник, войну просидел?

Тот хмыкнул, почесал усы, ответил:

— Не беспокойся, товарищ Найдин, не в кустах отсиживался. А героиню ты мне из Крыловой не строй. Сейчас везде таких героинь...

Он не дал ему договорить, потому что тут же сообразил: если сорвется, то и в самом деле потом произойдет то, что уж ничем никогда не поправишь. Он ведь все про Катю знал, она сама ему рассказала: и как ночью пришли за отцом, и как любила она его, и сейчас верит — он был честным человеком. Она на войну пошла и лезла в самое пекло, чтобы люди поняли — нет в ней никакой озлобленности.

— Вот что, мордатый, — тихо, сжав зубы, сказал Найдин, — мотай отсюда, а то кликну охрану и в подвал запру, да еще велю дерьмом коровным твою ряху вымазать. — И крикнул резко: — Пшел!

Полковник, однако, был спокоен, встал, закрыл планшетку, сказал:

— Мое дело было предупредить. А об разговоре нашем — рапорт подам. Уж не обессудь.

Сказал, как железными челюстями лягнул — такая угроза была в его словах. Найдин тут же крикнул адъютанта, тот возник сразу.

— Проводите-ка полковника. Да поживее, чтоб им и не пахло здесь.

О разговоре этом он, конечно же, Кате ничего не сказал, да и постарался забыть. Так и не знает до сих пор, написал ли на него полковник, да и жив ли остался, потому что в тот же день немцы кинулись на прорыв, начались жестокие бои...

И это надо было так случиться: война уж кончилась, неожиданной жарой обрушился май, дивизия сворачивалась, добывая отдельные группки. Они ехали веселые в «виллисе», сейчас и не помнит, куда и зачем, как дали по ним из пулемета, наверное, бандиты стреляли из перелеска. Катю легко зацепило, а его... Он лежал в госпитале в Риге, лежал долго, дважды его оперировали. Потом Катя рассказывала: врачи думали, с ним конец, но она была все время рядом, она жила прямо тут, в палате, никто не мог ее выдворить, и он, приходя в себя, видел ее серые глаза, и в них открывалась ему даль, зовущая к жизни, и он не столько умом, сколько душой чувствовал — все равно выберется, все равно одолеет хворобу, хотя бы для того, чтобы быть все время с Катей, ничего другого ему и не нужно было.

А потом... Много чего было потом, хотя прожили они вместе всего шесть лет, но это была настоящая жизнь. Даже когда он лечился на море, они читали, спорили, они вместе искали ответы на многое из того, что было непонятно и загадочно. И в Москве... Но лучших дней, чем в Третьякове, он не помнит. Как же славно им тут было! Если прикинуть все как следует, то они и отошли от войны по-настоящему здесь, в этом доме. И Катя расцвела, налилась настоящей женственностью... Как им было тут хорошо! Но случилось то, что она словно бы предугадала еще в военные дни. Родила она Светлану и всю себя будто отдала ей. Неужто было кому-то нужно, чтобы ценой жизни своей она явила на свет другую, во многом подобную себе?

Светлана приехала под вечер, стала рассказывать о встрече с Антоном. Найдин слушал, потирая щеки, то поскрипывая пальцами, зажимая их в замок, по-

качивал головой, говорил: мол, ведь копали следственные органы, у них опыт, рыжий белорукий следователь Фетев хоть и был ему неприятен, но все же он профессионал, разве Светлана, да и Петр Петрович способны тягаться с ним? Ведь у Фетева были помощники, он вытащил на свет божий самых неожиданных свидетелей, да и Урсул признался, а то, что Антон от всего отрекся,— это суд во внимание не принял.

Правильно, соглашалась Светлана, правильно, но она в науке привыкла проверять все сама, и, если уж решилась это сделать ныне, приехала сюда, то отец обязан ей помочь. Надо начать со свидетелей, пусть они снова расскажут, как это было, не перед судом, а ей самой, только пусть расскажут всю правду. Не каждый из них на это пойдет, ради Светланы, может быть, и никто не пойдет, но ради Петра Петровича Найдина... Ну, почему бы не попробовать, отец?! Да, конечно, она знает, как Найдин доверяет официальным лицам, особенно в таком деле, как суд, в нем это от армейской жизни... Но ведь надо только проверить. Если убедятся, что суд был праведный, что все произошло на самом деле, как это написано в приговоре, они отступятся, смирятся с тем, что Антон — преступник, и им придется лишь ждать и надеяться, что его отпустят досрочно, и верить: он не сломается за годы унижения. Но если они не попробуют отыскать истину, то сами себе не простят, ведь сомнения окончательно утвердились тогда, в таежном поселке, в комнате, окрашенной в серое, когда Антон шептал: не верь никому... не верь... Ты же знаешь, отец, Антона, разве он мог бы поклясться ей в неправде?

Ну что ж, согласился он, все бывает, не среди ангелов живем, он это понимает, но... у него нет опыта в таких делах. А она сказала: опыт есть, отец только сам не замечает, какой у него богатый опыт, ведь столько лет жители Третьякова и его окрестностей несли ему свои горести, он копался в них, невольно отличая правду от лжи, чтобы суметь помочь безвинно обиженным. Они привыкли верить в него, эти люди, а среди них были и такие, которых покрепче сворачивали, чем Антона, пусть дело и не доходило до суда, но чтобы перебить хребет человеку, порой хватает и дурного слова. Сколько же такого навидался отец?

— Ты что, не хочешь мне помочь?

Может быть, зря она так резко, ведь отец тоже не любил, когда на него давили, он словно бы и не обратил внимания на ее тон, сказал, стараясь быть спокойным:

— Я говорил с Зигмундом Лосем. Ты знаешь. Он ведь областной прокурор... Я и раньше к нему...

Да, она знала этого старого отцовского приятеля, знала, какая тяжкая доля в свое время ему выпала, но почему-то совсем упустила из виду, что Лось занимает такой пост; пожалуй, потому, что в последние годы не помнила вообще о нем, да Лось в таком возрасте... Но ведь и другие служат, на еще более высоких постах. Однако же упоминание о Лосе насторожило Светлану. Она ждала. Отец прокашлялся, сказал скрипуче:

— Фетев-то у него сейчас замом. Да не в этом суть,— сам себя перебив, поморщился отец.— Лось то дело Антона напрасвет знает. Сказал твердо: в нем все верно. Все! И Антон...— Тут отец вскричал, как от боли:— Ну, что я могу поделать, коль Антон на соблазн пошел?!

— Не пошел! — сразу же вскинулась Светлана.

— Да разве мне Зигмунд врать будет, ну, сама посудите?

— А плевать я на него хотела! Не мог Антон! Не мог!

Отцу и в самом деле было больно, лицо его перекосилось, он прижал ладонь к щеке, потому что она дернулась в тике. Но то злое упрямство, что утвердилось в Светлане, перехватило дыхание, она мгновенно вдруг почувствовала: если поверит отцу, поверит Лосю, всему тому, что сейчас говорилось, то может отступиться, а если это произойдет, она сама себя зачеркнет. Такого четкого, ясного ощущения ей

еще не приходилось испытывать, и оно укрепило в ней решимость проверить все самой.

Она посмотрела на отца, как сидел он, словно усохший, сделавшийся сразу щуплым, и невольно вспоминала слова Сергея Кляпина об отце, что ныне он не более как «сухой мужичонка» и «толку от него — ну никакого»; когда говорил это Кляпин, она смолчала, ей надо было дать выговориться этому балаболу, потом слова забылись, а сейчас вспомнились, и Светлана уже окончательно рассвирепела.

— Ну и черт с вами! — закричала она.— Я сама... сама до всего докопаюсь. Антон тоже не из тех, кто врет. Может быть, он почестнее твоего Лося. А мне поклялся, самой жизнью, матерью, любовью, всем самым святым поклялся: не виновен!

Отец вскинул голову, хотел что-то сказать, но она не дала, грохнула тарелкой об пол:

— Да идите вы все!.. Я сказала: сама!

И прошла мимо прижавшейся к косяку Надежды Ивановны.

3

Светлана знала Александра Серафимовича Потеряева еще с тех пор, как росла в Третьякове, хотя тот и был лет на пять ее старше и жил в Поселке. Высокий, широкий в плечах, лицом хмурый, этим вообще отличались заводские, но когда он объявился у них в институте, этой хмурости как не бывало. Ему требовалась помощь, он задумал многое сделать на этом маленьком заводе, но денег у него не было, ученые могли ему помочь только бескорыстно, а это возможно, если плановые работы ученых как-то совпадут с замыслами Потеряева. Светлана свела Потеряева с теми, кто занят был прокаткой стали особых профилей, кое-кого Потеряев нашел в Свердловске. Однако же какое-то время она проверяла, как идет работа для Потеряева, и он ей был благодарен.

Начинать надо с него. Ведь Антон работал на подсобном при заводе. Она позвонила Потеряеву на завод, и, на ее счастье, он оказался в кабинете, обрадовался, услышав, что она в Третьякове, сказал: немедленно высылает машину.

Шофер вышел из серенькой, выдавшей вида «Волги», увидел Светлану на крыльце, снял кепочку, взмахнул ею, склонил седую голову:

— Старика Селиванова не узнала, небось?

— Господи! — ахнула она.

Этот самый Селиванов был водителем, когда она еще совсем девчонкой тут бегала.

— Все шоферишь?

— А что, баранку крутим. Трех директоров, считай, пережил, а колеса вертятся.

— Что же, хмыкнула она,— ты свою жизнь по директорам меряешь? Другие вон — по годам.

— А про года, Светлана Петровна, забывать надо,— весело сказал шофер. Он улыбался, и было видно, какой у него еще крепкий строй зубов, да сам он был хоть и низкорослый, худенький, но заметно — еще силен.— Года, они в общую Лету уходят, а директор каждый день под боком.

Он открыл дверцу перед Светланой, потом проворно бежал машину, сел на свое место и бережно, неторопливо тронул.

— Ну, живешь-то нормально? — спросила она.

— Да прилично,— кивнул Селиванов.— Сыновья благоустроены. Один в Свердловске, другой в Перми, младший здесь в прокатном шурует... Слыхала про прокатный-то? Ну, да ты, небось, про все слыхала, Потеряев-то у тебя в Москве бывал. Хорош цех. Нынче все туда. А что? Просторно, светло, вредности мало, и заработок имеется. Как новый цех, так туда народ и идет, а в старье кому охота копошиться? Из мартена вон бегут. Потеряев и то добывает, и другое. И привилегии всякие мартеновским, а все равно — бегут. Он, может, век стоит, а то и поболее, в нем что ни ковыряйся — все равно старье. Потому гиблый у нас завод. Мой старший, когда в Свердловск когти рвал, ор невозможный поднял. Да тут, мол, надо под все цеха взрывчатку, чтобы так ша-

рахнуло — кирпича бы не осталось... Что они понимают? Молодые-то? Как тут в войну горбатились, они понимают? Да и до войны... Вот хорошо, Потеряев прокатный сумел поставить, а то бы вся молодежь из Поселка дунула. У нас бои идут нынче крепкие. Это он тебе расскажет. Недавно я одного пузана из Москвы вез. Тот от Потеряева не в себе выскочил, весь путь до области пыхтел, все только одно повторял: у тебя директор сумасшедший. Я, Светлана Петровна, терпел, а как до аэропорта его доставил, не в силах был больше. Возьми да ляпни: это же надо, таких дураков в Москве держат! Я-то думал, если в Москве, то смекалистый. И что? Пузан этот вдруг говорит: может, вы, товарищ Селиванов, и правы, и директор ваш прав, только, говорит, никто такими заводами, как ваш, сейчас заниматься не будет, а есть внимание к крупным предприятиям, где быть настоящей металлургии. Вот о ней главная забота... Ну, ты скажи, почему у них обо всем забота, кроме как о каждой личности? Если тут люди два века шагают, детей растят и хотят в этой местности еще дальше род свой продолжить, почему о них никто и думать всерьез не желает? Мол, маленькие вы, а есть большие. На маленьких — тьфу! А большим наше с вами глубокое уважение. Да кто же это народ у нас на маленьких и больших поделил?..

Они остановились возле заводоуправления. Светлана поднялась на второй этаж. Едва зашла в приемную, как от распахнутых дверей кабинета зашагал, раскинув руки, Александр Серафимович. В его осанке, улыбке, во всей его могучей фигуре ощущалось хозяйское, хотя одет он был не в строгий костюм, а в широкую синюю куртку, без галстука, в клетчатой рубашке — эдакий вольный вид, но он еще более подчеркивал свободу этого человека, который мог так вот одетый явиться по вызову в райком, или срочно поехать в область, или встретить неожиданно нагрянувшего гостя, хоть из самой столицы.

— Ну, Светлана Петровна, — заговорил он, чуть ли не лучась от радости, — в какую же вы, однако, даму вырубались. Недаром говорят: третьяковские женщины — лучшие невесты в округе. Год не видел, а поди ж ты... Столицы наших не портят. Рад видеть вас. Добро пожаловать.

Ее рука утонула в его больших ладонях, он сразу ее отпустил, повел к кабинету.

— Чайку? — спросил он, едва вошли они в эту просторную комнату, светлую, широкую, с длинным, как водится, столом, укрытым зеленым сукном, и письменным большим, вокруг которого стояло множество приборов.

— Спасибо, Александр Серафимович, — сказала она. — Дома отчаевничала.

Она села к длинному столу, и Александр Серафимович сразу же опустился напротив нее, как на дипломатических переговорах.

Это показалось Светлане смешным, и она рассмеялась, ведь она помнила, как отец, когда Светлана была еще совсем девочкой, натаскивал длинного, худого, сопевшего от старательности Александра по математике, когда тот собрался поступать в политехнический институт, а потом, приезжая на каникулы, он наведывался к ним в дом и всегда робел перед Петром Петровичем, словно был его вечный ученик. Потому сразу перешла на «ты».

— Ну, что, Саша, воюешь? — сказала она простецки. — Говорят, московского начальника отсюда шуганул.

Потеряев взлохматил русые волосы, рассмеялся:

— Селиванов?.. Ну, ничего. Лишнего не проболяет. Только тебе вот. Да, наверное, с прицелом.

— Это почему же с прицелом? — удивилась Светлана.

— Считает, может, ты в Москве на кого даванешь. Здешные Москву как большой поселок воспринимают... Но, думаю, сами отобьемся.

— А что за история?

— Да давняя, Светочка, давняя... Мы еще лет пять назад прикинули: на кого бы нам поработать? Вообще в нашем деле об этом не размышляют. Работают

на свою отрасль, и баста. Ну, а нам пришла идея. Нужна сталь для электронной промышленности. Будущее-то за ней. А кто такую сталь дает? Раз-два и обчелся. Прикинули. И решили: сначала прокатный цех. Черт с ней, будем варить сталь в старых мартенах, а новую продукцию дадим. Вот тогда вокруг нас заводишки, выпускающие электронику, и закопошатся. Действовать через Госплан? Через наше министерство? Дело дохлое. Годы уйдут. А вот строительства прокатного цеха я добился. У нас, если по коридорам хорошо походишь, многого можно добиться. Дали нам прокатный, хотя и сами не знали для чего.

Потеряев откинулся на спинку стула и захохотал. И Светлана заулыбалась. Она представляла, как все это трудно было Потеряеву, ведь надо было обойти столько чиновников.

— Иногда наши бюрократы чем хороши? — продолжал он. — Они сами себя секут. Попадет в одну из бумаг такой-то цех, а дальше он уж, глядишь, и в других бумагах значится, а как он попал — никому выяснять нет охоты, да и нужды... Вот в чем фокус! Если на чиновника пойдешь войной, в любовную атаку — проиграешь. Одному с такой силой не совладать. А вот если чиновника облапошить так, чтобы он твою идею за свою выдал, — выиграешь, ну, непременно выиграешь. Отсюда вывод: с бюрократами не боремся, а ставим их себе на службу.

— Да ты пройдоха, Саша! — воскликнула Светлана. — Ишь, какой у тебя замысел был. А скрывал.

— Хо, — засмеялся Александр Серафимович, — да я и от себя его скрывал. Только кое-кто из вашего института да в Свердловске знали... Ну, а как начали прокатывать лист, я на один завод, на другой. Там директора — люди знающие. Такой лист для них — полный дефицит. Они — в Госплан. А наше министерство отвечает: мы такого не выпускаем. А им в нос суют — вот же, Третьяковский завод делает. Ну, скажи, Света, что бы настоящий хозяин сотворил? А настоящий бы хозяин вызвал Александра Серафимовича Потеряева и сказал: спасибо тебе, дорогой. Заводик у тебя небо коптил, в убыточных значился, а сейчас становится высокодоходным предприятием. И чтобы ты побольше нужной стали выпускал, мы тебе еще денег дадим. Так? А мне по шеем. Да крепко-накрепко. Я их подальше послал. Тогда замминистра прискочил. Посмотреть: что это за такой нахал в Третьякове проживает? Накинулся на меня: мол, к черту вашу электронику, вы о своей отрасли думайте! Вы металлург, а не электронщик. Тогда я ему и объяснил, что человек, эдак мыслящий, должен с руководящего поста лететь кверху тормашками, потому как задачка промышленности не понимает. И чтобы он не очень-то зарывался, показал ему письмо, которое я собственноручно на самый-самый верх написал. Вот он от меня, как ошпаренный, и рванул. Недавно звонок был, мол, меня на коллегию вызвать должны и за самовольство турнуть.

— Так что же веселишься?

— Да я же тебе сказал: на них в прямую атаку идти нельзя. Продуешься. Потому я давно обходный маневр предпринял и электронщиков известил обо всем. Сказал: не заступитесь — фигу с перцем получите, а не сталь. С ними нынче очень считаются. Они тоже от себя бумаги написали. И есть сведения, что вроде бы удар рассчитал правильно. А что это значит? А то! Мы Третьяковский завод не только спасем, но и на новый круг выведем. И, пожалуй, что скоро. Вот так.

— Занятно, — сказала Светлана. — На игру похоже. На дурную игру.

— Похоже, — сразу же согласился Потеряев, опять взлохматил русые волосы, и скулы его словно бы отяжелели, взгляд стал жестче. — И поймей в виду, Светлана Петровна, тут во многие игры приходится играть, да все потому, что не чиновники нынче для нас, а мы для них. Все мы по рукам, ногам опутаны и решить ничего не можем. А нужно... Очень нужно. Вот и играем. — Он метнул взгляд на Светлану, сказал еще строже: — Ну, я полагаю, ты не мои байки приехала слушать. А скорее всего про Анто-

на... Ну, так я тебе скажу — это все один клубок... Все один. Я Антона взял, потому что Синельник нам нужен был. Очень. Людей надо хорошо кормить. У нас в горячих цехах столовые круглосуточные, а у меня до Синельника руки не доходили. Антон его поставил. Крепко взялся. И столовые у нас отличные. И мясом стали рабочих снабжать. А ведь не только в районе, но и в области туго с ним. Вот, как видишь, завод у нас вроде бы свою самостоятельность стал обретать, хотя это тому же исполкому почему-то не нравилось. Им бы радоваться, что из Поселка люди перестали бежать, почувствовали — и тут жить и работать можно, а они, видишь ли, нахмурились. Мол, слишком независимы. А зачем нам, или, скажем, любому предприятию, или даже колхозу от кого-то зависимым надо быть? — И засмеялся, пропел: — Где нет свободы, там нет любви. Ну, ладно. Меня исполком не очень-то и волновал. Но тут они сами нам предложение сделали. Даже не они, а из области. Дело вроде бы простое. Мы не один год, как и другие, деньги в область даем на строительство дорог. Так водится, говорят: или сами стройте, или деньги давайте. А на Синельник дорога — дрянь. Она и дальше, в глубину района, — сквернее не придумаешь. Тогда и решили: давайте проложим новую. Кто откажется? В облдорстрое говорят: есть бригады. Из Молдавии. Там у них избыток рабочей силы. Заключайте договор, а деньги перечислим. За годы накопились. А эта бригада Урсула взялась за лето дорогу в Синельник проложить. Я дело Антону доверил. Он и заключил договор. Все законно. Ну, вот, заработала эта бригада за лето двести тысяч... Вроде бы черт знает сколько! Ну, а если бы мы сами эту дорогу вели — значительно больше бы заплатили, да и за лето никто ее не проложит. А эти молдаване — мастера. Конечно, от таких денег — а в бригаде двенадцать душ всего — весь Третьяков ахнул. Даже не слышали, чтобы столько можно было заработать. Опять же, говорю, все законно. Так бы и уехала бригада Урсула с миром, но тут в прокуратуру анонимка. Мол, Антон с бригады двадцать тысяч взял, потому и договор такой. Ну, а чем кончилось — знаешь. Я, Светлана, пороги все обил, Антона защищая, но защитить не смог. Денег-то у него этих не нашли... На книжке три тысячи было, но, говорят, он их из своих плаваний привез. Даже суд это подтвердил. Вот вся история. А что от меня знать хочешь — спрашивай.

Он встал, прошелся вдоль длинного стола, словно разминаясь. Светлана наблюдала за ним и думала: конечно же, Потеряев не так прост, как может с первого взгляда показаться, это он перед ней сейчас такой открытый — душа нараспашку, но для того, чтобы проделать все то, о чем он рассказал, и впрямь нужна далеко неординарная изворотливость. А может быть, не один он сейчас такой, может быть, вообще ныне директора заводов, если хотят чего-то добиться, ищут свои изощренные пути, как ищут их в той же науке, — ей ли это не знать... Но она приехала сюда ради Антона, и надо спрашивать о нем, она и спросила:

— А ты-то сам как считаешь: Антон эти двадцать тысяч взял?

Потеряев шагнул к ней, остановился напротив, ухватившись двумя руками за спинку стула, и ей показалось — дерево хрустнет под его крепкими пальцами. Ей невольно пришлось задрать вверх голову, чтобы увидеть его темные глаза, смотрящие строго.

— Не знаю, — твердо сказал он.

И это прозвучало хлестко, как удар. Сразу же она ощутила тошноту: так неожиданны были его слова, и ей понадобилось какое-то время, чтобы набрать воздуха и растерянно спросить:

— Это как... не знаешь?

Хотя она уже понимала: Потеряев допускает возможность, что Антон мог соблазниться деньгами.

— Ты считаешь... — проговорила она.

Но он перебил:

— Видишь ли, Светлана Петровна, я хочу, чтобы ты правильно поняла... Я сказал: «Не знаю». Это значит — ничего не могу с полной уверенностью утвер-

ждать. Я Антона не разгадал. Всего человека вообще, наверное, никогда не разгадаешь. Но в тех, с кем я работаю, хоть главное понять стремлюсь. А Антон... Я его не понял. И зачем ко мне пришел — не понял. И почему они с Трубицыным друг друга невзлюбили. Да тут много «почему»...

— Что еще? — спросила она, чувствуя: сейчас Потеряев может сказать нечто такое, что окончательно бросит тень на Антона.

— Круглова Вера Федоровна... — сказал Потеряев. — Ведь я ее знаю... Она женщина-мученица. ОНА ЛГАТЬ НЕ СТАНЕТ.

И в этих словах его прозвучала такая неожиданная горечь, что Светлана поняла: Потеряев и в самом деле был бы рад ее хоть как-то утешить, да не может. Что уж тут поделаешь?

4

Отец заперся у себя в комнате, и она не решилась зайти к нему; дома сидеть не хотелось, она быстро переоделась, выскочила на улицу, пошла плиточным тротуаром. На ней был синий пиджачок из тонкой кожи и вельветовые брюки, все-таки вечерело, и на воле сделалось прохладней. Она сама не заметила, как вышла к Третьяковскому обрыву. Здесь возле Думного камня собралось немало народу, стояли парами, в обнимку, или сидели на скамьях, на самом камне. Светлана прошла к парапету и, облокотившись на него, засмотрелась на открывшийся простор. Внизу горела расплавленной медью река, справа и слева она уходила за густые ветлы и потом вновь возникала, но уже иная, с синим отливом, словно огонь за этими ветлами остужался, а там, где она полыхала, вырастал прозрачный золотистый отсвет, он уходил вверх, в туман, и вся даль была укрыта этим розовым туманом, только на горизонте обозначался разрыв, в котором густо пылал солнечный диск. Светлана знала — это все ненадолго: солнце падет — и быстро поменяются краски, не будут такими яркими, а туман делается гуще, и она смотрела жадно в этот странный мир, отдающий первозданной дикостью творенья, из которого веяло густыми медовыми запахами.

Она не услышала за спиной шагов, только почувствовала прикосновение к плечу, и сразу же вкрадчивый голос проговорил:

— Светлана Петровна?.. Вот уж не ждал.

Она выпрямилась, оглянулась и увидела Владлена Трубицына в синем спортивном костюме фирмы «Adidas», в таких же синих кроссовках с тремя полосками. Он держал в руках большую спортивную сумку, из которой торчали рукоятки двух теннисных ракеток. Трубицын улыбался, он был свеж лицом, с хорошим, мягким загаром, с вмятиной на подбородке.

Он протягивал ей руку, и Светлана невольно протянула свою, он тут же склонился и поцеловал ее. Она знала — на них смотрят многие из тех, кто собрался у камня, но его, видимо, это не смущало.

— Рад вас видеть, рад, — проговорил он. — А я с корта... У нас вот тут рядом корты хорошие построили.

Она сразу же вспомнила, как он учил их, девченок, играть в теннис, из нее так и не вышло хорошего игрока, а он, видно, не изменил своему увлечению.

— Выдался свободный часок, прибежал.

Она знала — бежать ему было недалеко, потому что от Думного камня до особняка, где по старой традиции жили все председатели Третьяковского исполкома, рукой подать: вон видна каменная ограда, а за ней зеленая крыша.

— Не составите компанию? — спросил Трубицын.

— Ну, что же, — ответила она.

Он легко взял ее за локоть и повел в сторону своего дома.

— Признаться, уже наслышан о вашем приезде, — сказал он негромко. Был голос у него мягкий, чуть басовитый, он словно бы не звучал рядом, а вползал, достигая слуха, как это бывает, если играет за сте-

ной соседа приятная музыка — вроде и прислушиваться не хочется, а она заставляет. — Вот, говорят, вы и к Антону летали.

— Летала, — ответила она, понимая, что в его утверждении содержится вопрос, как, мол, там Антон.

Они дошли до каменной ограды, остановились подле высоких деревянных ворот, окрашенных в зеленое, в них была калитка, он отворил ее своим ключом, сказал:

— Заходите. Минут сорок у меня есть... Поболтаем.

Она вошла во двор, огляделась с любопытством — никогда здесь не бывала, вот ведь и от дома Найдных недалеко, а это место даже для коренных жителей словно бы запретное. Говорят, этот старый особняк был прежде поповский, зады двора его упирались в церковную ограду.

Трубицын открыл двери, сразу же крикнул:

— Люся, у нас гости! — и пропустил Светлану вперед.

Она вошла в полутемную комнату, довольно тесно заставленную золотистой мебелью, она узнала югославский гарнитур, бывший совсем недавно в моде, но оглядеться как следует не успела.

— Мы пройдем ко мне в кабинет, — сказал Трубицын.

Едва Светлана опустилась в кресло, как почти бесшумно вошла Люся, поставила поднос с кофейником, чашками и вазочкой печеня.

— Вы, Светочка, сами управитесь, — ласково пропела она и тут же вышла.

Пока Светлана наливала кофе Трубицыну и себе, все время ощущала, как он ее разглядывает, и это настораживало. Но стоило ей поднять глаза, взять чашку, чтобы сделать глоток, как он расплылся в улыбку, и у нее мелькнуло: а он, наверное, нравился женщинам, он и ей и ее подружкам когда-то нравился, сам ведь знает об этом прекрасно.

— Мне очень хочется, — сказал он, — чтобы у вас рассеялось недоброжелательство ко мне.

— А откуда вы взяли, что у меня оно есть?

— Чувствую, Светлана Петровна, очень хорошо чувствую.

Его шоколадные глаза смотрели насмешливо, но эта насмешка была не настолько явной, чтобы обидеть человека, а какой-то умудренной, что ли, даже нечто загадочно обещающей. Она мысленно улыбнулась, подумала: «Ну, это уж мы проходили». И ей сразу же стало легче, потому что сообразила — понимает его, а когда понимаешь, то вести разговор проще, любую недомолвку можно заполнить догадкой и почти при этом не ошибиться. Сейчас она ощущала: Трубицын насторожен, он не знает, что сказал ей Антон при свидании, не задел ли как-нибудь его... Вот это, пожалуй, более всего сейчас интересуется Владлена Федоровича.

— Понятно, — сказала она и тут же решила вести разговор напрямую: — Наверное, вам любопытно, как Антон?

Он сразу же оценил ее прямоту, едва заметно кивнул:

— И это, конечно же, и это...

— Колония, как вы догадываетесь, не место, где люди счастливы, — сказала она и сама почувствовала: слишком уж резко взяла, не надо бы так.

— Догадываюсь, — кивнул он.

— Ну, а для вас, Владлен Федорович, — сказала она, уже не в силах остановиться, — он добрых слов не нашел.

Он отпил из своей чашки небольшой глоток, вздохнул, показывая этим, что огорчен, снова сделал глоток.

— Что же, — сказал он. — Так вот вышло, Светлана Петровна... Так вышло... Я ведь Антона хорошо встретил. Думал, мы подружмся. Да к этому и шло. Однако же не получилось. Не моя вина...

— Его?

— Ну-у, — сложив губы трубочкой, протянул он, словно бы в задумчивости. — Я бы и этого не сказал. Просто разность взглядов обнаружила. Антон-то ведь к нам как бы с неба свалился. То есть, я хочу

сказать, он был оторван от земной, повседневной реальности. Я это потом понял... Понял, что когда человек долгое время живет в море, он многих наших перемен не ощущает, и ему мнится, что реальная жизнь такова, какой должна быть по всяким описаниям или, скажем, на экране. — Он хмыкнул, голос его набрал силу. — Вы понимаете, Светлана Петровна, я с некоторых пор очень ясно вижу — у нас два идеала существует. Один создан теоретически, и ему приписывают добродетели, какие должны быть в наш век. Эдакий гомункулус, выведенный в лабораториях алхимиков-моралистов. А вот сам народ, в повседневности, создает идеал другой. И ныне такой идеал — хозяйственный мужик, который не языком треплет, а дело делает... Мне с вами, Светлана Петровна, кривить нечего. Мы живем в такое время, когда многие ценности, которые нам в башку вбивали, обесценены, и обесценили их мы же сами, празднуя всякие юбилеи, толкая красивые речи, а дело у нас сорняками зарастает. Ну, Антон на того самого гомункулуса молился. Все хотел, чтобы было как в школьной хрестоматии. А быть так не могло... и не может. И если ты взялся за дело, то должен понимать его реальность. Я ему это пытался втолковать, а он решил: человек я нечистый, бес, и со мной лучше дел не иметь. Отсюда все и пошло.

— А куда пришло? К взятке, так?

Глаза Трубицына сделались печальны.

— К сожалению.

— Значит, вы верите, что Антон это сделал?.. Чтобы человек с неземными идеалами, как вы говорите, и вдруг такое?.. Ну, как это возможно?

Трубицын поставил чашку на столик, встал, сложил руки на груди, прошелся к письменному столу, что-то на нем поправил.

— Я сам в это не верил, — сказал он просто. — И пытался вмешаться. Но... работали следователи. И факты, что называется, возопили.

— И у вас есть объяснение его поступку?

— Пожалуй, что и есть, — кивнул согласно Трубицын, он снова сел на свое место и теперь прямо, открыто смотрел на Светлану. — Это, к сожалению, так бывает. Человек, долго пребывавший в понятии идеального, видя его полное несовпадение с реальностью, вдруг как бы бунтует. Для себя решает: а черт, если все вокруг нарушают, все что-то делают не так, как должно быть по-писаному, то и я... Вот и соблазнился. Ему дали, он и соблазнился... Ну, а такой осторожности, как у настоящего жулья, у него не было. И попался... Да не ко времени. Как раз борьба со взятками. Конечно, прокуратура сразу этим занялась. Ведь не мы, а областная, Светлана Петровна. Областная. Мне-то, что вы думаете, это тоже так просто сошло? Мне ведь тоже записали...

— И все же я не пойму: если вы Антона считаете чистым душой, верящим в идеалы, пусть даже не те, которые вам ближе, однако же в высокие идеалы, как же вы допускаете, что он сотворил такое?

Трубицын хмыкнул:

— Ну, вот видите, — усмехнулся он. — Суд-то ведь судит за деяние, а не за характер. В то же время, когда суд оправдывает кого-либо, оправдывает человека, но не его деяние. Вот такие парадоксы.

— Это да, — кивнула она, — это уж я не раз слышала. Когда люди запутываются, их спасает слово «диалектика».

Трубицын хохотнул, потер руки, сказал с оттенком восхищения:

— А вам не подставляйся...

— И не надо, — предупредила Светлана. — Только вы говорите, Антон не принимал реальности... А сами в абстрактные области полезли. Какой же реальности он не принимал?

— Ах, вот вы о чем, — кивнул Трубицын и протянул чашку. — Если вам не трудно, плесните мне горяченького...

Она взяла кофейник, склонилась и снова почувствовала, как он внимательно ее разглядывает, подумала: Трубицын не глуп, да и не прост он, достаточно умен и силен. Конечно, такой может нравиться не только женщинам, у него есть своя позиция, только Светлана не могла еще понять, какая именно.

— Вот хорошо. — Сделал он глоток с удовольствием, закинул ногу на ногу, синие спортивные штаны его натянулись на коленях. — Я примерно представляю, что говорил вам Антон обо мне. Примерно... Ну, скажем, что в Третьякове чуть ли не каждый день различные представители, то из области, а то и повыше, из министерств и других ведомств, и всех их надо ублажить. Приходится иногда и хорошее застолье делать. Иначе такой представитель тебя не поймет. Скажет: скверно в Третьякове встретили, зачем же я этому городу дам лишний лес, или кирпич, или кровельное железо, не говоря уже о технике, которая всегда в дефиците. И не даст. Будьте уверены, Светлана Петровна... Будьте уверены. И делаем стол. Денег своих исполком не имеет. Откуда ему взять? Просим. Колхозы, предприятия разные. С миру по нитке, приезжому — стол, — горько усмехнулся он. — А тут вдруг приезжий ляпнет: у тебя, Трубицын, на молокозаводе сгущенку прекрасную делают. Или еще что-нибудь такое. Значит, этому представителю — сувенир. Даем, Светлана Петровна, даем. А Антон мне: ты это кончай, ты, если что, давай в область к прокурору. Мол, вымогатель приехал... Можно, Светлана Петровна, и к прокурору. Но в реальности нашей — это глупость из глупостей. Ведомство, откуда этот представитель прибыл, вообще нам все к чертовой бабушке закроет, да еще другим шепнет: в Третьяков ничего не давайте и сами не наезжайте. Там председатель бешеный. Вот так. Видите, я вам на полной откровенности. И ведь не я один это делаю. Не для себя, для города. Я прошел хорошую журналистскую школу. Потом понял — нравоучения в газете не для меня. Ерунда все это. Хотя, надо вам сказать, журналистика — часть общественно-социальной жизни. Но только часть... А здесь, в Третьякове, я реальное творю. А район тут такой, что под стать иной области. И промышленность, и сельское хозяйство. Я обещал его из трясины вытащить. И вытащу. А со стороны чистоплюйски ох как легко смотреть да попрекать. А если ты взялся чистоту навести, то грязи не бойся...

Он не договорил, раздался телефонный звонок, он дотянулся до трубки, не вставая с дивана.

— Да, я, Митрофан Сергеевич... Да, сейчас подъеду.

Он нажал кнопку на настольной лампе, потому что в комнату вползали сумерки, и при этом свете ей показало — лицо его заострилось, появились полукружия под глазами. Может быть, и в самом деле он устал за их разговор.

— Старик наш звонит, — сказал он, поднимаясь. — Надо ехать. — И тут же крикнул: — Люся, вызови Сергея! Я уезжаю...

— Хорошо! — из глубин комнат отозвалась жена.

— По секрету скажу, — вздохнул Трубицын. — У старика — рак. Ему осталось...

Светлана поняла, что речь идет о секретаре райкома. Она уже наслушалась мимоходных всяких разговоров, что он плох, дни его сочтены.

— Надо ехать. Вот, привык чуть ли не по ночам вызывать... Вы уж извините, Светлана Петровна.

5

Петру Петровичу было тяжело, он не понимал, что происходит, и все его попытки вникнуть в сущность ссоры со Светланой не давались. «Наверное, совсем я плох стал. Чужой всем... Потому и тоска...» Ему не хотелось ссоры, ведь он так обрадовался приезду дочери...

Он позвонил Зигмунду Яновичу Лосю чуть свет, знал — тот не спит, и не ошибся. Лось снял трубку и Найдина узнал сразу, пусть они давно не виделись, но все же перезванивались. Услышав, о чем толкует Петр Петрович, рассвирепел, хотя тона не поменял:

— Я тебе, Петя, уже мозги по этому делу на место ставил. Ты не понял?.. Я бы и сына своего упек, если бы оказалось, что он на лапу берет.

Найдин знал: Лось и в самом деле такой, сына не пожалеет, но на этот раз и Петр Петрович рассердился:

— А может, и берет. Ты проверял? Он ведь у тебя в директорах. А ныне они разные.

Лось ответил неожиданно:

— А ты поезжай в Казахстан и проверь. Узнаешь: если Ленка берет, дай телеграмму... Мы что, с тобой на старости лет драться будем? — И сразу его голос сделался мягче. — Да пойми ты, лысая голова, если я по нынешним временам где-нибудь слабину дам, хоть по знакомству, меня тот же Фетев слопают и не утрется. Они, молодые, сейчас сноровистые.

— Так ты этого боишься?

— Нарушения закона боюсь, а не сопляков! Ты этого до нынешнего дня не понял?

Найдин, еще когда набирал номер Лося, догадывался: так вот и пойдет разговор или примерно так, но надо было попробовать ради Светланы. Лось — кремень, он должен быть таким, хорошей закалки человек, Петр Петрович уважал его, потому и сказал:

— Ладно, Зигмунд, не сердчай. Только... Если дочери понадобится с тобой встретиться — не отказывай.

— Не откажу, — твердо пообещал Лось.

Петр Петрович и в самом деле верил Зигмунду Яновичу.

Найдин командовал ротой, батальоном, полком и дивизией, знал, какой великий груз ложится на человека, поставленного над жизнями множества людей, и еще он знал: большинство решений приходится принимать быстро, и верность их возможна лишь тогда, когда в единый узел завязываются собственный опыт, знания и мышление, которому подвластна в этот миг действительность. Если этого нет, то больше ошибок, больше неудач, оборачивающихся порой трагедией, и потому-то самое тяжелое в искусстве командовать — быть не только в подчинении всеобщего замысла, а иметь и свой, без него ты лишь исполнитель, и, как каждый исполнитель, рано или поздно придешь к тупику или обрыву, за которым ничего уже нет, потому-то ничего хуже не бывает этого вот слепого исполнительства. Без своей выстраданной идеи нарушается в человеке чувство ориентирования. Лось отыскал свою идею давно, вернее, выстрадал и потому был убежден: верить можно лишь доказанному факту. А дело Антона он считал ясным... Что мог Найдин на это возразить?

Прокурор области — ранг высокий, да ведь и на этом месте многие зарывались, черт-те что творили, но Лось не мог, он был человеком идеи, сам ведь незаслуженно срок отбывал — это все свершалось когда-то на глазах Петра Петровича... Как же мог Найдин не верить Зигмунду? А вот Светка этого не поняла, скорее всего и не поймет никогда, если в башку ей что втемяшится... Ишь, чертовка какая, обучилась тарелки бить, обругала отца! Разве он не готов был ей помочь?

Весь день он делал в себе обиду, к обеду не вышел, а когда вечером неожиданно без стука отворилась дверь и на пороге возникла Светлана, сказала сурово: «Ну, хватит губы дуть!», — он обрадовался, включил настольную лампу, чтобы увидеть ее лицо. Она была бледна.

— Что ты хочешь? — спросил он.

— Хочу, чтобы мы с тобой побывали у Кругловой. Она тебя чтит, а мне одной трудно будет. — И вдруг чуть не вскрикнула: — Я не могу проиграть... Пони-маешь?

В Синельник выехали утром.

По обе стороны дороги раскинулись поля в густой зелени озими, и над ней трепетал воздух; он становился синим вдаль, и невозможно было обнаружить границу между зеленью и синевой — одно естественно переходило в другое. Над дорожным полотном стелилось марево, потому казалось — впереди лужи, хотя на самом деле было сухо.

Вот из-за этой самой дороги и разгорелся весь сыр-бор с Антоном... Петр Петрович помнил, как тут строили. Он раза три приезжал в Синельник, видел бригаду рабочих, видел, как они, крепкие, мускулистые, в рваных майках или худых рубашках, но в

шляпах, тут трудились — в чаду, не боясь жара, палящего солнца; у них был каток, был и самосвал, за рулем того и другого сидели люди из бригады, каждый из них умел водить эти машины и поэтому при необходимости мог подменить другого. Они приходили сюда чуть свет и заканчивали поздно вечером. Петр Петрович удивлялся их выносливости. Он и с этим самым Урсулом беседовал несколько раз; тот говорил медленно, перекачивая, как леденец во рту, мягкое «л»; лицо его состояло как бы из крупных блоков: прямой лоб, большой нос словно сливался с полными губами, всегда потрескавшимися, подбородок выдвинут. Из Урсула трудно было слова выдавить, да и другие отмалчивались. Петр Петрович наблюдал за ними, зачарованный четкостью их казалось бы неспешных, но точных движений, и восхищался, глядя, как вырастает полотно дороги. Это и была истинность труда человеческого, где все так обдуманно и рассчитано, что дело словно бы само по себе делалось. Конечно, правильно, что взяли бригаду приезжих — профессионалов, своих людей на это не отвлекли, да своих и не было...

Блеснула излучина реки, еще немного, и они вьедут на мост, а там, за рощицей, начнется усадьба подсобного хозяйства. Прежде чем выехать, Петр Петрович позвонил Кругловой, предупредил, что будет. Ему показалось — она сделала непротивительная с ним, долго молчала, может быть, даже хотела отказать в свидании, тогда он твердо спросил:

— Куда заехать: в контору или домой?

— Лучше домой, — сказала она, и Найдин услышал слабый вздох.

Они не доехали до бывшего дома управляющего, хотя колонны его уже были видны, остановились автобус. Возле зеленой калитки ждала их Вера Федоровна. Она была в белом отглаженном платке, лицо ее отливало румянцем, это Петр Петрович отметил про себя, подумал: наверное, все же Кругловым здесь неплохо живется.

— Здравствуй, Вера. Дочку-то мою знаешь?

Круглова поклонилась, ответила:

— Давно видела. Девочкой. — Но руки Светлане не подала, открыла калитку, сказала: — Проходите. Они двинулись по дорожке, выложенной плиткой, мимо грядки к крыльцу с балясинами по краям, крашенными в голубой цвет, и, пройдя сени, вошли в комнату. В ней было прибрано, отсвечивал тускло телевизор, диван застелен дешевым гобеленовым покрывалом, на столе — синяя ваза с полевыми цветами. Да, Вера Федоровна их ждала. Но не только она. Стоило ей сказать: «Садитесь, Петр Петрович», — как из соседней комнаты вышел Иван Иванович. Был он в чистой рубашке, застегнутой на все пуговицы под самое горло, посмотрел на пришедших хмуро, хотя и поклонился, и сел в углу на скрипнувший стул; правая рука обвисла беспомощно, а левую Иван Иванович положил на колено — она была темна, груба, как подошва.

— Молочка? — спросила Вера Федоровна.

— Можно, — согласно кивнул Петр Петрович.

— Меду?

— И медку можно.

Пока Вера Федоровна ставила на стол крынку с молоком, стаканы и миску с сотами, истекающими золотисто-желтым медом, Петр Петрович весело оглядывал то хозяйку, то хозяина и неожиданно громко сказал:

— А что это вы нас так?.. Словно мы вам грязи в дом нанесли? Ишь, нахмурились!

Вера Федоровна вздрогнула, что-то попыталась пролепетать, но Петр Петрович не дал, сказал:

— У тебя же, Вера, все на лице. И ты, Иван, сидишь, будто к тебе с обыском явились. Я ведь непричуждливый хозяин не люблю. Встанем вот сейчас со Светкой и уйдем.

Иван Иванович смутился, кашлянул, но тоже ничего внятного произнести не смог, пробормотал:

— Так ведь...

Но Петр Петрович уже отпил молока из стакана, зачерпнул ложкой меда и как ни в чем не бывало похвалил:

— Хорошо однако! — И тут же повернулся к Вере Федоровне, сказал: — Ну, вот что, матушка. Ты знаешь: на суде я не был, с сердцем валялся. И Надежда не была, и вот — Светлана... Так что ты уж, будь добра, поведай нам, что ты там говорила и какие на то были причины. По тебе, Иван, вижу: приезда вы нашего опасались. Так сразу хочу сказать — опасаться не надо. Я к вам, как и был, — со всей душой, так и остался.

— Да что вы, Петр Петрович, — махнула рукой Вера Федоровна, и глаза ее стали наполняться слезами, но она сумела себя побороть, сцепила пальцы рук так, что костяшки побелели. — Я знаю... Вы, Петр Петрович, со злом не придете.

Светлана посмотрела на нее и, видимо, желая помочь Кругловой, спросила:

— Вы что, видели, как Антон взятку брал? Сами видели?

Но Вера Федоровна не взглянула в сторону Светланы, будто дочь Найдина вообще для нее не существовала, она смотрела только на Петра Петровича.

— Я показала на суде то, что надо...

— Как это «надо»? — усмехнулся Петр Петрович. — На суде показывают, что видели или твердо знают. Вот про это Света и спрашивает.

Тут вмешался Иван Иванович; он резко встал, прошел к столу, сказал зло:

— Ты, Петр Петрович, генерал. А деньги когда-нибудь такие, как эти шибай получили, в руках держал? Ни хрена не держал! Вон Вера — бухгалтер и то эдакой суммы в наличности не имела. Я всю жизнь трубку, на самосвале ворочал, да и видел, как люди горбатятся, но чтобы такие деньги... Да кто их запросто так людям отдаст?

— Мы сейчас не об этом, — сказал Петр Петрович. — Это ты, Иван, в сторону уводишь. По закону они получили или не по закону? Суд посчитал — по закону. И твоя жена им эти деньги начисляла. Вот пусть она тебе скажет. Как?

— Законно, — кивнула Вера Федоровна.

— А я такого закона не признаю! — звился Иван Иванович. — Когда одним можно столько-то... А другие — гнутся, гнутся, по копеечке собирают. Ты сам мне пенсию чуть ли не за Христа ради отбил. Порядок?

— Утихомирься! — прикрикнул Найдин. — Не о том речь сейчас. Я видел, как те люди работали. Дорога заводу и району обошлась дешевле, чем положено. Платили по четыре рубля за квадратный метр, по государственному расчету все семь полагалось... Они мастера. А мастер должен хорошо получать. Да не против богатства, добытого человеческим трудом, надо воевать, а против бедности или против бездельных денег... Ну, это другой спор! И я не о тех людях сейчас пекусь, а об Антоне. Ты, Вера, что на него показала?

Она снова испуганно вскинула ресницы, словно едва сдержала слезы:

— Не одна я. Кляпин вот.

— Он-то тут как оказался?

— Трубицына в тот день не было, — ответил за жену Иван. — А Серега... Он не упустит, чтобы закалывать. Этот Урсул за такими деньгами приехал, как его не подвезти? Вот и прибыл Кляпин.

Найдин вздохнул, снова отпил молока, сказал:

— Ну, ладно, Кляпин так Кляпин. Ну, а ты все же как, Вера?

И тут Круглова не выдержала, она сжалась, словно боясь удара, и, как ни кусала губы, заплакала, сдернула с головы белую косынку, уткнула в нее лицо. Рыдания ее были тяжелы, со всхлипом. Иван быстро шагнул к ней, охватил здоровой рукой, прижал к себе, сказал Найдину с упреком:

— Ты что же, Петр Петрович, не знаешь?.. Она дважды из-за нервов в больнице лежала. Ты опять ее туда хочешь? Эх, Петр Петрович!

И такая пронзительная боль прозвучала в его словах, что Найдин не выдержал, отвернулся, сказал тихо:

— Ну, ладно... Живите... — И встал, кивнул Светлане, чтобы шла на выход.

Глава пятая ЛОВУШКА ДЛЯ ПРОСТАКОВ

1

Отец обратной дорогой переживал: не сумел себя правильно повести с Верой Федоровной, взял не тот тон, слишком уж крутой, требовательный, а с Кругловой, как с женщиной много пережившей, да еще с незарубцевавшейся душевной раной, вести разговор надо было совсем по-иному. Ведь она так и не дала прямого ответа: видела ли, как Антон взял деньги у Урсула, хотя на суде говорила твердо. Светлана вслушивалась в эти размышления отца и думала: вот и он почувствовал нечто неладное... Может быть, не надо спешить, глядишь — постепенно все прояснится.

Она понимала: с Сергеем Кляпиным разговор был бы бесполезным. Он легко вывернется, если его не припрешь фактами. А бригадир Урсул? Где он? Что с ним? Ведь Антон сказал: это мужик серьезный, но он заболел, уехал к себе, на суде было зачитано его письменное показание, да двое рабочих из бригады дорожников подтвердили, что собирали деньги, но и это Антон объяснял: в таких бригадах деньги всегда собирают на разные нужды, даже чтобы купить новый инструмент... Конечно, надо узнать, где этот самый Урсул, но если он у себя в Молдавии, то не ехать же туда... «Если надо, то поеду», — вдруг решила она.

Все как-то сплеталось, объединялось, но тут же и разваливалось. Она думала то о поездке к Кругловой, то о встрече с Трубицыным... Человек этот не прост: подчеркнутое спокойствие, уверенность в своей правоте, весомость каждого слова, открытость и даже вроде бы бесстрашие; он четко знает, как надо жить и во имя чего... Да-да, все это было в Трубицыне, потому он так спокойно, словно самый рядовой житель города, шел с ракеткой от теннисного корта; легко, под взглядами любопытных, повел ее к своему особняку, будто все, что скажут о нем эти самые любопытные, его не трогало; так ведь обычно себя не ведут районные начальники, да и повыше тоже, они любят изображать людей загадочных, всех держать в таинственном отдалении, а вот Трубицын... Нет, своей простецкой манерой он не мог ее сбить с толку. Пожалуй, она бы занялась раскопками здесь, но... была комната, окрашенная в серый цвет, были ласковые руки Антона, его губы рядом: «Я сам еще не могу понять, что случилось... Зачем я им понадобился?.. В Трубицына я не верю. Тут я все прокрутил. Ну, был у нас спор: мол, стыдно руководителю крохоборничать, брать со всех подавание. Но он ведь даже и не отрицал, что ему тащат, не отрицал, что и в область посылает. Мол, что поделаешь — продовольственные трудности, надо поддерживать руководство друг друга. Да и расходы большие на всякие представительства... Говорил: не им придумано, так уже нынче повелось повсеместно, а он от других отстать не может... Он, конечно, сволочь, но не такая, чтобы загнать меня в тюрьму. Да и зачем? Смысл? Боялся разоблачений? Чепуха! Таких разоблачений, о которых я говорю, теперь из мелкого начальства никто не боится. Вот если крупная игра... Конечно, я тут, в колонии, наслушался, как умеют прятать тех, кто шумит на всю округу, пишет в газеты, в Москву... Умеют прятать, целые системы для этого отработаны. Но я-то ведь не шумел. Не успел еще. Думал: вот построю дорогу, сделаем профилакторий, дадим возможность рабочим отдыхать, тогда уж можно будет и в атаку идти. А то какая же атака, если ты еще никто. Может быть, Светланка, я и не правильно рассуждал. Сейчас даже жалею. Все же попал бы сюда с твердым ощущением человека, пострадавшего за истину. А то... Нет, Трубицына я не подозреваю. Иной раз мне думается: надо искать причину моей беды не в каком-нибудь человеке, а в некоем обстоятельстве... Но до этого я еще не добрался. Помогите мне».

«Помогу», — твердо пообещала она.

И вот сейчас она пытается сдержать свое обещание, но пока из этого ничего не выходит... Но ведь все-таки кому-то понадобилось упрятать Антона в колонию, и сделали это так чисто, что все уверены: Антон — взяточник. А вот сейчас убеждают и ее в этом. Отец ссылается на Зигмунда Яновича. Да, конечно, Лося она знала с детства. А не поехать ли к нему, не взглянуть ли на этого железного старика, ведь у него в руках все нити дела Антона? Неважно, что он отказал отцу; может быть, ей не сумеет отказать...

2

Петр Петрович тоже в это время думал о Зигмунде Яновиче, и, если для Светланы нынешний прокурор области был лишь человеком, обремененным особой властью, от которого зависела судьба Антона, то для Петра Петровича этот самый Лось был частью его собственной жизни.

Они и сошлись-то в Москве на курсах по принципу землячества. Хотя Лось был не третьяковский, но все же земляк — вырос в областном центре. Волосы ежиком, на большом, вечно шелушащемся от солнечных ожогов носу — бородавка. Издеваясь, ему пели почти как в «Борисе Годунове»: на носу бородавка, на щеке — вторая... Он сам над этим смеялся. Наверное, они все тогда были веселы, по нынешним временам — слишком молоды, двадцать три, а уже слушатели таких курсов. К военным вообще относились особенно, считали — это цвет народа, ребята с культурой, образованием. Лось славился как балагур и знаток поэзии, он помнил Есенина наизусть, хотя считалось — это поэт крамольный, говорили: только разложенец мог написать «Москву кабацкую», но Лось читал стихи и нравился девушкам. Он и свел Найдин с Алисой, свел в театре: знакомься, дочь отцовского приятеля. Найдин еще не встречал таких женщин — строгих, много знающих, увлеченных математикой Лобачевского. Очень скоро выяснилось — им есть о чем поговорить, и он стал приезжать к ней на квартиру к Никитским воротам. Она окончила Высшее техническое, стала инженером-технологом.

Странно, он плохо ее помнит, свою первую жену, вот Катя до сих пор рядом с ним, а Алиса... Осталась в памяти строгость взгляда и строгость суждений: все должно быть отдано делу, здесь не может быть никаких компромиссов. Он так и не знает, любил ли ее или женился просто потому, что пришла пора, все-таки не мальчишка. Сколько написано разного о первой любви, вообще о первом в жизни, а у него... У него первой любовью была Катя, когда он уже столько всего пережил... Наверное, это странно. Вот Зигмунд Лось тех лет остался навсегда в памяти: и как смеялся, раскачиваясь из стороны в сторону, и как читал стихи, прикрывая глаза и словно прислушиваясь к своему голосу, и как отдавал команды на учении, любовно растягивая гласные и неожиданно обрывая их.

Они едва тогда успели окончить курсы, как их обоих отправили в один полк под Ленинград. У каждого было по три кубаря в петлицах. Других выпускников сделали комбатами, а их заставили командовать ротами. Только они пригладелись, с кем придется служить, как началась финская.

Поначалу казалось: у противника укрепления — не подступись, финны торчат в тепле, а наши мерзнут на злом морозе, вырыв норы. Сунешься к финнам, а там проволочные заграждения в семь колов. Пробовали по ночам делать проходы — проволока на морозе звенит, финны бьют из пулеметов и автоматов по звуку. Рота редела, много было обмороженных, а кого побили и «кукушки» — финские снайперы, торчавшие весь день на соснах. Только в декабре, к Новому году, сообразили: прорыв надо готовить всерьез. Завезли валенки, ушанки, для командиров — полушубки, настроили землянок, вылезли из этих чертовых нор, где жгли костерки, там же и оправлялись. Прибыли танки, артиллерия, лыжники, и тут же почти у передовой учились штурму. Сначала были пробные бои, вели долгую артподготовку, старались

бить по дотам, а потом, когда началась атака, натыкались на свирепый огонь. Было ясно — во время артподготовки финны отсиживаются в укрытии, а два орудия смолкают, сразу же занимают позиции.

Это Зигмунд Лось предложил на разбор: каково, мол, черта ведем так артподготовку; надо бить по передовой линии, а потом перенести огонь вглубь, противник вылезет из укрытий, займет позиции, тогда вернуть огонь на передовые, а потом опять дать его вглубь, и так несколько раз. Командир полка похвалил: четкая мысль. Куда уж четче, черт возьми!

Рвали оборону десятого февраля, это Найдин помнит хорошо. Мороз был яростный, шла атака за атакой. Тяжкая была война.

И все же он, хотя и поднабрался опыта, был еще мальчишкой и потому в марте попал в историю. Они выхаживали к Выборгскому шоссе, а финны открыли шлюзы, и вода рванула в низины. Она надвигалась стремительно, блестя на солнце, казалась белой ртутью, пар поднимался над ней и сразу же замерзал в воздухе радужными кристалликами. Он решил: проскочим обочиной, двинулся вперед первым и рухнул в воду. На морозе сковало мгновенно. Его занесли в какой-то разбитый домишко, полушубок на нем замерз так, что пола сломалась, он уронил руку на стол — она зазвенела, как стеклянная. На нем разрезали одежду, потом растирали голого водкой, и все же ноги почернели — вода залилась в валенки. Вот таким обмороженным отправили в Ленинград. Врачи поговаривали — придется отнимать ступни, но он не дался. В окно госпиталя видел, как в мартовский солнечный день шли по улице войска и их приветствовала толпа. А в «Ленинградской правде» появилось сообщение: ему присвоено звание Героя Советского Союза — за то, что в первых рядах рвал оборону финнов.

В эти дни и приехала Алиса. Он уже начал ходить, и Алиса увела его в парк, несколько раз огляделась, сказала шепотом: «Зигмунда Лось арестовали». Он не поверил, но она стала сердиться: просто Найдин ни черта не понимает, у Лось отец — поляк, но он это скрыл, чтобы пробраться в армию. Петр Петрович ответил — поляков не так уж мало в армии, тогда она усмехнулась, объяснила: это не те поляки. Отец Зигмунда прибыл скорее всего по заданию буржуазной разведки. Но Найдин видел, как воевал Лось. Сказал Алисе: Зигмунд под пули подставлялся не меньше моего, это случайность, что ему тоже Героя не дали. Но Алиса была строга, жестко сказала: пусть он об этом не говорит, органы лучше знают, что делают, и, как ни больно ему признаваться, он поверил тогда жене, только все время удивлялся, как же это так здорово мог Лось притворяться — наверное, был опытный.

Войну он встретил командиром полка. Сейчас это и представить трудно — было ему тогда двадцать шесть, а уже имел три шпалы в петлицах, все-таки — герой финской. Первый бой в Прибалтике он вел 24 июня, успел располосить батальоны на холмах, и уже на рассвете показались мотоциклисты, а затем танки с пехотой. У него был опыт, он знал — надо особое внимание обращать на фланги, артиллерию заставил выкатить на прямую наводку — двадцать танков они подбили, продержались до вечера, а потом, в темноте, по приказу стали отходить. Он был обстрелянным командиром, сумел взять в свои руки полк, не допустил паники, хотя и тяжело было отступать... И все же он не любил вспоминать войну. Конечно, много случилось на ней разного, но вспоминать — значило для него возвращаться не только мыслью, но и всем существом в дни, пахнувшие дымом, смрадом пожаров, кровью.

О смерти Алисы он узнал в сорок втором, только к этому времени с уральского завода прибыла почта, в которой сообщалось: цех, где Алиса работала, готовил снаряды, взрывчаткой снесло чуть не половину линии. Алиса эвакуировалась с заводом в сентябре, он от нее так и не получил ни одной весточки.

А вот Лось он встретил на войне, и встреча эта была для него важной. В сорок третьем его назначи-

ли командовать дивизией, он ехал в «виллисе» мимо двигающихся по грязи войск. Шоферу сказал, чтобы ехал не торопясь, дивизия была только сформирована, и он внимательно вглядывался в солдат, одетых в новые шинели, легко отличая тех, кто уже был обстрелян. И вот, когда «виллис» стал объезжать застрявшую в колдобине машину, которую солдаты пытались вытолкнуть плечами из жирной лужи, мелькнуло знакомое лицо офицера. Что-то дернулось в нем, он кивнул шоферу: ну-ка, давай назад. Разворачиваться не стали, подъехали задом, и, едва поравнялись с машиной, как увидел грустные глаза, нос с бородавкой.

— Лось? — ахнул он.

Тот вскинул руку к козырьку фуражки, хотел что-то доложить, но Найдин легко перебрал тело через борт машины, прыгнул в грязь, она разлетелась, попала на шинель Лосю, но Найдин ему и опомниться не дал, сильно притянул к себе, обнял.

— Зигмунд! — заорал он. — Черт тебя забрал... Зигмунд!

Он и сам не мог понять, отчего в нем вспыхнула эта радость, будто он встретил самого родного человека, но потом понял: Лось и был таким, пожалуй, единственным из всех близких с довоенных лет. Вокруг стояли ошарашенные этим его порывом бойцы, а он все прижимал к себе старого товарища.

— А ну, давай ко мне! — приказал он, подталкивая Лося к машине.

— Мне доложить надо, — огляделся Лось.

Только сейчас Найдин заметил на нем погоны лейтенанта.

— За тебя доложатся. Угрюмов! — кивнул он своему адъютанту.

Тот крикнул свое «Есть!», и Найдин услышал, как он спрашивал солдат, какая часть.

Они добрались до командного пункта, который размещался в каменном полуразбитом доме. Когда Лось скинул шинель, торопливо стал застегивать пояс на гимнастерке, Найдин разглядел его и удивился, что тот вроде бы остался таким, каким знал он его на курсах и на Карельском перешейке. Думалось — позади целая жизнь, такая большая и сложная, а прошло после их расставания только три года.

Они сидели за столом, ели наваристый горячий борщ, пили водку. Зигмунд сначала стеснялся, но Найдин на него прикрикнул: какого черта на погоны смотришь, я тебя как старого товарища сюда затащил, и Лось рассмеялся. Рассказывать, что случилось с ним, ему явно не хотелось, но Найдин заставил: важно было знать, как на самом деле Лось оказался под арестом. К тому времени он уже кое о чем был наслышан: как пропадали и в тридцать девятом году, и ранее, и позже военные, даже крупные, кое-кто из них вернулся из дальних мест, были и такие, что принимали большие соединения, но и те, вернувшиеся, старались отмалчиваться. Однако же Лось рассказал, что после финской, когда Найдин еще лечился, он решил написать рапорт. Ему думалось: то, чему учили их на курсах, нельзя забывать, а учили их, что командир должен уметь мыслить, уметь не только принимать сложные решения, но и учитывать ошибки, если они по какой-либо причине произойдут. Вот он в своем рапорте и написал, что бои на Карельском перешейке показали — без автоматов сейчас не обойтись, надо учить командиров обходным, сложным маневрам и придавать особое значение разведке. Если бы все это знали до начала боев, то не было бы таких потерь. Он думал: рапорт его как-то поможет, дойдет, может быть, до наркомата обороны, а его вызвали в особый отдел, стали допытываться, почему отец его уехал из Польши, а он и сам не знал, отец ведь умер в тридцать девятом.

Найдин слушал его, понимал — Лось сам подставился, а ведь хотел сделать доброе. Он спросил его: «Как же отпустили?» Тот ответил: многих военных, что там были, по их заявлениям отправляли на фронт. Он, конечно, тоже написал, и его отправили рядовым, но сейчас командует взводом. Ничего, ребята у него хорошие, да и офицеры, с ними он ладит.

И еще Найдин спросил: а как там-то было? Лось ответил, нахмурясь: унинительно, со всякой уголовной шантрапой пришлось общаться, а те в смердящей жизни пребывают и потому случая не упустят, дабы не потоптаться на человеческом достоинстве, он эту мразь терпеть не может. Тут вот на фронте слух идет: они, мол, храбрецы из храбрецов, он же другое видит. Храбрые — не эта шантрапа, а кто туда по нечастью попал, урки же эти больше кантуются, пристроиться, где потеплее да безопаснее, норовят. И еще Лось ответил: ну, а если физически, то на Карельском, особо в первое время, пожалуй, и потяжелее было, когда в норы зарывались.

Найдин хотел Лосю перебраться в комендантскую роту при штабе, все-таки человек настрадался, но Зигмунд ответил зло: ты, мол, хоть и генерал, а в людях не разбираешься, ни за что ни про что обидел. Я все же кадровый офицер и дело свое знаю. Он потом пррслышал — Лось до капитана дослужился.

Так вот у него было с Зигмундом, однако же он хорошо помнил, как терзался душевно, что поверил на первых порах Алисе, поверил в вину Зигмунда, хотя верить не должен был, ведь хорошо знал его. Он себе этого простить не мог, особо остро чувствовал, когда встретил Лосю в области, но тот и не догадывался о его терзаниях.

Петр Петрович не помнил: то ли заочно, то ли через какие-то курсы Зигмунд получил юридическое образование и поначалу работал нотариусом, потом адвокатом, а теперь уж в прокуратуре. Вся его жизнь проходила тут, в области. Найдин где-то в шестидесятые спросил его: что же ты из армии уволился, пошел на такую беспокойную работу? А тот ответил: я, мол, в лагерях на всякие беззакония нагляделся, однако же во мне не обидка живет, хотя поначалу я ей большую волю дал и на всех законников с презрением смотрел, а потом порешил: пойду-ка я сам этим делом займусь, может быть, что-нибудь доброе сделаю; а опыт есть, лагерь ведь — серьезный опыт. Лось еще рассказывал, что до начала шестидесятых ему особо ходу не давали, адвокатом — это пожалуй-ста, по тем временам на адвоката вообще высокомерно поглядывали — собака, мол, лает, а караван идет, интеллигентик болтливый и все тут, ни пользы, ни силы в нем никакой, просто трепач, существующий для формы на процессе, а вот обвинителя чтили, и суд перед ним давал, бывало, заискивал.

Настало время, и на Лосю обратили особое внимание, потому как считали — он безвинно пострадал, жертва беззакония, но проявил стойкость, хорошо воевал. Он сам об этом старался не вспоминать, но за него вспомнили, пригласили в прокуратуру, а потом он стал подниматься по служебной лестнице, и вот уже лет восемнадцать, как в прокурорах области, и вроде бы на пенсию не собирается, хотя по годам давно пора.

Найдин с Лосем встречался редко, иногда годами не виделись. Петр Петрович понимал: у такого, как Лось, забот хватает, зачем его тревожить. А вот из-за Антона потревожить пришлось, и тут Найдин наткнулся на непробиваемую стену, но не обиделся, посчитал — другого и ждать не следовало.

Однако сейчас вспомнил, как после финской сам из-за Алисы поверил в вину Лосю, невольно упрекнул себя, что так легко согласился с виной Антона... А если опять ошибка?

3

Петр Петрович изрядно исчеркал страницы журнала, когда вошла Надя, робко кашлянула, он взглянул на нее и удивился: Надя смущенно перебирала пальцами край фартука.

— Что случилось? — спросил он.

Надя почему-то заговорила шепотом:

— Там эта... Вера, стало быть.

— Ну что ты шепчешь? Какая Вера?

— Круглова. Не понимаешь, что ли?! — вдруг рассердилась Надя.

Он сразу же откинул журнал:

— Веди ее быстрее.

Найдин ощутил сухость во рту, потянулся к питью, стоящему рядом на тумбочке, заставил себя успокоиться, понял: сейчас нельзя выказывать волнение, если Вера пришла, значит, это серьезно. Ведь вчера, когда возвращался в Третьяков, он раздумывал: они еще обязательно встретятся, хотя не знал, как это произойдет. Тут надо быть таким, как всегда, таким, как прежде, убеждал он себя.

— Ты входи, — сказала Надя, пропуская Веру вперед, и сразу же закрыла за ней дверь.

Вера сделала шаг и остановилась. Найдин сразу отметил, как она напряжена, как все в ней натянато: глаза большие, словно застыли, руки сжимают ремень коричневой сумки; одета она была в коричневое платье, немного узкое ей в плечах, с белым воротничком; губы не подкрашены, как обычно, на них виднелись темные подтеки — наверное, искусила. Петр Петрович и это заметил, сказал как можно ласковей:

— Проходи, Вера, садись.

Она внезапно, будто подкосились ноги, грохнулась на колени, не выпуская из рук сумку, и необычно хриплым голосом проговорила:

— Ты прости меня, Петр Петрович, прости меня, дрянь приبلудную. — И неумело отбила поклон.

Сначала его сковало недоумение — никак не ожидал такого, затем хотел вскочить, чтобы поднять Круглову, но вместо этого неожиданно спокойно приказал:

— Встань.

Наверное, в его голосе была сила, Вера Федоровна подчинилась, поднялась с колен. Он кивнул ей на стул, она сразу же села.

— Вон на тумбе клюква, выпей-ка.

Голос его был по-прежнему доброжелателен и спокоен, он понимал — здесь надо строго следить за собой, ничему не удивляться, вести себя по-дружески. Вера Федоровна отпила несколько глотков, ладошкой вытерла слезу, и сразу видно было — она подобралась.

— Ты, Вера, дыши легче, — вздохнул он. — И не трясись. Худого я тебе не сделаю, что бы ни было. Ты знаешь ведь меня, коль я обещался...

Он сказал это тихо, увидел, как тяжело она сглотнула, побеждая в себе слезы, но он сумел дотянуться до ее руки, ласково погладил, сказал:

— Если что хочешь сказать, — говори.

— Ага, — кивнула она совсем по-девчоночьи, и по лицу ее было видно, что самые тяжкие минуты она уже пережила и сейчас сможет заговорить.

— Я тебя обманула, Петр Петрович, вчера... Ты не обессудь. Страшно мне.

— А вот это не надо, — тихо сказал Петр Петрович. — Я тут один. Что между нами, то между нами. Ты Светланку мою вчера испугалась? — кинул он ей спасительный конец.

Но она не приняла его, вздохнула:

— Что мне ее бояться? Это тебя, Петр Петрович... Да не испугалась — засовестилась. А со страху я раньше делов надела.

— Как понимать?

— Да я расскажу, расскажу, — ответила Вера Федоровна и подалась к нему. — Мне бы, дура, к тебе прийти. Но страх... Может, он и не таких, как я, повязывает. Небось знаешь.

— Знаю, — согласился он.

— Ну вот. — Она опять потеряла ремень сумки, но тут же ее положила у ног рядом, и, будто освободившись от груза, почувствовав облегчение, заговорила проще. — Не видела я, как Антон деньги брал. Не видела и не слышала. Да и дела такие ведь без свидетелей творятся. Как увидишь?.. Брал Антон — не брал, поручиться ни за то, ни за другое не могу. Я знаю, ты спросишь: а зачем показала? Я скажу, скажу, Петр Петрович...

Она передохнула, взглянула на дверь, прислушиваясь, словно хотела убедиться, что там, за дверьми, никто не стоит, но Найдин не подал виду, что понял ее настороженность, старался быть спокойным, хотя начинал уже догадываться, что случилось с Кругловой.

— Меня, Петр Петрович, Фетев... это следователь, Захар Матвеевич его зовут, повесткой в прокуратуру вызвал. Я уж у него бывала прежде... Ну, сам знаешь, когда. По делу о тех, что на кассу напали. Он же это дело и вел. Меня, конечно, помнит. Встретил, улыбается, говорит: приятно со старыми знакомыми встречаться. Он такой... Одевается хорошо. Рыжий, но представительный. Ну, мы с ним старое вспомнили, он посмеялся, говорит: вот, мол, я женщина смелая, бандитов не испугалась, счетами по башке вооруженного человека звезданула. Чай мне предложил... Знаешь, Петр Петрович, он так мягко ходит. Я заметила. Все смотрела на него, улыбалась. Он, наверное, не понимал, почему, а я думала: на рыжего кота похож...

Найдин усмехнулся, потому что вспомнил этого самого Фетева, его полные белые руки, широкие плечи, обтянутые тонким серым пиджаком с блестящей ниткой, его синий галстук. От Захара Матвеевича и пахло хорошо, видимо, растирался после бритья дорогим одеколоном, и курил он заграничные сигареты в красной пачке, и часы на пухлой руке были под цвет курчавистых волос. Найдин даже вспомнил его блекло-голубые глаза, легко представил мягкую походку Фетева, подумал: и в самом деле похож на кота.

— Ну, он мне и говорит: вы, мол, Вера Федоровна, женщина понимающая. У нас тут серьезные документы имеются, что Вахрушев взял с бригады договорной — а попросту с шабашников — взятку в двадцать тысяч. Взял от бригадира Урсула. Конечно, это, мол, понятно, дорожки Антона захотели отблагодарить. Все-таки эта бригада, хоть и законно, но как ни крути сомнительно такие деньги получила. Столько заработать людям у нас не дают. Без взятки, конечно, не обойтись... Ну, а по этому поводу у нас сейчас серьезные решения, мы тут хотим не хотим, а обязаны с нездоровыми явлениями строжай-

ше воевать. Ведь и с нас серьезный спрос. И вы нам, будьте добры, помогите. Вы бухгалтер, и без вас Антон ничего бы не провернул... Тут я, Петр Петрович, на него цыкнула: вы что же, говорю, меня в сговоре, что ли, подозреваете? Наверное, сильно цыкнула. Нет, говорит, не подозреваю. Вы человек в области известный смелостью и честностью. И если я вас буду в сговоре подозревать, мне никто и не поверит. А вот что вы на Антона укажете... А указать обязаны, все равно имеются документы. Я, Петр Петрович, ему врзала. Говорю: я же не видела ничего, как же могу? Это, говорит, вы забыли. Или видеть, или слышать вы об этом очень даже могли... Ты меня, Петр Петрович, знаешь. Если я упущу, ничего со мной поделать нельзя. А он говорит: ну, что же, сейчас время позднее, вам до Третьякова добираться трудно, вы у нас переночуете. Может, позже и вспомните. Я спрашиваю: как это понимать? А он с улыбкой: а вот так и понимать, что сейчас мы с вами акт составим на задержание. Я ему: не имеете права. А он: нет, имею, я же вас не арестовываю, а полагаю, что вы какое-то участие в делах Вахрушева принимали, основание у меня есть. Вот меня этот Захар Матвеевич и направил под конвоем в КПЗ. Ох, Петр Петрович, у меня же дети, у меня Иван... Я этому рыжему: да побойся бога, ты ведь семью без меня оставляешь. А он вежливо так: ну, семье мы сообщим, это уж наша обязанность... Ох, Петр Петрович, что было-то со мной! Думала, ума лишусь... В камере этой та-а-акие бабы! Я сроду подобных-то не видела! На что у нас в ПМК разные были — и матом кроет, и бесстыдства в ней через край, но таких я не видывала. Ночь не спала, в углу сидела, в комок вся сжалась... Не могу я, Петр Петрович, сказать, чего наслушалась. Как в самом страшном дерьме меня выкупали. Утром, часиков в одиннадцать, меня опять к Фетеву доставили. А он, эдакий ухо-



женный, снова, будто кот, шагает. Принесли мне чаю. Он улыбается, говорит: ну, что, Вера Федоровна, вспомнили? А у меня такая злость... Эх, думаю, ты... По рашке бы тебе круглой! Он, видно, понял мое настроение, говорит: ну, если не вспомнили, неволить не буду, поезжайте домой. Уж извините, что подержал, служба такая. Однако все же, мол, вспомнить постарайтесь. Я это Ивану рассказала, говорю — жаловаться надо. Это что за закон, меня ни за что в камере ночь держать? А он говорит: кому жаловаться-то? Этот следователь свое дело делает; если подержал тебя, то, значит, в своем праве. Ведь отпустил же. Я и подумала: жаловаться, может, себе дороже. Не знаю, права ли была... Не знаю. Я ведь в той камере разного за ночь наслушалась. Гадости всякой нахлебалась, но и образовалась: бывает, и безвинные попадают. С ними беды натворят, а потом каются: мол, ошибка вышла. Это, Петр Петрович, как понимать?... Это, выходит, на тот свет человека отправить можно, а потом и покаяться?! Я таких историй отродясь не слыхивала. Одна оторва говорила, не знаю — верить или нет. Девушку, понимаешь, недалеко от ее дома насильничали. Доискаться не могут. Ну, а ее сосед, парень-шоферюга, уже отбывал, на него и показали. Та девушка в больнице скончалась, не приходя в сознание. На парнюгу другая соседка показала. Вроде бы актриса... Ну, из областного театра. Она, мол, поздно с репетиции шла и все видела, да испугалась. И еще немного выпивши была. Этого парнюгу к вышке присудили. Вот он три месяца смерти дожидался, седым за то время сделался, зайкой стал. А тут настоящего насильника нашли. Это уж из Москвы следователи приехали, ну и нашли случайно. Тот бандюга на другую напал, тоже придушил, но не до смерти. Она его, как ожила, опознала... Шоферюгу-то выпустили, говорят: извини, ошибка судебная. Ну, а он жить не может, по ночам орет, в психушку его отправили. А тем, кто его засадил, — ничего. Страшно-то как, Петр Петрович! Думала, врет эта оторва из камеры, а теперь полагаю, может, и правду говорила.

Вера Федоровна раскраснелась, Петр Петрович, завернувшись в плед, сел на диване, подал ей питья, теперь она выпила с жадностью, крупными глотками, так, что в горле у нее булькнуло. Глаза сделались злыми, с блеском.

— Ну, ты послушай... Я вернулась, только оклема-лась, опять меня этот Фетев по телефону вызывает. Говорит вежливо: тут, мол, Вера Федоровна, новые обстоятельства открылись, нам надо обязательно пови-даться. Ну, прихожу к нему. Он и говорит: вот, Ве-ра Федоровна, я ваше старое дело поднял. Неувязка одна есть. Вы в окно выстрелили после того, как длинноволосого уложили, а там человек стоял, вы ему плечо пробили, инвалидом сделали. Да, говорю, он же соучастник! Это, отвечает, так, но вы могли и не стрелять. Люди на ваш крик и без того бежали. А тот, в кого вы выстрелили, калекой на всю жизнь остался, нетрудоспособным, его кое-как спасли. Полу-чается, вы превысили необходимую оборону. Но я, говорит, этого дела сейчас поднимать не буду. Одна-ко же хочу вас предупредить, когда суд делом Вах-рушева займется и выяснится, что вы укрывали его, то тогда и этот выстрел тоже вам в зачет пойдет. Ну, а теперь сами думайте, как вам быть? Или вы сей-час протокол подпишете, или... Тут он так нехорошо усмехнулся: впрочем, говорит, я и до утра могу по-дождать. Переночуете, как в тот раз, у нас. И берет бланк со стола... Я тогда ему говорю: если можете до утра подождать, то дайте мне в Синельник съез-дить. Он задумался, опять по-своему походил, согла-сился. Я к Ивану, думаю: как он скажет, так и буду делать. А Ивана всего затрясло. Он мужик нероб-кий, но кто же такое выдержит?! Может быть, если бы не увечный был, то по-другому бы все воспринял. А тут... Да подписывай, говорит, ты этому коту, что он хочет. А то ведь и вправду тебя загребут. Они умеют, если им надо. У Антона вот Найдин есть, он его в беде не оставит, он его из любого пекла выта-щит. А у нас какая защита? Тебя если загребут, что я с нашими девками делать буду? Одной рукой мно-го

не заработаешь. От досады-то Иван даже заплакал. Вот, суди меня, Петр Петрович, как хочешь суди, а поехала я в область и все подписала этому рыже-му. Он мне и говорит: только не вздумайте на суде отпираться, а то вас за ложность показаний привле-кут... Мне бы к тебе, Петр Петрович, да я испуга-лась. Мне и сейчас страшно.

Все в Найдине бушевало, он не терпел несправед-ливостей, бесился иногда от них люто, но теперь он не мог дать волю своей злости, не мог ничего вы-плеснуть наружу, и от этого становилось еще тяжелее, он сжался весь, боясь распрямиться, боясь, что серд-це разорвется от гнева.

Найдин не сомневался: рассказанное Верой Федо-ровой — правда, может быть, даже только часть правды, потому что всего она поведать не могла, да такое и не передашь словами, через это надо хоть отчасти самому пройти, чтобы уяснить весь ужас на-силия над человеческим достоинством, когда страх оказывается сильнее, настолько сильнее, что вынуж-дает человека пойти на подлость...

Ему нужно было посидеть тихо, и он сидел, не шевелясь, и Вера Федоровна сидела, словно затаилась, боясь помешать ему, но время текло, и оно не могло вечно уходить в молчании. Он еще раз горестно вздохнул, и тут неожиданная мысль мелькнула у него:

— Ну, а этот, — тихо спросил он, — бригадир... Ур-сул. Он-то почему? Ведь на себя наговор...

— Не знаю, — сразу же ответила Вера Федоров-на. — Я ведь и суда не помню. Словно в дурном ту-мане была. С головой у меня... Забыла все. Даже, что вас там не было, забыла.

— Так-то так, — задумчиво проговорил Петр Петро-вич, — конечно, и забудешь... И все же. Не могли же такого крепкого мужика против себя заставить гово-рить.

— Не могли, — кивнула Вера Федоровна. — А мож-ет, и могли. Эти шibaи, они пуганые. С ними ведь по-разному можно... Слышала я, будто иногда один садится, чтобы других спасти. Ведь семьи у них большие... Однако этот Урсул-то заболел.

— Откуда знаешь?

— Да приезжала сродственница его. Вещички у не-го в Синельнике кое-какие остались. Она и сказала. Он на вид такой здоровый был. А так сердце у не-го слабое. Видно, переживал сильно.

— Вот ведь, черт возьми, — досадливо сморщился Петр Петрович. Первая вспышка гнева прошла, и он обрел ясность мысли, старался говорить спокойно и твердо.

— Что же делать-то, Петр Петрович? — тихо спро-сила Вера Федоровна.

— А что делать? По совести поступать, — сказал он. — Вон садись к столу, пиши все, что мне расска-зала.

— Кому писать-то?

— Генеральному прокурору и мне, — вскинулся он. — Так сверху и поставь: Петру Петровичу Найди-ну, Герою Советского Союза. И не бойся ничего. Уж защитить-то тебя я сумею. Или не веришь?

— Верю, Петр Петрович, — покорно согласилась она. — Как не верить? — И встала со стула, чтобы сесть в кресло у письменного стола.

4

Потом Сергей Кляпин вспоминал: весь этот день его мучили нехорошие предчувствия. Вроде бы ниче-го особенного не происходило. Утром он, как обычно, заехал за Трубицыным, отвез в исполком, поставил машину под дерево — он любил ее тут ставить, когда ему надо было о чем-нибудь поразмышлять. Зачем снова здесь объявилась Светлана? — думал он. В до-ме у них все в порядке, в отпуск она давно сюда не ездила, Антона нет... Он краем уха слышал, будто Светлана добралась туда, где Вахрушев отбывает срок. Значит, он ей мог многое наговорить...

Однако же сколько он ни думал, для чего приеха-ла Светлана, так ни до чего и не додумался. Сам не заметил, как заснул, хотя старался не спать в маши-

не, когда ждал Трубицына. Слава богу, его разбудила машинистка Клара, постучала по стеклу:

— Вставай, Серега, подавай машину шефу.

Все же предчувствие неприятности весь день саднило душу, и он старался ездить осторожно, хотя езды было немного, да и Трубицын отпустил его рано. Отогнал машину в гараж, там же умылся, облегченно вздохнул: ну, кажется, пронесло, и пошел домой.

Он отворил дверь, услышал еще в прихожей женские голоса, раздававшиеся из большой комнаты, и, едва переступил порог, вздрогнул: за круглым столом сидели Неля со Светланой, и обе чему-то весело смеялись. Неля увидела Сергея, воскликнула:

— Сережа! А у нас, видишь, гостя. Тебя дожидается...

Сергей так перепугался, что чуть не бросил в лицо жене: «Дура!» Она заметила его нахмурившийся взгляд, всплеснула руками:

— Ой! Или опять машину зашиб?

— Порядок, — ответил он и попытался улыбнуться Светлане, легонько отстранил жену, шагнул к столу, протянул руку, сказал: — Очень рад. Такая, понимаешь, профилактика. В гости или дело?

Она смотрела на него темно-зелеными глазами, в них роились бесенята, она улыбнулась.

— По делу, Сереженька, — ласково сказала Светлана, повернулась к Неле, попросила: — Нелечка, можем мы одни побудем, посекретничаем? Не заревнуете?

— Да куда там, — махнула рукой Неля, застыдилась. — У меня дела на кухне. — И вышла.

И сразу же Светлана с необычной легкостью вскочила, оказалась рядом, почти лицом к лицу. Сергей уловил сладковатый запах ее духов.

— Ну, Сереженька, — сказала она, — может, поведаешь мне, как ты умудрился, сидючи в машине, видеть, что Урсул дал взятку Антону? Или ты через стенку купюры посчитал? — Схватила его за грудки, тряхнула, зашипела: — Ты меня знаешь! Я из тебя сейчас душу вытрясу, ты мне правду выложишь!

— Ты чего, ну, чего?! — шепотом проговорил он. — Ты того...

— Того, сего... — трясла она его. — Говори! А то я тебе все припомню... все, что ты тогда на дороге мне наговорил. И как с людей поборы собираешь. Лучше мне скажи, чем отцу. Он вот-вот прискачет...

Он испугался и ее, и Найдина, и всего того, что происходит в его доме, испугался, что услышит их Неля или сбегутся соседи, а Светка, она такая, она и при всех начнет качать права.

— Да отпусти ты, — все так же шепотом проговорил он. — Я скажу... Все скажу...

— Нет уж, — ответила Светлана, так и не отпуская его рубашки. — Это я тебе скажу. Все, как было. Фетева испугался? Мол, ты же сидел, Кляпин, у меня на тебя бумаги есть. Если на Антона не понесешь, я бумаги пушу в ход. Будет уже рецидив. Вот ты в штаны и наложил, Серега. И на Антона понес. Того, чего и видеть, и слышать не мог. А я это раскопала. Ты Найдина знаешь. Он за правду до самых верхов дойдет. Его пустят. Тогда тебя за лжесвидетельство так припекут... Да и совесть у тебя есть? Ведь из-за твоих показаний Антону восемь лет влепили. Я думала, пусть ты там сидел, но все же хоть что-то человеческое в тебе осталось. А ты даже перед малой угрозой трухнул, не побоялся честного человека закопать... Слышишь, гад?!

Он сразу сделался мокрым, чувствовал, как пот выступил на лбу, на груди, наверное, прошел через рубашку. Он думал прежде: она не знает, а если и узнает — не беда, выкрутится, но если старик Найдин... Того и в самом деле никто не остановит.

— Все так было? — спросила она, дыша ему в лицо, толкнула, и он упал на стул. Она вынула из сумки лист хорошей бумаги, подала ему шариковую ручку.

— Пиши, что отрекаешься от своих показаний. Я тебе продиктую.

Только она ему это сказала, как он сразу же пришел в себя.

— Да ты что? — вскинулся он. — Да ты что?.. Ты Фетева не знаешь? Он же заместитель прокурора. Он любого... — И вдруг взвился: — Пошла ты отсюда!

— Значит, так? — жестко спросила она.

— А ты как думала? Я из-за тебя подставляться буду? Жизнь свою ломать? Мотай отсюда!

— Ну, что же, Кляп, — зло сказала она. — День я тебе подумать дам, а там смотри!

— Мне и думать нечего! — крикнул он ей вслед.

Она вышла от него и поняла: сама ничего от Сергея не добьется; он, если и признается, то только под следствием...

Глава шестая ОТКРЫТЫЙ ЛАБИРИНТ

1

Над еловым лесом накрапывал мелкий дождь, и это было хорошо, потому что спала жара и перестал липнуть гнус. На вырубке прозвучал сигнал к обеду.

Вахрушев взял свою миску, уселся на хвою под ель, к нему тут же пристроился Артист — так окрестили театрального деятеля, соседа Вахрушева по нарам. От него нельзя было отделаться, да Артист и помогал порой Антону, бог весть какими путями даже здесь, в «командировке», ухитряясь доставать нужное, что было в дефиците, а в дефицит входила соль, потому как от гнуса распухали руки и щеки, а опухоль снимали примочки из соляного раствора.

Артист ел торопливо, быстро облизывая ложку, даже нельзя было поверить, что этот человек когда-то бывал на самых феенебельных банкетах; сейчас он чавкал и отрыгивал, да еще при этом умудрялся трепаться о всякой всячине. Впрочем, он чаще всего повторял одну и ту же историю или ругал себя: это, надо, мол, быть таким олухом, чтобы шубу, в которой принесли ему камушки, вшитые в подол, держать у себя в кабинете, решил — так никто не догадается. А эта старая гримза, что стукнула на него в ОБХСС, знала того, кто ему принес шубу, актеры — народ болтливый, а Артист это не учел. Он сидел в своем кабинете, ни о чем не ведая, когда явились милиционеры и с ними еще кто-то из работников управления; к нему часто заходили разные люди, он любого встречал весело. Он встал, ткнул пальцем в грудь капитану, улыбнулся ему, сказал: у него прекрасные внешние данные, мог бы сниматься в кино, но капитан не клюнул на шутку, отстранил его и сразу к шубе. Он тогда только и понял: началось... А не будь шубы в кабинете, им бы разматывать да разматывать, может быть, и не докопались бы. Однако же глупостей натворил, за глупости и платить надо, но не полную цену. Вот посидит, и, если никто не шлохнется, дабы его вытащить, — нужно ведь, чтобы и время прошло, дело подзабылось, — ну, тогда пусть пеняют на себя, он загигается здесь в дерьме не намерен, а если ему эту участь уготовили, он расквитается.

Антон, слушая, сказал однажды Артисту:

— Выходит, у вас какая-то мафия!

Артист посмотрел на него, неожиданно повалился в хохоте, захлопал себя по ляжкам, не в меру пухлое его лицо собралось в крепкие морщины, и серые глаза засверкали совсем по-молодому.

— Ну, дурак, вот дурак! — воскликнул он. — Какая тут может быть мафия в Рассеюшке нашей! Кишка тонка. Мафия — железная организация. Она не одно поколение воспитала. А с нашим расхлебайством возможно такое?.. Ну, один берет, ну, другой дает, прикрывается долей. А порядка все равно нет. Круговая порука — это еще не мафия, а так, семечки. Трень-брень, игры в подкидного дурака. Находились, конечно, такие, что пытались людишек в один клан сбить, повязать их общим делом, да потом оказалось: а зачем? Особо хитроумных игр затевать не надо. У нас под ногами много лежит, наклонись, не ленись, подбери. Только и делов. Вся забота, чтобы не увидели, как подобрал. Трудно брать, когда везде

железный порядок. Чтобы его обойти, нужна борьба умов... А ты вот послушай, что в колонии люди говорят. Они ведь все на полной беззаконности произросли. А если кто сюда загремел, то опять же из рабства своего. Сам подставился. Вот он я, кушайте меня с перчиком на чистом сливочном масле. А аккумуляторы, они в безопасности. На фига им твоя мафия?

В тот день, когда они сидели под елью и поглощали свой обед из алюминиевых мисок — Артист уже выскребывал со дна остатки. — Антон внезапно ощутил резкую боль в животе. Его словно ударили горячим жгутом, он выронил миску, чувствуя, как весь покрывался потом, хотел вздохнуть, но не смог, перед глазами закружились желтые шары, и тут же началась рвота. Такое с ним уже было, но на море, он тогда не знал, что у него язва, и подумал — приступ морской болезни. Ведь это только легенда, что моряки ей не подвержены, на самом деле она хватает всякого, но разные люди по-разному реагируют: одних клонит в сон, у других возникает неумный аппетит, много есть признаков морской болезни, но для моряка почему-то позорным считается, если он, как пассажир или новичок, начинает травить. Когда его схватило на море, он испытал вместе с болью стыд, а тут, пытаясь победить свою беспомощность, корчась под елью, думал: это, наверное, конец.

Артист поднял шум, к ним сбегались, дали Антону воды — прополоскать рот. Газик, что привез обед, еще стоял на дороге, решили Антона отправить с ним в барак, а там фельдшер разберется, как дальше быть. Дорога оказалась мучительной, его било, колотило, бросало в пот, и более всего он боялся, что у него снова начнется рвота. Потом он впал в забытие и очнулся в изоляторе. Толстый, с волосатыми руками фельдшер, попавший в здешние места за тайную продажу наркотиков и дефицитных лекарств, сопел над ним, ощупывая живот, заставил выпить каких-то порошков, потом сказал:

— Тебе, наверное, в больничку надо. А куда лежи. — И вдруг сделался строг, лицом побагровел: — И без баловства!

Антон проснулся ночью, сквозь небольшой проем окна пробивался тусклый свет. Он стал думать: может, и не поднимется, и остро захотелось оказаться в Третьякове. Третьяков — это и мать, и Найдин, и многие, многие люди, которых знал Антон с детских лет... Кому он там помешал? Трубицыну? Глушость. Этого он уж давно разгадал.

«Послушай, — сказал он как-то Владлену, — какого черта ты обещаешь людям то, что невозможно сделать?.. Ведь они надеются...»

«Вот я и хочу, чтобы они надеялись. Так им легче жить».

«Но вот ты наговорил, что через два-три года всех расселишь по отдельным квартирам».

«Конечно, сейчас установка такая. Есть решение... Однако ж не моя вина, что фондов не дают. Кое-что из Потеряева вытрясем, из молокозавода, мясокомбината. С миру по нитке... Ну, два дома поставим наверняка. А если я людям начну говорить, что ничего у нас не будет: ни продуктов, ни квартир, ни детских садов, — они ударятся в беспробудное пьянство. Без надежды людям нельзя...»

«Но кому нужны лживые надежды?»

«А разве где-нибудь когда-нибудь они бывают полностью реальны? Они на то и даются людям, чтобы они жили воображением: мол, все решится само собой. Иногда так и происходит... Времена, Антон, переменчивы, а теперь особенно... Если говорить честно, мы безнадежно отстали. Сейчас это ясно и ежу. Нам выпал такой период истории, когда все остановилось и попятилось назад, и никто всерьез не задумывается, как подняться и двинуться вперед. Никто! Как бы ты ни кидался на меня, но жить я могу лишь так, как и другие. Мне высунуться не с чем. Кое-где прикрыть грехи могу. Но не более. Я ведь тоже живу надеждой: все вдруг сдвинется с места, и тогда... вот тогда я готов на стол выложить свои идеи. А сейчас мне за них по шее дадут. Назовут новым эппаном. Наш Первый уже кое на кого с такими упреками кидался. Область наша ни плохая, ни

хорошая. Перебиваемся с хлеба на квас, хотя сравнительную цифру выдаем прогрессирующую. Ну и ладно. Плохо быть в конце. Но худо быть и в начале. Нагрянут комиссии за опытом и будут во все нос совать. А это накладно. Нужно каждую комиссию одарить, обласкать, чтобы она уехала в радостном возбуждении: вот, мол, как людишки живут. А живут они, Антон, всюду одинаково. Всюду не хватает еды и хорошей одежды, машин и квартир, всюду находятся те, кто отыскивает лаз, как уцепиться крепче, чтобы жизнь не проковылять с посохом. Да, лучше всего быть середняком. За это и воюем».

«Ты циник, Владлен. А циником нельзя быть на такой работе».

«Глушости. Я не циник. Я просто жду своего часа. И, поверь, дождусь. Все, что я тебе говорю, — реальный взгляд на жизнь. А у тебя мечтания. Ими тоже людей не накормишь».

«Ну, это мы посмотрим».

«Ладно, давай, действуй. Я тебе мешать не буду. Лишь бы ты мне не помешал».

Потом Антон понял: Владлен жил, будто плыл по течению, наслаждаясь теплом воды и уютностью пребывания в ней, ничто его всерьез не тревожило да и тревожить не могло. Ведь Третьяков Трубицын рассматривал как трамплин, чтобы взлететь с него на крупное место, где вообще ни за что отвечать не надо будет, а жизнь делается более прочной и спокойной. В этом городе ему тоже жилось неплохо, не им было установлено это самое крохоборство, когда все зависимые от городских властей предприятия должны были обеспечивать нормальное житье-бытье председателю, чтобы он мог и нужных гостей принять — чем богаты, тем и рады, — не Трубицыным это было установлено, а как-то сложилось повсеместно само собой, вписывалось в естественный ход вещей как будничная норма, и если Трубицын от такого отречется, то окажется белой вороной, ему могут не простить: чистоплюй напелся! А мы грязенькие?

Бунтовать, конечно же, Трубицын не мог и не хотел, он хорошо в свое время поработал журналистом, стал собственным корреспондентом одной из центральных газет — вроде бы человеком, от местных властей не зависящим. Но это только так казалось. Ведь если он делается неудобным обкому, то найдут способ без труда его выпихнуть. Да и жизнь Трубицына постепенно сделалась тревожной: редакция вдруг стала требовать острых, разоблачительных материалов, особенно когда приближалась подписка. Но та же редакция не учитывала: жил-то Трубицын в областном центре, там состоял на партучете в областной газете, споткнись где — ему влепят на полную катушку, если он до этого раздражит обком. Он ведь и поликлиникой пользовался, где областные начальники лечились, продовольственные заказы получал в ларьке при обкоме, из того же гаража машину вызывал, — в общем, зависимостей много, вот и покрутись. Нужно быть и для редакции хорошим, и для области, а тут еще в газету пришел новый редактор, совещание, которое он провел с корреспондентами, показало: спокойной жизни не будет, каким бы пером журналист ни обладал. У Трубицына перо считалось хорошим, он мог и лирические пассажи коротко и точно вставить в корреспонденцию, и диалог у него получался живой и четкий, сотрудникам с его материалами никакой работы вести не приходилось, их подписывали и отправляли в набор. Судить его работу редакция собиралась по степени смелости и откровенности разоблачительных материалов. И тут Трубицыну в руки попало нечто подобное. Второй слыл заядлым охотником, проводил охоту с размахом, выезжала с ним целая свита, под это дело на берегу озера поставлен был металлургическим комбинатом охотничий домик, а на самом деле прекрасная вила с каминами, с финской баней, в холле висели шкуры. Никто из заводских, кроме директора комбината и его заместителей, там не бывал. Ну, стоял этот домик и стоял. Второй наведывался туда после удачной охоты, и, по давним российским обычаям, идущим еще от князей, за длинным, сколоченным из крепких досок столом, покрытым прозрачным

лаком, вели пир, собаки крутились у ног, грызли кости. Происходило это обычно по праздничным и выходным дням, в домике имелся телефон, который знал помощник, и в случае нужды Второго всегда могли срочно доставить в город.

Все было продумано, все расписано, но, однако же, случилось неожиданное: охота вломилась в заповедник, свалили выстрелами двух сохатых, да еще редкой породы, которые были мечены как экспонаты для опытов, и охоту эту застукал егерь заповедника. Как ему ни объясняли, кто охотится, егерь, ростом под двухметровую отметину, стоял на своем: закон нарушен, будем писать акт, дело пойдет в суд. Но куда оно не пошло, тогда-то егерь пришел к Трубицыну. Материал сам плыл в руки, острее не придумаешь, новый редактор о таком и мечтал, вся эта история могла оказаться сенсацией, потому что в охоте участвовали и председатель областного суда, и председатель общества по охране природы да еще много всякого начальства. Трубицын быстро написал хлесткую корреспонденцию, она явно ему удалась, и, когда он уже собирался ее отправлять, к нему поздно вечером на квартиру пришел Федоров, помощник председателя исполкома, к этому делу вовсе не причастный. Трубицын знал его по Третьякову как полного охломона, который потом вырос в услужливого чиновника. Этот самый Федоров со смешками и ужимками объяснил Трубицыну, что лучше бы ему из газеты уйти, да побыстрее, вот завтра утром пусть передаст заявление об уходе, так как в области есть мнение направить его в Третьяков на пост председателя, место очень перспективное, первый секретарь там стар и болен, у него давние заслуги, потому убирать не хотят, и фактически хозяином станет Трубицын, покажет себя, а там... через годик-два пойдет заместителем председателя облисполкома по культуре, в Трубицыне обком видит дельного работника с новыми взглядами. Он все сказал, а дальнейшее зависит от Трубицына. Тут же Федоров, словно мимоходом, сообщил: а егерь в другую область уехал, заявление свое из суда забрал. Владлен сообразил быстро и согласие дал немедленно.

Все это Антон узнал не сразу, и не столько от Трубицына, сколько от других людей, но главное он получил от того самого егеря, с которым Антона свел случай на межобластных курсах руководящих работников — они оказались соседями по комнате. Егерь-то стал за это время заместителем директора лесокombината, пошел, значит, почти по специальности.

— Что же ты испугался? — спросил Антон.

Тот рассмеялся:

— А ведь сказано: худой мир лучше доброй ссоры. Плевать я на все хотел. Им своих богатств не жаль, а мне что, более других надо?

Ну, с Трубицыным было еще много всякого, но Антон твердо верил: Владлен не способен организовать против него дело, это не по его части, ведь он работал в газете и знает, что такое анонимка, да и не мешал всерьез Антон Трубицыну. В районе и без Антона дел было навалом, и далеко не всем хозяйственникам нравился председатель, а Потеряев вообще не скрывал своей неприязни, говорил скверное о Трубицыне при всех... Но кто, кто упек его сюда? Помешал Антон кому или тут нечто другое? Он сравнивал свое дело с делами других, кто отбывал срок, сопоставлял все элементы этих дел, пытаясь отыскать аналогию, постепенно что-то начинало проясняться, но приходило к выводу еще было рано... Однако же ответ необходимо найти...

Утром ему принесли еду: бульончик с сухарями; потом пришел местный док, мял его, ушел молча, а затем явился Гуман. Антон сел при его появлении, даже хотел встать, майор махнул пухлой рукой, долго молчал, глядя маленькими темными глазами из-под белесых бровей, потом сказал:

— Учителем, Вахрушев, пойдешь?

Антон не понял, даже подумал: «учитель» — это какой-то местный жаргон, которого он не знает, и молчал; видимо, майор догадался, что Антон не понимает, объяснил:

— Доктор сказал: можешь отлежаться, а можно тебя и в больничку. Но я полагаю: лучше бы тебе тут оставаться. На лесоповал больше нельзя, а учитель мне нужен. Месяц как прежний освободился. Только поймей в виду — хлеб этот не легкий. Сам почувствуешь. Хотя условия хорошие. Даже жить будешь один, при классе, чтобы готовиться была возможность.

— А что преподавать?

— Да все, — усмехнулся майор, — тут иных надо и азбуке учить. Я думаю, потянешь. — И, не дав ответить Антону, сказал твердо: — Вот и хорошо...

2

Петр Петрович по настоянию Светланы позвонил Лосю, напомнил: мол, уговаривались, в случае крайней нужды прокурор примет его дочь. Лось ответил, что болен, отлеживается дома, но коль дал слово, то исполнит его, пусть едет, но...

— В общем, сам понимаешь, — сурово сказал Лось.

— Понимаю, — ответил Найдин и взвился: — Ты что, хрен старый, думаешь, я тебе голову морочить стану?! Ишь, законник!.. Обещал — принимай и не мотай мне душу.

— Ладно, — мягче ответил Лось. — Погляжу, какой она стала.

— Вот и погляди. Своих разогнал, так на мою хоть посмотри. Она завтра будет в городе, тебе позвонит.

— Ну, что же...

На этом разговор закончился.

Светлана выехала рано утром, взяв с собой самое необходимое: вдруг придется заночевать в областном центре. Конечно, в гостиницу не попасть, но в городе достаточно знакомых, есть и старые подружки, с которыми училась, в общем, найдется кому приютить. Ей опять повезло, как и в день приезда, — она поймала такси на автостанции. Дорого, но лучше, чем трястись в автобусе. Доехала до почтамта. Это было новое здание, любовно построенное, с большими дымчатыми стеклами, темно-серой отделкой, а раньше здесь стоял полуразвалившийся зеленый дом, его так все и звали — Зеленый, хотя он выцвел и лепнина на нем пообивалась. Вообще город, по всему видно, строился хорошо. С тех пор, как Светлана здесь была, многое изменилось.

Она набрала номер Зигмунда Яновича, долго шли длинные гудки, никто не отвечал. Светлана уж подумала, что ошиблась, но ответила женщина; узнав, кто звонит, попросила: лучше через часок-другой подъезжайте, сейчас у Зигмунда Яновича врачи.

Она вышла из почтамта, сощурилась от слепящего солнца. Можно было просто побродить по городу — сумка у нее не тяжелая — или навестить кого-нибудь из знакомых, даже можно пойти в кино на утренний сеанс, ведь так давно нигде не была. Она перешла дорогу, вошла в сквер, где росли старые тополя, села на скамью. Какую все же бешеную жизнь прожила она за эти несколько дней, столько в ней всего оказалось наворочено! И в этом нужно было еще разобаться, да всерьез, но, наверное, потом, когда «осядет пыль», как говорил отец, оберегая ее от скоропелых решений.

Оберегать-то оберегал, а сам вон какой заводной, вчера разбушевался, готов был сломать голову немедленно ехать с ней в область. Она с трудом его утихомирила, предупредила, чтобы помалкивал, а то может подвергнуть риску и ее, и Антона, ведь неизвестно, что за всей этой историей еще кроется. Светлана не хотела ни на кого грешить, не хотела думать самое страшное о Трубицыне, у нее не было для этого фактов. Единственный, кто обрисовывался более или менее явственно, — Фетев, и Светлана вдруг испытала неодолимое желание увидеть этого человека, заглянуть ему в глаза. И стоило о нем подумать, как дрожь пробежала по телу, сделалось зябко. Она понимала: явиться перед Фетевым — значит пойти на риск, но чем больше она об этом размышляла, тем острее ощущала: картина будет неполной, если она не увидит Фетева, не перемолвится с ним хотя бы несколькими словами.

Она уже не властна была над собой, она могла обвинять себя в самой отчаянной глупости, но все же делать то, на что решилась...

Фетев принял ее сразу.

Ей думалось, в прокуратуре начальники ходят в форме, но тут она увидела плотного человека в сером, хорошо сшитом костюме, при белой рубашке с синим галстуком, у него были кудрявые рыжие волосы, он стоял подле окна у раскрытой форточки, курил и приветливо смотрел на нее блекло-голубыми глазами.

— Входите смелее, — сказал он.

Она прошла к письменному столу, села, и он, неторопливо загасив сигарету в пепельнице, обошел стол и сел напротив, они оказались почти лицом к лицу.

— Кажется, Светлана Петровна? — сказал он. — Я не ошибаюсь?

— Нет, — ответила она.

Его большие, необычно белые руки лежали на коленях, они привлекали внимание, она подумала: такие пальцы могут быть у человека только после долгой стирки, если продержат их в воде с разными щелочами, а вот у Фетева они, видимо, всегда такие.

— О чем будем говорить? — ласково, не спуская с нее глаз, спросил он, и от этой ласковости, от негромких слов ей сделалось нехорошо, она ощутила страх, будто ее сейчас начнут пытаться, тут же рассердилась на себя за этот страх и внезапно ляпнула:

— А вы действительно рыжий.

— Рыжий, — покорно согласился он, не удивившись ее восклицанию. — А вам не приходилось читать «Фацетии» Генриха Бебеля? Был такой немецкий гуманист в шестнадцатом веке. Так вот у него есть крохотный рассказик, как он попытался подшутить над рыжим, а тот ему ответил: рыжие благочестивее всех, потому что Христос только одного человека удостоил поцелуем — это рыжего Иуду Искариотского. Мило, не правда ли?

— Мило, — ответила Светлана. — Только я не понимаю.

— Я тоже, я тоже, — с приветливой улыбкой ответил Фетев, и опять она удивилась странной мягкости его слов, они были будто ватные — по-другому и не определишь.

Он прихлопнул себя по коленям, поднялся и сказал:

— Но, я надеюсь, вы не о пересмотре дела вашего мужа пришли просить. Это было бы странно, ведь я вел это дело как следователь.

— Нет, я пришла не просить, — сказала она, потому что и в самом деле ее приход теперь показался ей полной нелепостью. Ну что ее сюда затащило?! — Я хочу понять...

— Понять что? — Он коротко вздохнул. — Дело видится на просвет. Вахрушеву дали, Вахрушев взял. Как видите, все укладывается в простейшую формулу... Юристы любят усложнять. Если бы вы слушали это дело в суде, могли бы запутаться от нудности и сложности формулировок, особенно адвокатских. Но без усложнения юриспруденция не выглядела бы наукой. Вы ведь в науке работаете, Светлана Петровна, потому и легко можете понять такое. Любая глубина — это одновременно и простота, и достигнута она может быть, только если обеспечена ее связь с действительностью. Вот дело Вахрушева тому пример...

На какое-то мгновение она утратила ощущение реальности, потому что не понимала, что и зачем говорит Фетев, но тут вдруг все снова обрело свои формы. Перед ней стоял улыбчивый человек, в самом деле похожий на рыжего кота, и красовался. Хочет ей понравиться? Глупости. Он держался за спинку стула своими необычно белыми пальцами. Ей надо было понять, в какую игру он с ней играл, ведь он не ждал ее прихода, она объявилась неожиданно. А может быть... может быть, он все же знал, что она в Третьякове и зачем приехала...

— Так что вы хотели выяснить? — спросил он.

Она чуть не сказала: я уже выяснила, но тут же испугалась, потому что вдруг сообразила: если этот Фетев узнает, что лежит у нее в сумочке, она вряд

ли выберется отсюда, уж кто-кто, а он найдет способ ее задержать.

— Просто я не понимаю мужа. Он всегда был честен...

— А я доказал, что это не так, — мягко ответил он. — Но это была моя обязанность. Еще Римское право гласит: «Время доказательств лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает». Ваш муж отрицал, я утверждал. Борьба сторон. Что же подлаешь, она закончилась не моим поражением... Вы приехали, чтобы меня опровергнуть?

— Возможно.

Вот это она сказала зря, но ничего с собой подлаять не могла, почувствовала, что слово из нее вырвалось как вызов, и Фетев сразу же это уловил, отодвинул стул, сел теперь за стол, и тут интонация его поменялась — нет, она не стала более жесткой, а скорее более унылой.

— Понимаете, какая история, Светлана Петровна. Вы живете в Москве, ваш муж жил в Синельнике. Он приговорен был к наказанию с конфискацией имущества. Денег, им полученных, у него не нашли. Ну вот, сейчас я вижу — наши органы совершили недосмотр... или ошибку. Они не пришли к вам. А должны были, должны... Но это можно исправить... Я себе, пожалуй, запишу.

— Вы что же, хотите конфисковать и мое имущество?

— Я?! — улыбнулся он. — Нет, я ничего не хочу. Но правоохранительные органы... Впрочем, я вам зря сказал. Дело закончено, но все же... все же...

— Что «все же»?

Он не отвечал, чуть подался вперед, свел свои пальцы в замок, смотрел на нее не мигая, и страх, который ей удалось подавить, снова начал возникать, он словно бы проникал в нее из воздуха, сам воздух будто был насыщен страхом. Да еще этот немигающий взгляд бледно-голубых глаз. Светлана без труда представила на своем месте Веру Федоровну Круглову и поняла, почему та утратила несгибаемость.

— Неужели вы не поняли меня, Светлана Петровна?

— Вы мне угрожаете?

— Что вы, что вы! — опять улыбнулся он и неожиданно почти пропел: — «Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте»... Хороший поэт Борис Пастернак. Люблю хороших поэтов, люблю хорошие книги. Слабость. Не надо, Светлана Петровна, заниматься вам поисками истины там, где она уже найдена. Вот, если хотите знать, мой добрый совет. И если вы учтете все, что я вам сказал раньше, вы оцените его и будете мне лишь благодарны... Поняли меня?

И вдруг она догадалась: он ее боится. Как это ни странно, а вот боится, потому и хочет утратить, и она знает, почему боится. Ему не нужно, чтобы снова копались в деле Антона. Он завершил его и, наверное, все те, кто потом с этим делом знакомился, удивлялись простоте его и ясности. В науке далеко не всегда вот такая завершенность может восхищать, часто она настораживает, потому что только при подтасовках все проходит гладко и легко, а в истинном поиске всегда натываешься на множество препятствий... Он ее боится. И едва она это разгадала, как сразу же ощутила подлинное облегчение, невольно улыбнулась.

Эта улыбка насторожила Фетева.

— Что-нибудь не так? — спросил он.

— Нет, наоборот, все так... все так. Я очень рада, что увидела вас. Вы интеллигентны...

— А вам казалось, тут сидит жлоб? — Никакого раздражения в его словах не было, но настороженность все же чувствовалась.

— Может быть, — неопределенно ответила она и поднялась, но уходить так было нельзя, надо было немного его успокоить. — Я, конечно, учту ваш наказ. Желаю вам...

Она шагнула к двери. Он не встал, сидел, сцепив по-прежнему белые пальцы в замок, и она поняла: не сумела развеять его настороженности, может быть, это чувство еще больше укрепило в нем.

Выбежав на улицу, Светлана остановилась передохнуть, почувствовала, как у нее учащенно бьется сердце. Эх, черт возьми, она не очень приспособлена для таких разговоров, тут нужен какой-то особый язык, которым владеют только люди, занимающие начальнические посты. Вот, наверное, и Трубицын владеет таким языком. Она оглянулась на особняк, из которого вышла, и попыталась представить, что делает сейчас Фетев: по-прежнему сидит за столом или мгновенно забыл о ее приходе? Может быть, так, а может быть, он сейчас прикидывает: нет ли чего-нибудь у Светланы против него?.. Тут она спохватилась и заспешила к автобусной остановке.

3

Фетев позвонил неожиданно:

— Приветствую тебя, пустынный уголок!

Вечно у него идиотские шутки, к тому же с претензией. Трубицын знал, что ни веселости, ни бойкости Фетева верить нельзя, у этого рыжего всегда какая-нибудь маска, он мягко стелет, да жестко сплет. Трубицын подготовился, что Фетев начнет с анекдота, тот любил так ошарашить, знал анекдотов множество. Откуда черпал — неведомо, но Фетев на этот раз болтать не стал, спросил:

— Объясни мне, ангел мой, дочка этого старика Найдина давно в твоём городишке обитает?

— Несколько дней. А что?

— Ну, и по каким таким причинам она объявилась в родных местах?

— Вот по таким причинам, что это ее родные места. Родителей надо навещать, Захар Матвеевич. Это мы учим молодежь, — ответил ему в тон Трубицын.

Хотя вопросы Фетева были для него неожиданны — неужто ради Светланы надо было звонить в самый разгар рабочего дня? — но Владлен Федорович сразу понял: видимо, что-то у Фетева припасено.

— Правильно учите, — согласился Фетев. — Ну, а не скажешь ли ты мне, навевдалась ли она в Синельник?

— Вполне возможно. Не интересовался.

— А надо бы... Надо бы...

— Что ты имеешь в виду?

— А видишь ли, дражайший председатель, насколько мне известно, дочь Найдина в Третьякове несколько лет не была. А у осужденного Вахрушева денег мы не нашли. И она, между прочим, к нему в колонию на свидание ездила... Вот тут и возникают вопросы. Во-первых, деньги. А во-вторых...

Он сделал паузу, то ли обдумывая, как сказать, то ли ждал — может быть, Трубицын сам задаст вопрос или по-своему отреагирует, но Трубицын молчал.

— Ну, а во-вторых, — вздохнул Фетев, — подозреваю: возможно частное расследование. А мы таких вещей не любим.

Трубицын вдруг рассердился:

— Ну, что же, — сказал он, — тогда это не ко мне. Тут районный прокурор есть. Телефон ты его знаешь.

Фетев не обиделся на резкость или сделал вид, что не обиделся, сказал мягким голосом:

— Прimitивно, ангел мой... Прimitивно. Конечно, я могу районному. Да так и сделаю. Но... Ведь, наверное, есть у тебя с ней общение. Помню, вы давние знакомые, ты и к Найдину питаешь нежность. Приглядишься. Она у меня была. Я не жалею, что принял. Понял — штука непростая. Потому и тебе звоню. Считай — это дружеский совет. Будь здоров, ангел мой...

И сразу же связь оборвалась. Звонок был необычным, Фетев зря не только не побеспокоит, но сам не взбудоражится, а тут ясно было: он озабочен, хотя и старается не подать виду. Все это требовало обдумывания, и Трубицын сказал секретарю, чтобы его ни с кем не соединяли и никого к нему не пускали.

Первое, о чем он подумал: значит, не так что-то с делом Антона, только это могло всерьез обеспокоить Фетева. В этом деле многое не понятно было и Трубицыну, некогда он о нем размышлял и мучился. Есть, наверное, люди, которые считают, будто чуть ли не он подвел Антона под суд, вроде бы как отом-

стил, потому что Вахрушев высказывался при народе о нем не очень лестно. Конечно, ему было обидно, что так поступал не кто-нибудь, а именно Антон, человек, которого он принял поначалу всей душой, верил — у них укреплится настоящая дружба, им было друг с другом интересно. Но этого не случилось, и Трубицын догадывался, почему.

Обвинение Антона во взятке было для него ударом, он в это поверить не мог и попытался защитить Вахрушева, но районный прокурор, человек со староармейскими замашками, предупредил его спокойно, но твердо: не лезь, не твоего ума дела. И ему ничего не оставалось, как быть в стороне, хотя события разворачивались в районе, за который он отвечал. Фетев высказался еще более определенно: если Трубицын попытается защищать Антона, его могут спросить, как он допустил, чтобы у него работали договорные бригады приезжих, и всякие ссылки на доротдел области во внимание приниматься не будут. Лучше бы ему и в самом деле побыть в стороне, тогда впоследствии за такое, пожалуй, похвалят: вот, мол, в Третьяковском районе беспощадны к негативным явлениям, с которыми надо вести войну непримиримую, обнажая все до конца... Так и случилось, да вот и Фетев получил повышение, его заслуга в этом деле отмечалась не раз.

Антон денег у бригадира Урсула взять не мог, да они ему и не нужны были. Машину он купил еще до того, как поступил на работу в Синельник, это все знали, купил ее на деньги, заработанные во флоте... Для чего ему двадцать тысяч? Дом он строить не собирался, да и покидать Синельник не думал.

Конечно же, никакой взятки не было. Правда, против Антона были выставлены такие свидетели, как Круглова, которую считали чуть ли не совестью Третьякова, сам бригадир Урсул, да и его Сергей... Он знал, почему Сергей оказался в свидетелях, но даже словом с ним на эту тему не обмолвился. Трубицыну было указано стоять в стороне, он и стоял. Да, свидетели сильные, и Антон против их показаний не смог удержаться. Следствие сработало быстро, четко, и суд прошел так же быстро, никто и опомниться не успел, как все завершилось. Но Трубицын знал Фетева, этого человека с барскими замашками, с любовью к хорошей еде, хорошим винам, к женщинам, театру. Он славился еще и тем, что имел одну из лучших библиотек в городе: его отец, тоже когда-то прокурор, собирал ее. Любители редких книг завидовали Захару Матвеевичу. Знал Трубицын, что Фетев обладает удивительной способностью давить на людей как бы без нажима, вроде даже и не давить, а заставлять вздрагивать от неожиданно преподнесенного им факта, которым он бог весть как запасался, да еще к этому прибавить его особую манеру говорить, которая как бы обволакивала человека, делала его беспомощным, когда он сидел перед следователем. Можно представить, что Фетев способен вынудить любого давать показания в нужном ему направлении: в его руках и безвинный в самом тяжком грехе покается. Сколько ни было проверок его дел, всегда в них все оказывалось чисто и точно, они проходили через суд, как по писанному. Его давно собирались повесить, после дела Антона он и поднялся сразу.

И почему выбран был для того именно Антон, Трубицын тоже понимал. Во-первых, директор подсобного хозяйства всегда вызывает подозрение, хозяйство это вроде бы не подотчетно, там есть возможность смухлеть, во-вторых, Антон прибыл с флота, и это настораживало: как человек сумел бросить интересную жизнь ради того, чтобы забраться в такой угол, как Синельник. Ну и, наконец, все же у него работали шабашники, да еще за такие деньги. Вот сколько здесь сошлось. Анонимка? Ее многие могли написать да и организовать, если уж на то пошло, тот же Фетев. Ему срочно нужно было громкое дело о взятках, а взятку поймать нелегко, всем известно, но дело было нужно, и он его получил. К выводу этому Трубицын пришел не сегодня, он немало думал о Вахрушеве, и само собой получалось, что выстроился такой вот логический ряд. Он

искренне жалел Вахрушева, но ничем ему помочь не мог, чувствовал свою вину и перед Найденым, потому в последнее время часто заезжал к нему.

Да, конечно же, было бы, наверное, иначе, если бы сам Антон повел себя по-другому, не заносился, не говорил ему гадостей. Ну, не нравилось ему, что приходится встречать и провожать различных представителей из области, из Москвы, устраивая им всякие обеды, ужины на природе. Где-нибудь на опушке леса жгли костры, делали шашлыки из молодого барашка, пили коньяк. Обычно тяготы эти ложились на председателей колхозов, на директоров — у исполкома денег нет, — но это как-то само собой вошло в обычай. А если не пир на природе, то финская баня — построил такую молокозавод. Антон же у себя на подсобном наотрез отказался принимать кого-либо из гостей. Никто ему и не возражал, отказался и отказался, но зачем кричать на весь белый свет: мне опостытели эти жующие морды, харчатся за казенный счет. Не морды, а деловые люди. Не все дела решаются в кабинетах, это-то уж Антон вполне мог бы усвоить.

Трубицын помнил, что, как только стал председателем облисполкома, ему позвонил Федоров, сказал: — Тебе, старина, надо в президиуме посидеть. Легче жить будет. Я позабочусь.

Он уж тогда многое понимал, понял и это. Шло большое совещание в области, его посадили в президиум, в нем — с полсотни человек, и дело было вовсе не в том, что ты сидел лицом к залу и все могли тебя видеть, а в том, что вроде бы попадал в другую среду обитания, где все проще, легче и самое важное — не заседание, а перерыв, когда ты оказывался в большой комнате, а там стояли столы с бутербродами, водой, и можно было поговорить с человеком, на прием к которому надо пробиваться иногда месяцами, а тут он с тобой запросто, и ты с ним, и можно о чем-то договориться, не для себя — много ли человеку надо? — для района. Искусство общения — великое искусство, одно из главных, тут надо суметь угадать и что человек любит, и какие у него взгляды, что его раздражает, а когда угадаешь, то легче договориться и он тебе поможет. Третьяков получит лишнее кровельное железо, цемент, лес, машины, а если будут заваливаться с планом, в критический момент и подправят, помогут, и тогда не попадешь в отстающие, не все равно — на каком ты месте... Были такие заботы у Антона? Ни черта не было! Он о них и понятия не имел, видел только верхний слой. А что по верхнему слою определишь?

Да к чему эта оправдательная речь? Ее все равно не перед кем произносить, разве только перед самим собой. А Трубицын тоже живет надеждами. На дворе — семьдесят третий год, все вокруг насторожилось, подобралось, каждый чутко прислушивается к происходящему, и не надо быть большим политиком, чтобы понимать: всякие сейчас могут быть перемены, и необходимо быть настороже, это очень важно — быть настороже.

Нет, конечно же, не случайно встревожился рыжий Фетев. Сам Трубицын не догадался, что Светлана может начать частное расследование. А вот Фетев это усек тут же... Зачем она к нему пошла, что ей там было нужно? Сейчас надо повести себя так, чтобы и Светлане, и Найдину, да и кое-кому в области было ясно: он в вину Антона не верит, об этом высказывал мнение, но с ним не посчитались. Хорошо бы, если у этой мысли были и письменные подтверждения. Он это продумает, очень серьезно продумает. В нынешнее зыбкое время страховка нужна особо тщательная, а то из-за такого вроде бы косвенно относящегося к нему дела можно и оступиться, а не надо бы... совсем, совсем не надо.

Приняв такое решение, он немного успокоился, однако же раздражение не покидало его, и, когда он снова начал принимать людей, раздражение лишь усилилось, он был недоволен собой за то, что не сумел оказаться таким проникательным, как Фетев.

Он постарался закончить работу пораньше; конечно, поход на корт, потом хороший душ приведут

его в порядок. Когда сел в машину, чтобы ехать домой, вдруг подумал: надо бы увидеть Светлану. Если она вернулась из областного центра, может быть, многое и прояснится, и он велел Сергею остановиться подле дома Найдина.

Трубицын вышел, нажал кнопку звонка, дверь открыл Петр Петрович, посмотрел на него насмешливо:

— А-а, — сказал он, — хозяин района... Ну, заходи, Владимир Федорович, заходи...

— Да я накоротке, — беспечно ответил Трубицын. — Мне бы только Светлану Петровну повидать...

Найдин взглянул на него, будто прицелился, кашлянул:

— А она еще не приехала. Звонила только что. Глядишь, через часок будет. Ну, а со мной поговорить не хочешь?

В словах Найдина он ощутил какую-то слабую, непонятную угрозу. Заходить в дом ему не хотелось, но он все же переступил порог.

Найдин сразу же провел его к себе в кабинет, не крикнул, как обычно, жене, чтобы подавала чаю или еще чего-нибудь, а сел в свое продавленное кресло, указал Трубицыну на стул. Старик наклонил голову, она отсвечивала темным блеском, в глазах сгустилась зелень и будто бы тоже начала светиться; во всей позе Найдина, в его плотно сжатых корявых, увечных пальцах был тревожный вызов. Трубицын понял: в старике бушует нехорошее, он сдерживается, чтобы не выплеснуть все сразу, но, наверное, все-таки выплеснет, и надо быть к этому готовым. Однако Найдин молчал, и паузы Трубицыну хватило, чтобы обрести решимость ничему не удивляться, он внутренне собран, а это даст ему возможность мгновенно оценить ситуацию и повести себя согласно ей.

Найдин откинулся на спинку кресла, протянул руку к пачке фотографий, лежавшей на столе, сказал командно:

— Читай!

Это были фотокопии документа, и первые слова обострили внимание: «Генеральному прокурору...». Трубицын читал письмо Кругловой и прикидывал, что ответить Найдину. В чем тут дело, Трубицын сообразил сразу, даже усмехнулся: какое чутье у Фетева!

— Ну, что же, — сказал как можно спокойнее Трубицын, возвращая документы Найдину. — Это серьезно. — И, немного помедлив, добавил: — И хорошо...

— Что же хорошего?

Найдин произнес это так, что, казалось, вот-вот может сорваться на крик. Прямолинейный старик, все они такие; надо бы развеять недоброжелательность Петра Петровича.

— Я рад, что вы мне доверяете, — сказал Трубицын, — но хотел бы предупредить: не следует прежде времени такие документы разглашать. Во мне вы можете быть уверены.

— А мне, однако, все равно, — усмехнулся Найдин. — Мне сейчас Лось звонил. Документы-то у него.

«Крепко», — подумал Трубицын, но тут же прикинул: э-э, нет, Фетев так просто не сдастся, тут будет борьба, и нелегкая, Фетев ведь явно на место Лося намылился. Зигмунд Янович сидит давно, много болеет, а замена старых кадров неизбежна, и многие из тех, кому сейчас за сорок и которые заждались своего часа, вышли на стартовую дорожку, только ждут сигнала, чтобы рвануть вперед. Начнется отчаянная скачка, а к финишу придет тот, у кого больше козырей, кто окажется смелее в отвержении устоявшихся норм и предложит нечто свое. Конечно же, у Фетева кое-что есть в запасе, он на декларации мастак, да и за плечами его немало раскрытых преступлений, громких дел, отвечающих духу времени. Да, Фетев вышел на стартовую дорожку, потому так и насторожен, потому и сообразил, что означает визит Светланы. Примет ли он какие-нибудь меры или Лось? У Зигмунда Яновича опыт и репутация. Вот какая напряженная предстоит борьба.

Но Трубицыну в ней участвовать не следует. Скорее всего события начнут разворачиваться где-то недели через две. Ну что же, он давно не был в отпуске, да и врачи его теребили — пора, мол, лечь на обследование. Но то ходы пассивные, нужно нечто

более серьезное. Однако об этом не в доме Найдина.

Он встал, улыбнулся, сказал:

— Будем надеяться, что все обернется в пользу Антона. Я бы этого хотел.

И, не дав старику ничего ответить, кивнул и вышел из дому.

Едва машина тронулась, как мысль заработала стремительно. Нет, тут не все просто, Лось — старый приятель Найдина, не любит Фетева, он развернет дело. Да и вообще в воздухе пахнет серьезными грозами. Трубицын может опоздать; ему тоже надо быть готовым к скачке... Письменное подтверждение? Вот что он сделает: нужна статья, хлесткая, сильная, о нарушениях законности в области, он сумеет собрать факты, да кое-что у него есть, а в центре будет дело Антона. Да, он сделает прекрасную статью. У него сохранились ребята в редакции. Есть надежный парень в Москве. Он ему вышлет статью, но предупредит — печатать тогда, когда даст команду; ведь в области еще все на местах, еще чувствуют себя крепко, однако вряд ли это надолго. Воздух накаляется, и взрыв неминуем. Нельзя давать такую статью раньше времени, но нельзя и опоздать... Он будет получать информацию хотя бы от того же пройдохи Федорова, ублажит его кое-чем, и, как только поступит к нему нужное сообщение, сразу же команда приятелю в Москве: давай! Вот тогда выстрел его окажется первым. Да еще если в этой статье раскроются пружины обветшавшего экономического механизма, что и приводит неизбежно к нарушениям, — цены ей не будет... Вот так!

Машина остановилась возле его дома.

«А теперь на корт!» — радостно подумал он, потому что решение было принято и цель определена; в этой скачке он должен стать победителем, может быть, другого такого шанса у него и не будет.

4

Зигмунд Янович сидел, не зажигая света, хотя было уже за полночь, темнота сгустилась, за открытым окном плескался дождь. Город дремал — не бодрствовал, не спал, а именно дремал, — и Зигмунд Янович, много, очень много лет проживший в этом доме послевоенной постройки, знал все его звуки, раздающиеся по ночам, мог отличить дальнейшее беспокойное дыхание металлургического комбината от занудливо звенящего скрежета ТЭЦ, веселое щебетание молодых компаний, бредущих за старыми осокорьями, от сварливой супружеской перебранки, хотя расстояние до тротуара было немалое, там фонари лили желтый маслянистый свет на темную зелень листьев. Свет этот не нравился Зигмунду Яновичу, раньше фонари были молочно-белыми, а сейчас поставили вот эти. Он все хотел спросить у главного электрика города, зачем это сделано, но забывал.

Он часто мучился бессонницей, снотворное не помогало, и он привык сидеть в красной атласной пижаме в кресле у окна и слушать звуки ночи. Лось отдыхал в эту пору, и если под утро ему все же удавалось заснуть на два-три часа, то потом он был бодр весь день. Но нынче, после прихода дочка Найдина, все было иначе.

Она явилась к нему после того, как над городом ударила гроза, с зонтика у нее капало, но дочь Найдина, не обратив на это внимания, повесила его на крюк вешалки, быстро сняла косынку, энергично тряхнула головой, чтобы освободить волосы от влаги: они были у нее тяжелые, соломенного цвета со светло-коричневыми прядями, упали свободно на плечи, и только после всего этого она всерьез взглянула на Зигмунда Яновича темно-зелеными глазами, очень быстро, оценивающе, и он ахнул — до чего эта женщина похожа на Катю, вторую жену Петра Петровича. Вроде бы когда была девочкой, то скорее походила на отца — это из-за зеленых глаз, а сейчас... Вот ведь сколько лет прошло, а Катю Лось помнил, недолго ее знал, но запомнил, может быть, потому, что, когда встречались, были годы особые, вспоминали и войну, и другое, мысли и вера у них в ту пору

была одна: должна наступить пора честности и людской открытости... Да, тогда они в это верили самоабвенно.

«Как ее зовут?» — напряг память Зигмунд Янович и тут же вспомнил: Светлана. Ах ты, как нехорошо забывать имена.

— Что же вы не предлагаете мне пройти? — улыбнулась она.

Улыбка изменила ее лицо, оно сделалось добрее, крупные черты потеряли резкую очерченность, очень правильной формы губы приоткрыли идеально ровный строй зубов, и на щеках обозначилось нечто вроде ямочек.

— Прошу, — сказал Зигмунд Янович и отступил.

Вот уже семь лет после смерти Насти он жил один. Настя была ему верной женой, ждала его и после финской, и из лагеря, и с войны; вместе состарились, один сын уехал в Ленинград, другой — в Казахстан. Сыновья стали дедами, не всех своих правнуков Зигмунд Янович видел, фотографии, правда, были, письма ему сыновья изредка присылали. В квартире у него всегда было чисто, приходила женщина — работала уборщицей в обкоме, — молчаливая, спокойная, убирала, стирала, а когда он болел — готовила еду, он платил ей и по старинке называл домработницей, хотя племя этих жительниц городов почти исчезло.

Зигмунд Янович так и не переоделся после врачей, остался в атласной алой пижаме с блестящими обшлагами, он ее любил, она была легкой и приятной. Но едва он сел в свое кресло, как почувствовал — все же надо было хотя бы рубашку надеть, а то неловко как-то. Это ощущение рассердило его, и он сказал строго:

— Я батюшку вашего уважаю. У нас с ним много связано. Однако... — Он сделал паузу. — Однако, — повторил он, — я ему сказал: никакого протекционизма не терплю, от кого бы он ни исходил, и если что-нибудь будет не так, то уж вы на меня не серчайте...

— А что «не так»? — с улыбкой, скорее всего насмешливой, чем доброй, ответила Светлана. — У нас все так. А вот у вас... Впрочем, в этом вы сейчас убедитесь. Но вы ведь с отцом дружны смолоду. Да? Я вас помню. Ну, не таким, а прежним помню. Вы веселый были. Почему же сейчас так меня встречаете, будто недруг к вам пришел?

Ему нравилось, как она открыто, безбоязненно смотрела на него. «Вот чертовка!» — подумал он, и тут его раздражение улеглось. Ведь, в самом деле, он всегда был веселый, заводила, запевала, и после войны, особенно в шестидесятые, когда его стали двигать все выше и выше, он ощущал себя свободным, многое умеющим. Он был высок, с длинным носом, над которым потешались в молодые годы, особенно над бородавкой — он так ее и не свел, хотя, наверное, мог бы, однако женщинам он нравился: стройный, с рассыпчатыми светлыми волосами, которые долго не седали. А сейчас он обрюзг, сгорбился, да и облысел, правда, над ушами еще сохранились пегие волосики. Он постарался увидеть себя глазами Светланы и внутренне усмехнулся: ну, конечно же, он кажется ей злым плешивым стариком, не умеющим и слова доброго сказать.

— А как я вас должен встречать? — спросил он Светлану с любопытством.

— Как дочь друга молодости встречают. Ну, хотя бы чаем угостили. Я с утра из Третьякова. Есть хочется.

Она сказала это так, что сразу сделалось неловко и мелкокнуло: вот бы слышала-видела такое покойница Настя, она бы ему это не спустила, она бы ему такого жара дала! Дом их в самые голодные времена хлебопекным считался, все, кто приходил сюда, могли рассчитывать — семья Лося поделится последним.

— Да что же вы сразу не сказали! — в смущении воскликнул он.

— А все ждала: вы предложите.

Зигмунд Янович оперся большими руками о стол, поднялся, пошел было один, шлепая тапочками, к

кухне, но тут же остановился, попытался улыбнуться:

— Я ведь вдовствую. Может, вы похозяйничаете?

— Ну конечно!

Они прошли на кухню, просторную, светлую — сейчас таких и не строят, все здесь блестело. Настя любила чистоту, Зигмунд Янович привык к этому и после уборки домработницы старался чистоту поддерживать.

— Я обедал, — сказал он. — А вы... Вот холодильник, что понравится...

— А кофе выпьете?

— Кофе выпью.

Светлана легко отыскала передник, зажгла газовую плиту. Зигмунд Янович следил, как она ловко орудует, чувствуя себя и в самом деле хозяйкой, и более никакого раздражения не испытывал, ему начинали нравиться в ней ловкость движений и то, как она откидывала тяжелую прядь волос со лба, он чувствовал — в этой женщине есть сила и твердость, внутренняя пружина, которая, внезапно разжавшись, поведет человека на самое отчаянное. Он видел: есть продолжение найдинского в этой женщине.

Хлопоты на кухне чем-то сблизили их, он и вправду начал считать ее тут почти своим человеком и, когда она расставила еду на столе, сказал, как бывало говаривал Насте:

— А кофе — полчашечки.

— Ага, — кивнула она и, прежде чем приняться за еду, вынула из сумки бумажки, бережно положила перед ним:

— Это чтобы времени не терять. Пока мы застольничаем, вы и прочитаете.

Он по-своему понял ее маленькую хитрость: вот, мол, отвлекись, а то ведь не очень приятно, когда наблюдают за жующей. Едва он прочел первые строки: «Генеральному прокурору...» — словно обжегся, хотел отодвинуть бумаги от себя — это все не мне, — так бы, наверное, он и поступил с другой, но тут все же утихомирил себя и начал читать...

Зигмунд Янович прочел бумаги один раз, второй. За свою долгую работу он привык к неожиданным поворотам дел, и это вот заявление, подписанное главным свидетелем обвинения по делу Вахрушева, где Круглова не только отказывалась от своих показаний во время следствия и на суде, но и утверждала: вынудили их дать под угрозой, — не были для него вновь, случалось и такое, и, если подобное подтверждалось, тогда возникало дело против следователя, однако до сих пор это происходило со следователями милиции, а тут... Если эти бумаги — правда, то тяжкая тень падает на прокуратуру, стоящее на охране правопорядка учреждение, которым он руководит долгие годы. Получить такую оплеуху... Впрочем, бывало и другое: отказ свидетелей от своих показаний возникал по иным причинам: случался и подкуп, шантаж разных людишек, мол, если не откажешься — заплатишься, да мало ли что... Могло быть такое? Вполне. Нет, здесь неважно, что принесла это заявление дочь Найдина, которому он всегда верил, ведь женщина, пришедшая к отчаянию, способна на многое. Так или иначе, но бумаги нуждались в особом расследовании; он бы отнесся к ним скорее всего привычно — каких только дел не поступает в прокуратуру! — но то, что за ними стоит Петр Петрович, он при всем желании быть сверхобъективным отбросить не мог. Не растратил же он всего человеческого и не превратился в машину, лишённую каких-либо эмоций! Итак: с одной стороны Найдин, а с другой — его заместитель Фетев, человек в юридических кругах репутации безупречной. Были такие, что считали Фетева талантом, но, хотя Зигмунд Янович многого в Фетеве не принимал, факт остается фактом: когда Фетев работал следователем, у него нераскрытых дел не бывало, ни одного возврата на дознание, ни одной ошибки не всплывало на суде, данные у него для этого есть. Если сейчас Лось затеет дело против Фетева, это могут считать за страх перед человеком, готовым занять его место. Глупость, дела от него уходили чистые, ясные.

Лось знал, что в обкоме шли разговоры: надо думать о Фетеве как о будущем прокуроре области, все,

конечно, но... Он не дал в себе пробудиться ни удивлению, ни возмущению, да и никакому иному чувству, он должен быть сейчас холоден до предела, а то, что эти бумажки — взрывчатка и она рано или поздно сработает, ясно. Взрыв будет направлен и на него, на его репутацию бескорыстного служаки, на его честь и достоинство, ибо он, если притормозит ход этих бумаг, невольно прикроет Фетева, а стало быть, начнет ложную борьбу за «честь мундира». Найдин прислал к нему свою дочь, чтобы предупредить: старик не остановится, он сумеет пробиться и дальше, а дочь у него решительная, она сориентирует отца в нужном направлении, и они добьются пересмотра дела... Вот теперь ясно, что такое Светлана: она для Найдина будто детонатор, может так его распалить, что заглохший вулкан проснется, ведь имя Найдина в истории... Вот как все непросто и требует осмысления. Но вряд ли эта женщина даст ему время...

Пока он размышлял, Светлана успела не только поесть, но и вымыла посуду, все убрала на кухню.

— Ну, что вы мне скажете? — спросила она.

— Скажу, — вздохнул он, — что ни один юрист не имеет права принимать жалобщика на дому. Устраивает?

— Нет. Я была у вас сегодня на работе. Разговаривала с товарищем Фетевым.

Он без труда уловил иронию в слове «товарищ», усмехнулся:

— И вы показали ему эти документы?

— Нет, — рассмеялась она. — Я туда ходила совсем по другим причинам. Мне надо было самой убедиться, что Круглова права.

— Убедились?

— Да.

— И каким образом?

— Вам, Зигмунд Янович, не приходило на ум, что Фетев похож на ласкового тигра? Говорили — на кота, таким сначала он мне и казался, но потом я его тигром увидела. Поднимает лапу, словно хочет погладить, ты подставишься, а он когти выпустит, да как схватит мертвой хваткой! — Пока она говорила, улыбалась, но тут же нахмурилась, и речь ее сделалась резкой. — Он мне угрожал. Мол, я живу в Москве, а муж обитал в Синельниках. Вахрушев осужден с конфискацией. А мои-то вещички не тронули, упустили. Да и денег у Вахрушева не нашли. Значит, они могут быть у меня. Из всего этого я должна была сделать вывод: если буду заниматься делами мужа, то надо мне ждать обыска, ну, и конфискации, а если посижу тихо, то сия участь меня может миновать. Прямо это, конечно, сказано не было. Но угадывалось легко. Живи, но не рыпайся, с огнем играешь... Какая женщина от такой угрозы в наши дни не дрогнет?

— Вы дрогнули?

— Нет, ведь у меня в сумке были эти документы.

Зигмунд Янович задумался. Да, решение он уже принял, хотя воплотить его будет нелегко, даже если все, что написано у Кругловой, — правда; возникает множество препятствий, пока дело Вахрушева будет пересмотрено, ведь, как ни горестно сознавать, а попасть под стражу легче, чем выйти из-под нее, оправдательных приговоров почти не бывает, он, во всяком случае, знает о них как о большой редкости. И ему вдруг стало жаль эту женщину — дочь его старого друга, который когда-то, как ребенок, радовался, что Зигмунд Лось на свободе, невиновен, да и пятно с него снято, и не кто иной, как Найдин, тогда говорил: «А ведь еще хуже могло обернуться. Иных, кто до войны отбывал, опять туда же загнали. Тебя вот не тронули. Боевых орденов много... Да, наверное, случилось и с боевыми... Ты счастливый человек, Зигмунд!»

Он все это сейчас вспомнил и спросил:

— Вам Антон пишет?

— Я была у него.

— Расскажите...

Зигмунд Янович слушал и неожиданно вспомнил, что Настя уже после войны рассказывала, глотая слезы, как стояла под проливным дождем у тюремной стены, прижимая к груди с трудом собранную передачу, в надежде, что передачу примут. Она стояла в

огромной молчаливой толпе женщин, обогревавших друг друга телами, боявшихся хоть слово сказать соседке, потому что это самое слово могло даже сквозь каменную стену старинной кладки долететь до тех, кто охраняет и допрашивает мужа, и это неизбежно ему повредит, ведь в ту пору мнилось: любое слово можно истолковать во вред. Сколько же дней и ночей Настя так простояла, пока он был в тюрьме и шли нелепые допросы его, человека, сполна хлебнувшего горечи на финской!

Не было для Зигмунда Яновича ничего страшнее в работе следователя, чем насилие, в каком бы оно виде ни применялось, вот с этим он никогда не смирялся, потому что помнил, как много лет назад над ним измывался твердолобый следователь, требуя признания, что Лось — агент панской Польши, а Зигмунд Янович и польского языка почти не знал, вырос здесь. Когда-то прадеда его сослали в Сибирь, к Байкалу, а потом уж, в конце прошлого века, то беспокойное польское поселение разбрелось по разным российским городам. Отец Зигмунда стал учителем русской словесности да и женился на русской, правда, имя сыну дал польское — это в память деда. Какая там к черту разведка пана Пилсудского!.. Но тот лобастый следователь, которому дана была команда вырвать у Лося признание, сбивал его прицельным ударом кулака на пол, орал: «Я из тебя, псекревленный ублюдок, вытащу, как ты Родиной торговал! Не таких гадов кололи!» Чтобы унижить Зигмунда, оправлялся на него, норовя попасть струей в лицо... Это осталось в памяти навсегда, но не обернулось злобой на все и вся.

Пожалуй, он и пошел в юристы, чтобы понять: есть ли закон? И неважно было, что после учебы занял место нотариуса, он готовился к большему и добился его, благо сменилось время. Он был убежден — оно сменится, и не ошибся.

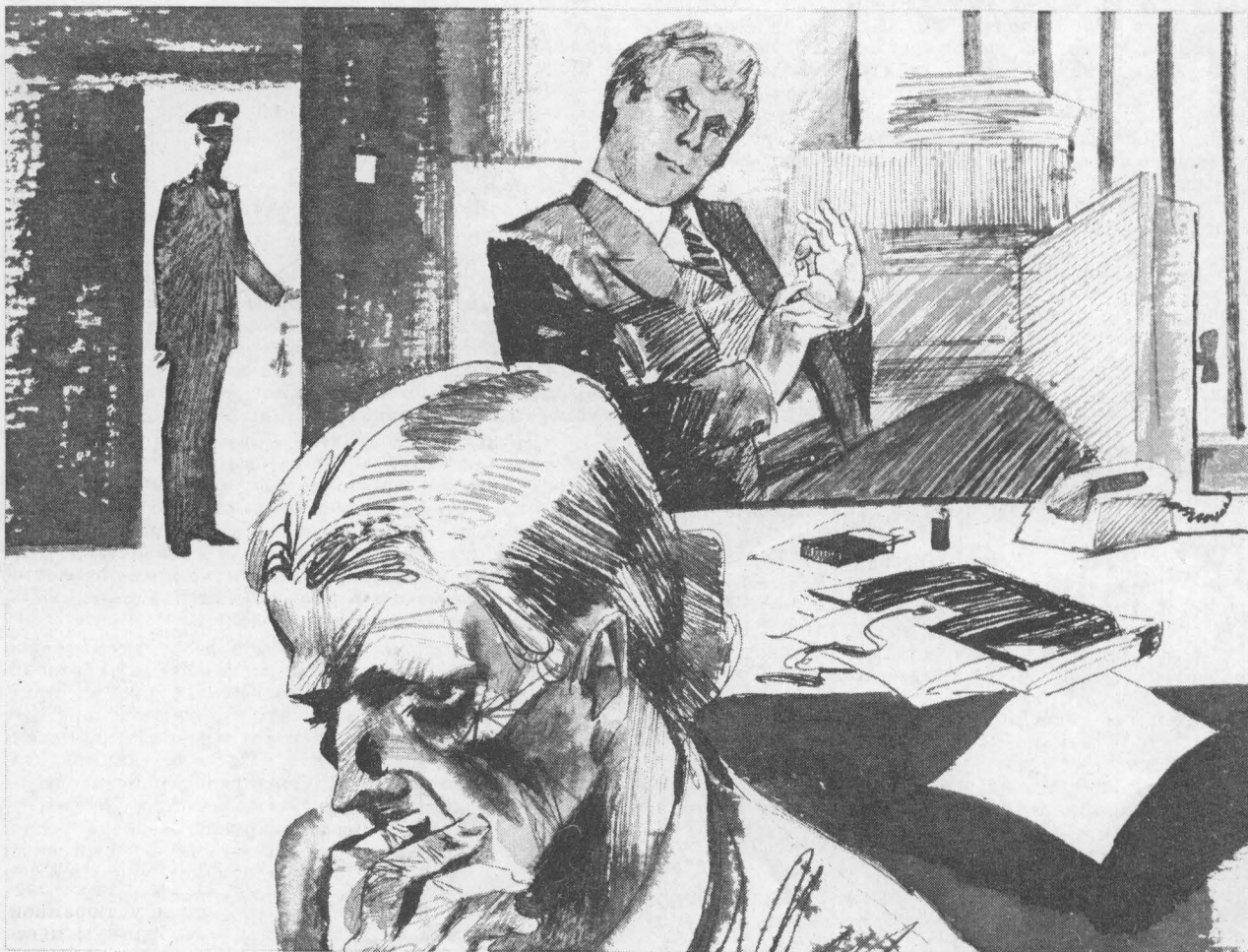
Фетев, Фетев... У Зигмунда Яновича всегда была

некая неприязнь к этому человеку, но он старался подавить ее в себе, даже не мог объяснить, что раздражало в Фетеве — вроде бы отличный работник, веселый человек, образован, работает легко, и все ему удастся. Лось хотел быть объективным; пусть Фетев двигается по служебной лестнице, и то, что у Зигмунда Яновича есть какая-то личная, не совсем понятная неприязнь к Фетеву, не должно мешать делу. Ну, а сейчас все начинает оборачиваться иной стороной. Возможно, и прежде Фетев так вот добивался показаний подследственных и свидетелей, ведь лишь безупречно отточенные методы срабатывают наверняка. Надо это проверять, никуда не денешься... Конечно, Зигмунд Янович направит самым срочным образом документы в Прокуратуру РСФСР, там должны будут запросить дело, заняться пересмотром его в порядке надзора. Должны? Все это легко сказать. Зигмунд Янович мысленно усмехнулся, вспомнив свои ежедневные папки, набитые бумагами, в которых жалобы, просьбы, требования, их прочесть внимательно в прокуратуре не успевают. А что творится в республиканской на Кузнецком мосту в Москве? Бумаги, бумаги, бумаги, и в каждой из них — крик о помощи. Если бы эти бумаги заговорили разом, все, кто был бы рядом, оглохли... Ну, протест от прокурора области все-таки кое-что значит, но не всегда, нет, не всегда. Те возносящиеся в поднебесье горы бумаг, что ныне окружают любого столоничальника, порой не пропускают даже голоса Лося. Его просто могут не услышать.

— Ну вот что, — сказал Зигмунд Янович Светлане, — коль мы с вами этим занялись, то пошли в кабинет. Садитесь и пишите на мое имя письмо с просьбой о пересмотре дела. И укажите там, как и мне говорили, что Фетев на вас давил...

— А зря на вас отец разобиделся, — улыбнулась она.

— Да вы не спешите, — нахмурился Лось. — Еще



ведь неизвестно, как все кончится. Тут хлопот и хлопот. Да и можем мы с вами в тупик упереться, из которого выхода не найдем, даже если будем знать, что он есть.

— Открытый лабиринт, — сказала Светлана.

— Что это такое? — не понял Лось.

— А это вот что такое. У нас в институте на досуге играют в математическую игру при помощи микрокалькуляторов. Вход — это число. И выход — тоже число — известен. Открытый лабиринт. Двигайся по нему, рано или поздно, а выйдешь. Но в том-то и штука: выход видишь, а пройти к нему иногда и года не хватит, если только этим заниматься.

— Но у нас с вами не игра, у нас дело.

— Я тоже так понимаю.

Они прошли в кабинет, и, пока она писала, сидя за его столом, он рассказывал по ковру, шлепая тапочками, заложив руки за спину — давняя привычка. Увидел себя в зеркале, стоящем в коридоре: да, плешивый старик с длинным бородавчатым носом, и еще в этой крикливой пижаме, купленной ему женой младшего сына. Видимо, она посчитала — прокурор должен ходить дома в алом атласе, дабы и те, кто его застанет в квартире, видели на нем пурпур власти. Только сейчас он об этом подумал и усмехнулся: вот ведь глупость какая!

Светлана писала старательно, высунув кончик языка, как школьница, и, когда закончила, облегченно вздохнула:

— Все!

Он пробежал глазами бумагу: она была написана сжато и толково.

— Лады! — сказал он, и Светлана, наверно, поняла — ей пора уходить.

Она протянула ему руку, пожатие было твердым.

— А батюшке вашему я позвоню.

Он проводил ее до дверей, постоял в прихожей, потом решительно направился в кабинет. Надо было воплощать то, что он задумал: прежде всего срочно и надолго выпроводить Фетева. Пусть объедет с проверкой северные районы области. Проверку эту они давно намечали, да и от Третьякова Фетев будет далеко, ну, а на всякий случай, если туда заглянет самовольно, Зигмунд Янович предупредит районного прокурора, чтобы тот ему лично немедленно сообщал обо всех, кто появляется в Третьякове из областной прокуратуры.

Лось снял трубку. Фетев оказался на месте, сделал вид, что обрадовался звонку, расспросил, как здоровье. Зигмунд Янович ему доверительно сообщил результаты анализов — это был знак особого расположения, ведь такое раскрывают только близким, и, в свою очередь, спросил: как чувствуют себя домашние Фетева. Тот отшутился: мол, домашние всегда себя как-то чувствуют. Так они поговорили, потом Зигмунд Янович как бы с ленцой сказал:

— Надо бы вам, Захар Матвеевич, завтра же направиться в северные районы. Мы и так это дело затянули. Помните, был разговор? — Лось почувствовал, что Фетев что-то хочет сказать, и сразу же поменял тон на более жесткий. — Нас через два месяца слушают на бюро обкома, а мы не готовы. Да, не готовы! Я сам хотел ехать в эти районы, да вот видите, как прихватило. А проверка там обязательна. У вас будут личные впечатления. Возможно, я договорюсь: вам дадут слово на бюро. — Зигмунд Янович понимал, как много это значит для Фетева, это ведь содоклад, к которому тот будет готовиться, чтобы блеснуть по-настоящему. — Полагаю, двадцать дней вам хватит.

Срок был, конечно, маловат, и Зигмунд Янович ждал, что Фетев попросит дополнительные дни, но тот ответил:

— Постараюсь уложиться. Но как быть с металлургическим комбинатом? Он ведь у меня на контроле по припискам. — Это была попытка хоть немного оттянуть срок командировки.

— А никак не быть, — запросто сказал Зигмунд Янович. — Дело-то было раскручено. Пусть люди работают. А вернетесь — проверите, что сделано. Прошу вас не медлить. Завтра же выезжайте. Я уже получил предупреждение, чтобы вопрос на бюро был

поставлен серьезно, насыщен фактами. Сами понимаете, какое время. Общими местами не отделаемся. Это бы надо было сделать еще вчера, да моя вина. Заболел не вовремя. Впрочем, кто болеет вовремя? — шутливо добавил он.

Но Фетев шутки не принял, сказал озабоченно:

— Тогда разрешите к вам наведаться. Я мигом...

— А зачем?

— Командировку подписать надо. Ну еще...

— Что ж, заезжайте.

Зигмунд Янович понял — взял с Фетевым тон правильный, но у того сильна интуиция, все-таки, что ни говори, а Фетев талантлив по-своему, ловок, вот ведь пошел в деле Вахрушева наверняка по неизведанному пути, но заранее был убежден — сработает чисто, даже свидетеля такого отыскал, как Круглова, ее сумел подмять, а обычно подобные люди не из вояска. Да, ему нужно было громкое дело о взятке, потому что прокуратуру попрекнули, что она слабо еще ведет с этим борьбу, он тут же и нашел, вернее, создал такое дело, да скорее всего, что так...

Фетев приехал быстро, сразу же открыл папочку, положил перед Зигмундом Яновичем отпечатанный на машинке приказ, командировочное удостоверение, сказал:

— А вид у вас, Зигмунд Янович, неплохой.

— Мне и в самом деле лучше, — сказал Лось, подписывая документы, — скорее всего через денек выйду.

Он не был в этом уверен, но говорил бесечно, чтобы Фетев убедился: Лось все будет держать под контролем. Впрочем, об этом Фетев и так знал.

— Ко мне дочь Найдина приходила, — внезапно произнес Фетев.

Лось тут же сообразил: Фетев ведет разведку — а не была ли Светлана здесь?

— И зачем же? — еще раз проглядывая приказ, спросил Лось.

— А я и сам не понял, — весело сказал Фетев. — Думал, будет о муже ходатайствовать, но... Не к нам ей надо обращаться, а в Москву.

Лось хмыкнул:

— Да зачем вы мне об этом?.. Мало ли у нас посетителей? Столько дел, а вы черт знает о чем. — В голосе его прозвучало раздражение.

Но оно не смутило Фетева.

— Я подумал, — сказал он, — вам это надо сказать, ведь вы с Найдным, как ходят слухи, друзья молодости. Воевали вместе...

Лось про себя усмехнулся: умен, умен, а разведку ведет грубо, значит, обеспокоен, а может быть, и узнал, что Светлана тут побывала, или предположил такую возможность. Да, приход ее в прокуратуру явно напугал Фетева, теперь это видно, но Лось сделал вид суровый, поджал губы — он знал, в прокуратуре настораживаются, когда он вот так поджимает губы, — и сказал сердито:

— «Друзья». Ну и что? Друзья вне дела. Или я вас этому не учил? — Но тут же смягчил тон. — Да, мы с Найдным были однополчанами. Но ведь и мы с вами сослуживцы, а это вроде однополчан... Конечно, не совсем. Война все-таки... — Он не договаривал, задумался и, словно заканчивая разговор, твердо сказал: — Но это в прошлом. Знакомство и законность — вещи непересекаемые. Это мой давний принцип. — Лось вздохнул. — Давайте-ка к делу.

И стал объяснять Фетеву, что особо внимательно надо отнестись к фактам нарушения техники безопасности, много аварий на северных заводах, их предотвращения скрывают, потому что снижаются показатели, а люди гибнут и становятся инвалидами. Районные прокуроры плохо ведут надзор за такими делами; ведь часто районный центр зависит от завода, от его дел, от плана, вот и укрывательство. Не секрет, что в иных местах директор крупного завода — полный хозяин района и города, тут нужен серьезный анализ, и на бюро с этим вопросом нужно прийти хорошо подготовленным. Должен посмотреть Фетев и как идут дела с государственной отчетностью. Фетев уже знаком с механизмом приписок, а это бич экономики, надо и это явление подвергнуть анализу,

ну, разумеется, и хулиганство — старая боль области...

Зигмунд Янович все говорил четко, Фетев не сводил с него блекло-голубых глаз, кое-что записывал и, когда Зигмунд Янович закончил, сказал:

— Не беспокойтесь. Все сделаю.

— А я не сомневаюсь.

Он на самом деле знал: Фетев сделает все быстро и хорошо, и когда они прощались, вздохнул: «Ах какой работник! Прекрасный работник, а сволочь. Жаль».

Потом был звонок в Третьяков Найдину, старик накинудся на него:

— Ну что, носатый бородавочник, выкусил? Я тебя по совести просил, а ты расфырчался, как замшелый законник. Теперь вот работай...

Лось слушал Петра Петровича, улыбаясь, знал: ругань Найдина — выражение дружелюбия...

Зигмунду Яновичу казалось, что после всего этого он уснет, принял снотворное, но сон не шел. Он намаялся в постели и сел к окну слушать ночной плеск дождя. Завтра же вызовет помощника, отдаст ему документы, велит срочно направить в прокуратуру республики... «Ну и что?» — подумал он и снова представил могучие бумажные курганы, возвышающиеся в старинном здании на Кузнецком мосту. Бумаги спешили, толкались, шуршали, как тараканы, когда их разводит множество. А ведь и его представление может попасть к какому-нибудь замотанному заму, тот черкнет: мол, пусть клерк рассмотрит; а тому тоже некогда, сроки жмут, он перелистает дело, наткнется на убедительные показания Кругловой. То, что она от этих показаний отрекается, может пройти и мимо клерка, и он напишет: дело пересмотру не подлежит, и сошлется на Круглову, а потом зам подпишет эту бумагу, и она недельки через две — все же прокурор области обращается, надо поспешить — опять окажется у него на столе. Разве Лось сам такие бумаги не подписывал, доверяясь работникам? Ну, что делать, во всем самому не разобраться.

Все-таки дочка Найдина что-то сдвинула в нем, только он еще не способен разобраться, что же именно. Но надо разобраться, надо... Было ведь время, когда работа казалась ему радостью бытия. Это происходило в шестидесятые, он был уже не мальчиком, а взбудоражился, совсем как юнец. Ему думалось: все его подпирают, все готовы помочь в поисках истины, поисках справедливых начал. Да и сколько сил, сколько тяжелого труда потрачено на пересмотр различных дел, но главным было не это, а желание повернуть людей к изначальности замысла, направленного к добру и всеобщей справедливости. Казалось, после тех мартовских дней тридцатилетней давности, когда мир содрогнулся от потери, обернувшейся обретением человечности и свободы, все пойдет путем справедливости, и жизнь вокруг была сплошным доказательством, что правду невозможно убить, она очень живуча, и приходит час, когда она наконец открывается людям... Ох, как же он тогда работал, как работал!

А что потом? Зажился на этом свете, устал? Да к черту все это! Ну, конечно, постарел, устал, но ведь не ушел, да и сейчас не может уйти. А кто может? Да, вокруг него старики, вроде мало их осталось, а все же... Вот и Первый. Его Зигмунд Янович сначала вообще не принял: тяжелое лицо с низким лбом, старомодная прическа «полубокс», он и сейчас ей не изменил, маленькие глаза в глубоких впадинах, имевшие свойство то скрываться под надбровными дугами, то внезапно сверкать тонкими ножевыми лучиками. Лось не помнил улыбки Первого, может быть, тот вообще не умел улыбаться. Когда Первый радовался, то лицо его делалось мягче. Он держался всегда особняком, никого к себе близко не подпускал, был молчалив, но не груб, на обсуждениях никого не обрывал, давал высказаться до конца.

Первый появился в обкоме, когда Лось уже был прокурором области, и ему сразу показалось — с этим человеком, прибывшим сюда из Москвы, он не сработается, слишком тот круто взял, пытаясь подмять всех под себя. На бюро Первый решительно бросил: «А вот этим займется прокурор», но Зигмунд Яно-

вич ответил: «Нет, я этим заниматься не буду». Все затихли, ждали гневной реакции. А речь шла о промыслах в колхозах, кое-кто усмотрел в этом незаконные действия, но Лось побывал в хозяйствах, убедился: тем колхозам, что занимались промыслами, иначе нельзя, им не подняться, они в долгах как в шелках, да и промыслы — дело нужное для области. Все это он выложил. Тогда взвился Второй: мол, прокурор либеральничает, играет в добряка, а сути экономической не понимает. Первый поморщился, сказал: «Все товарищ Лось понимает. И доказал... Будем думать об этих колхозах». Потом было еще много такого, когда Первый принимал позиции прокурора, и Лось понял: тот старается быть объективным... Эх, какая же у них была область! И промышленность они подняли, и колхозы одно время расцвели. А потом все начало буксовать, заводы стали давать сбои, оборудование у них старело, от министерств помощи никакой, а из деревень потек народ на стройки... Ветшало хозяйство, и все происходило на глазах, из магазинов стали исчезать товары, денег все меньше и меньше шло на благоустройство деревень и городов, а преступность росла... Хозяйственники финтили, приписывали, облопошивали друг друга. Во главе хозяйств возникали бойкие людишки, умеющие громко говорить на собраниях... Медленно, как песок, утекало все, чем славны были прежде; в круговерти повседневной и не замечалось, как все ветшало. Лось даже не уловил момента, когда движение остановилось и все стало затягиваться ряской, а оглянувшись, ощутил — он уже постарел и устал. Может, и Первый устал? Потому так молчит на заседаниях, только хмурится? Область ни плохая ни хорошая, держится на плаву — и ладно, и появилось это словечко — стабильность, в него вкладывали особый смысл: не надо перемен, если они начнутся, люди, привыкшие к своим местам, могут покинуть их, а все себя считали важными и нужными... Стабильность, стабильность, стабильность! Пусть будет всегда так, как есть. А он — Зигмунд Янович Лось — стар, болен, хватается то за одно, то за другое, суета сует. Да и к чему стремиться? Более ведь в жизни ничего не дано, только финал маячит впереди, добрести бы до него достойно... Вот началось было дело на мясокомбинате, но приехал к нему Второй, сказал: не раздувай, Зигмунд Янович, зачем позорить область, сами справимся, турнем директора. Турнули и посадили на молокозавод, а дело утонуло... Да мало ли о чем просили в обкоме, и он соглашался. И в самом деле — области и так худо, с трудом выколачивают деньги и фонды то на одно, то на другое, а если возникнет громкое дело, известное на весь Союз, то всегда могут ткнуть в него пальцем, сказать: как же вам давать-то, коль у вас все это разворачивается, наведите у себя порядок, тогда и дадим, и оставяйся область без фондов... Стабильность!.. Вот что случилось. Ведь Фетева ему порекомендовал Второй. Как же тяжело все это перебивать в уме! Но жизнь свою обратным ходом не пустишь.

Он уснул в кресле подле раскрытого окна, а проснулся с тяжелой болью в боку, надо было снова вызывать врача. Он позвонил в поликлинику, потом помощнику. Тот появился, когда над Зигмундом Яновичем хлопотали врачи. Однако же Лось попросил их выйти на минутку, передал пакет помощнику, наказал: пусть вылетит сегодня в Москву, попадет к заму, фамилия которого указана на конверте, а устно скажет: мол, Зигмунд Янович его просит заняться всем этим лично, никому не передоверять, в этого зама, своего старого знакомого, Лось верит. Помощник пообещал, что все так и сделает. Зигмунд Янович почувствовал тяжелую тошноту...

5

Шли дожди, потом выпал первый снег, укрыл вершины хмурых сопок.

Комнатенка за классом еще хранила следы прежнего жильца; была она хмурой, узкой и сыроватой, но все не барак, и койка, а не нары — учитель входил в некое элитарное звено колонии. Майор оказался прав: хлеб этот нелегок, потому как на занятиях

собирались люди с трехклассным образованием, а если и с семилеткой, то полные тупицы. Все они считали занятия чем-то вроде раздыха, и плевать им было, что учителю необходимо выдолбить им в головы хотя бы начальные знания, ведь к концу года будет комиссия, и, если обнаружится, что Антон их ничему не научил, с него спросят. Держать этих людей в повиновении и заставлять считать и писать стоило трудов, но все же у него был морской опыт. На первых же занятиях он пересадил по-новому своих учеников, чтобы быть гарантированным от внезапной драки или еще чего-нибудь такого.

Он считал — ему повезло. Отлежался после приступа, не попал в больницу, сделался учителем, жить можно. А главное, у него оставалось время на раздумье, можно было не спеша перебрать все события, происшедшие с ним, заново. В первые дни он более всего думал о Потеряеве. Он помнил этого здорового мужика с детства, как и многих заводских. Ведь Антон пошел на подсобное не случайно, предлагали совхоз, но он знал — не потянет, еще не готов к такому, даже окончив курсы, а вот в подсобном мог поднабраться опыта. Началось, конечно же, с неприятности. Разделявали быка для столовой, и тут явился шофер Селиванов, для него был готов пакет с вырезкой. Антон это увидел, заинтересовался: для кого? Ему объяснили — так давно повелось, директору посылаем, ну, иногда и главному инженеру. «Ну что же», — сказал Антон, взял пакет, поехал к Потеряеву, вошел к нему с Селивановым, положил пакет перед директором.

— Послушай, Александр Серафимович, ты Селиванова за этим посылал?

Потеряев посмотрел на мясо и внезапно покраснел. Было даже странно видеть, чтобы такой здоровый мужик мог краснеть как мальчишка, но он тут же опомнился, кивнул Селиванову:

— Выйди.

Шофер покорно закрыл за собой дверь. Потеряев встал, одернул куртку, которую, кажется, не снимал никогда, прошелся по кабинету, заложив руки за спину.

— Не я, конечно, посылал. Жена. Но не в том суть... Вина моя.

Антон спокойно наблюдал его и так же спокойно сказал:

— У нас, Александр Серафимович, хозрасчетное хозяйство. Мы договаривались твердо: ни грамма на сторону. Все идет рабочим и инженерам, в первую очередь в столовые горячих цехов, потом в ларьки «Кулинария». Там везде рабочий контроль...

— Да что ты мне об этом! — вспыхнул Потеряев. — Я ведь тебя сам прислал.

Тут Антон чуть не рассмеялся: а ведь странная создалась ситуация. То, на чем настаивал Потеряев, он сам же и подчеркивал, пусть по мелочи, пусть под влиянием жены. Ведь когда Антон шел к нему, Потеряев говорил: до подсобного руки не доходили, а надо рабочих как следует кормить, город снабжается плохо. И просил: ни куска городским чинушам, важно, чтобы рабочий завода знал — это все для него, тогда он еще больше свое место ценить будет.

— Ну ладно, — вздохнул Антон и шагнул было к двери.

— погоди, — попросил Потеряев. — Ты это, — он указал на мясо, будто то была какая-то пакость, — заberi. Больше такого не повторится...

Антон взял мясо, сказал:

— Знаешь, Александр Серафимович, на пароходе капитан со всеми офицерами в кают-компании обедает. Это издавна на торговом флоте. Может, и нам кают-компанию соорудить? А то ведь нехорошо, когда тебе из столовой сюда отдельный обед несут.

— На черта мне твоя кают-компания! — разозлился Потеряев. — Буду в общую ходить. Да заодно узнаю, как ты народ кормишь.

Антон довольно рассмеялся:

— Ну вот и договорились.

Этот случай был всего лишь началом их добрых отношений. Через несколько дней Потеряев появился в Синельник посмотреть, что Антон там делает. А сде-

лали они к тому времени много, хотя работников было раз, два — и обчелся, больше из крохотной деревеньки Управки. Наверное, это прежде и не деревенька была, а дома, где размещалась челядь управляющего — владельца прекрасного дома в таком расчудесном месте. Они и коровник привели в порядок, и свинарник. Работалось почему-то легко и весело. Заком присылал людей на подмогу, они прибывали семьями, знали: Синельник — место светлое, здесь и покупаться можно и отдохнуть после трудов. Команду над людьми взял на себя Сашка-Афганец, ростом с Потеряева, широкогрудый, с черными усами под горбатым носом, ходил в замызганном синем берете, старой гимнастерке, при тельняшке. Он с первых дней, как увидел Антона, признал в нем своего — способствовала тому, как это ни смешно, тельняшка, в которой Антон вышел умыться. Сашка никогда не плавал, служил он в десантных войсках, но любил выставлять себя флотским, был в Афганистане, потому и прозвище заработал, там пробили ему легкое. Врачи посоветовали пожить в Синельнике. Как же им было не сблизиться?

Сашка работал трактористом. Когда Антон туда приехал, началась пахота. Вечером Антон объезжал верхом поле, увидел брошенный трактор, приблизился к нему. В глаза ударила надпись: «Мина! Не подходи — разнесет!» Рядом с кабиной лежало нечто круглое, окрашенное в светящуюся оранжевую краску, торчали провода. Антон пригляделся и без труда обнаружил, что этак расписана обыкновенная круглая банка из-под смазки, рассмеялся, поехал в Управку, нашел Сашку.

— Ты что людей пугаешь?

Сашка сразу понял, в чем дело, показал ряд белых крепких зубов, гоготнул:

— А будто я тутешний народ не знаю. Не пугни — раскулачат вмиг. Мне машину гнать на базу — горячее жечь попусту. Пусть конь там пасется... А людишки знают: я десантник, и не такую мину могу срабатывать.

— Краску у дорожников добыл?

— У них. А вы глазастый. Сразу видно — моряк.

— Ну, а если еще кто такой попадет? Он же твоего коня уведет.

— Не-а, — решительно сказал Сашка. — Сельский человек писаному верит.

А когда приехал в Синельник Потеряев, Сашка отвел Антона в сторону, шепнул, подмигнув:

— Я этого директора враз приручу. Он же азартный.

— А ты откуда знаешь?

— Армия и не такому научит.

Антон и опомниться не успел, как Сашка подкатился к Потеряеву:

— Осмелюсь доложить, товарищ директор, — рявкнул он по всей солдатской форме. — Тут у нас, однако, и окурек берет, и щучка. Речка не за горами, чиста, не загажена. Вон уж вечереет. Посидим часок?

Антон было рассердился на наглость Сашки, но тут увидел, как дрогнуло лицо Потеряева, как зажглись его темные глаза:

— Так ведь снасти...

— А это не извольте беспокоиться. Все на берегу имеется.

Черт знает этого Сашку-Афганца, но все было, как он указал: быстро прошли к реке, к тому месту, где пала ветвями на воду ива, там был омут, Сашка раздвинул кусты, вынул из тайника футляр, а в нем складные удочки, раздал их, подмигнув лукаво:

— Делайте свои ставки, господа!

Они и впрямь тогда славно порыбачили, варили уху на берегу, Потеряев был счастлив, обещал:

— На недельке вечерок выкрою.

Когда он уехал, Антон стал допытываться у Сашки:

— Ты все же объясни, как его страсть угадал?

Но Сашка только похихатывал в усы:

— Рыбак рыбака...

Во время одной из рыбалок Вахрушев изложил Потеряеву свой план: соорудить в старом доме управляющего заводской дом отдыха, можно и профилак-

торий, доставлять сюда после смены людей, особенно из горячих цехов, хорошие заводы давно имеют такое. Важно начать: если дом отдыха будет пользоваться популярностью, можно затем и домики поставить для семей, места ведь здесь золотые, и кормить людей есть чем. Сооружать же дом отдыха надо своими силами, завком поможет. Потеряев даже взволновался:

— Да как я, черт возьми, раньше до этого не допер! В первое же воскресенье начнем...

Какой это был славный день! Приехали люди, плотничали, столярничали, клали стены — дом управляющего обновлялся. Потеряев тоже явился, был он в солдатской робе, таскал кирпичи. А потом обед накрыли за длинным дощатым столом под деревьями, завком денег на обед дал. Сашка-Афганец охрип в этот день, он во все лез, взял власть в свои руки и командовал, все у него получалось.

— Видал, какое дело разворошили, — сипел он в лицо Антону. — Жи-и-вем!

Вот там, во время обеда, и возникло: «Дорога!» Все хорошо, а возить людей сюда по проселку скверно, будет дорога — пустим автобус. И Потеряев рявкнул: «Будет дорога!»

С этого и началось все, с обыкновенной человеческой радости, с желания облегчить жизнь людей, стоящих у горячих печей, ввести в будни праздники.

Приехал верткий человек из доростра, подкасал: возьмите договорную бригаду. Взяли. И Круглова, прежде чем оформить договор, по настоянию Антона ездила в область к юристам на консультацию. Явился в Синельник крепкие люди во главе с бригадиром Урсолом. Антон пытался с ним поговорить, но тот был скуп на слова. Только и узнал Антон, что семья у этого человека большая, двое сыновей здесь, в бригаде, для всей семьи нужно построить, троих дочерей отправить учиться в город, вот и приходится вкалывать на всю катушку. Иногда они приглашали Антона на свой молчаливый ужин, варили в казане мамалыгу, вываливали ее, золотистую, на доску, резали ниткой, макали в чесночный соус. Антону нравилась эта тихая трапеза изработавшихся за день людей, которым на сон оставалось четыре часа.

Сашка-Афганец заходил от удовольствия, глядя на их работу:

— Вот дьяволы, ни одного движения лишнего не делают. И все под рукой. Ничего искать не надо. Да мне бы роту таких, я бы до столицы шоссе шу!..

Когда на суде читали обвинительное заключение, Сашка-Афганец гаркнул:

— Врехня! Ложь! — И его вывели из зала.

После приговора Антон получил от Сашки небольшую посылку и записку: «Я эту сволочь третьяковскую ныне люто ненавижу. Увольняюсь по собственному и рву когти, а то еще беды наделаю. Возвращаетесь — и я возвращусь».

А вот Потеряев на суд не пришел, да и пока длилось следствие, до ареста Антона не появлялся. А ведь должен был Александр Серафимович явиться на суд, но... Была в его уходе от этого дела одна особенность: хоть Антон считал его хорошим человеком и директором умным, но, видимо, жизнь приучила Потеряева не идти прямой дорогой, а искать пути обходные, потому что усвоил: лобовая атака в делах — всегда проигрыш, неизбежно натыкаешься на множество закорючек-колючек, через которые не проваться, гиблое дело, лучше всего обойти стороной... Однако же все это понял Антон только в колонии. Здесь он встречал таких, кто пытался прорваться вперед именно напрямую во имя блага людей, но попадал в заранее уготованные рвы. Вот хотя бы тот психованный председатель колхоза, что накинута на Антона в первые дни на лесоповале, а потом сидел у костра, плакал и рассказывал, как построил негодный животноводческий комплекс. Он и другое рассказывал: бился, бился, чтобы поднять колхоз, наконец уродило богато, а убирать не могут, проклятые комбайны «Нива» выходят из строя, хоть умри. Уж снег выпал, задули ледяные ветры, а хлеб еще стоит, не гнить же ему, пустыли комбайн, а комбайнер в этой «Ниве» пока от края поля пройдет к другому краю —

у него руки-ноги от холода скрючит. Вот председатель и ждал на краю эту «Ниву»; дойдет она до него, он из бутылки стакан комбайнеру наливает, чтобы тот хоть согрелся... Ему и это на суде припомнили.

Антон и себя мог причислить к таким, кто лез напрямую за истиной, но это было не совсем так. Он ведь только начал свою работу, только еще по-настоящему разворачивался и никому не мешал. Он не замахивался ни на какое крупное дело, которое могло бы ущемить чьи-то интересы, он лишь учился хозяйничать умно и серьезно, и потому с ним лично не зачем было сводить счеты даже Трубицыну, Антон ничем серьезно ему не угрожал. Так что же произошло? Почему оказался здесь?

Размышляя, он понял: на его месте мог оказаться и другой. Людям, которые были облечены властью, необходимо стало показать, что они не отстают от веяния времени, иначе их попрекнут, и серьезно, будто они не понимают процесса. А этого допустить нельзя, и, если в других областях успешно велась борьба со взятками, то такая борьба должна была пройти и по их области, и надо было поспешить с ней, в скачке нельзя отстать, сомнут. Искать же истинное всегда трудно, а сроки не ждут. Чтобы результаты поторопить, и существуют такие, как Фетев.

Да, Антон нашел разгадку. Она не облегчала его участь, но даровала надежды: всякое нечестное рано или поздно выявляется, обнажая свою скверну, но произойти это может далеко не сразу. Антон и терпел, хотя разослал повсюду письма, — да ведь их рассылают почти все, оказавшись в колонии. Он терпел и познавал окружающее, чтобы, когда выйдет на волю, продолжить свой путь уже опытным и сильным, которого вот так просто, как случилось, в угол не загонишь. У него были надежды, терпение и Светлана, а это не так уж и мало.

6

То, что поначалу казалось чуть ли не решенным, наткнулось на множество преград. Петр Петрович приехал в Москву, понимая, как нужен Светлане. За месяц произошло немало событий: умерла Вера Федоровна Круглова от внезапной остановки сердца во сне, наверное, не выдержала тяжкого гнета, навалившегося на нее; Лось лежал в больнице, и к нему не пускали; в Третьякове и области все напряглось в ожидании перемен, потому что на пенсию был отправлен Первый, снят с работы Второй.

На похороны Кругловой собрался чуть ли не весь город. Когда отошли от могилы, Найдин дал Потеряеву копию письма Веры Федоровны.

Александр Серафимович побагровел, круто сдвинул брови, сказал: теперь и на нем вина, он от нее не отрекается, и всем, чем может, готов помочь. На что Найдин хмуро ответил: пусть сначала позаботится о семье Кругловой, о детях ее и муже.

В Москве Светлана встретила отца на вокзале, он сразу отметил, что ее взгляд посуровел; дорогой она рассказывала, как тяжело пробивалась из одного кабинета в другой, на завтра у нее назначена встреча на Пушкинской улице, она добилась ее, записав и Найдина на прием, но и это далось нелегко.

Их принял невысокий, очкастый человек, сообщил, что дело сложно, у них всего лишь отказ от показаний одного из свидетелей, которого уже нет в живых. Найдин заговорил резко: они ведь и не просят ничего, а лишь проверки; на что невысокий ответил: не торопите, уж очень ныне трудное время.

Они вышли от него, прошли к скверу у Большого театра, Найдину захотелось там побыть — много лет назад он приезжал в этот сквер в майские дни.

Они сидели на скамье, за сквером двигался густой поток машин, солнце дробилось в мощной струе фонтана, а Найдин слушал, как Светлана говорила; дело теперь не только в Антоне — нельзя дать победить в этой скачке тем, кто мешает обнажить истину.

Он слушал ее, и, как уже бывало, ему виделась Катя... Надо бежать через поле, если не добежишь, то не будет связи, а без нее не выиграешь боя.

Могучий шум обтекал деревья, бил фонтан, и лепетали листья сирени.

ВНОВЬ НАКОПИЛОСЬ ТИШИНЫ НА СЛОВО...

Было это в 1974 году. Между Борисом Александровичем Покровским и Дмитрием Борисовичем Кабальевским произошел разговор — знаменитый театральный деятель укорил не менее знаменитого композитора: «И почему это никто из вас, композиторов, не напишет камерную оперу под квартет или трио?» На что последовал ответ: «Да потому, что это невозможно».

А буквально через несколько дней к Б. А. Покровскому, в то время главному режиссеру Большого и Камерного музыкального театров, пришел молодой композитор, еще студент консерватории, Глеб Седелников, и предложил оперу «под квартет». Да какую оперу!..

14 декабря 1975 года на сцену модного и престижного Камерного театра вышли двое бедных, несчастных людей — Варенька Добросёлова (Мария Лемешева) и Макар Девушкин (Эдуард Акимов) и... квартет. Премьера оперы «Бедные люди» по Достоевскому. Из пятидесяти пяти писем Г. Седелников оставил тринадцать. Никаких декораций (два стула, два столика), никаких сценических эффектов. Что же заставляет так чутко слушать? Сопереживать? Сострадать? Именно сострадать, несмотря на всю далекость от нас этой, по нашим временам, мелодрамы?

Музыка. В ней все: и старый Петербург доходных домов и нищих кварталов, и все, что не могут выразить слова — что где-то за строкой и между строк, и невыносимая боль бедных людей, и всегда нас тревожащая болезненность Достоевского.

В 1978 году на международном конкурсе в Праге «Бедные люди» Глеба Седелникова были удостоены первой премии.

Что дальше? Кто? Может быть, опять Достоевский? Уже накоплен большой музыкальный материал для «Идиота». Пожалуй, если отложить все прочее, то... Но человек — сосуществование противоречий.

Следующим стал «Медведь» по Чехову — опера комическая.

Есть сорт людей, которые считают своим правом оскорбляться за великих писателей, композиторов, народ: мол, обработка народной песни — кощунство, пение не на языке оригинала — осквернение, перевод с языка прозы на язык оперы или балета — издевательство. Конечно, не всякая попытка удачна. Случаются и кощунство, и осквернение. Но, судя по тому, как принимают зрители оперу «Медведь» в Ленинградском театре музыкальной комедии, Глеб Седелников и на этот раз справился с труднейшей, деликатной задачей.

Опера написана в традициях старинных «мюзик-спилов», где пение чередуется с разговорами. Много выдумок, находок. Увертюра в виде дивертисмента из трех звонков: первый — итальянская серенада в честь почтеннейшей публики, второй — сосредоточенное размышление о предстоящем спектакле, третий — быстрый галоп для тех, кто запаздывает к началу... Появились новые действующие лица — лошадь Тоби (милое колоратурное сопрано), оживший портрет, служанка Пелегея, поющие дирижер и режиссер.

Благополучная судьба у этого спектакля. Большой, даже редкий успех. Редкий, к сожалению, не только в смысле значительности успеха... Вот уже шесть лет ждет написанная по заказу Б. А. Покровского опера «Родина электричества», вещь сложная уже потому, что это — Андрей Платонов.

Впрочем, Глебу Седелникову грех жаловаться — многие его сочинения в самых разных жанрах изданы и исполнены. Среди последних «Солдат мой, солдатик», концерт-действие для женского хора без сопровождения, в котором довольно много стихотворного текста, написанного... самим композитором.

Стихи Глеба Седелникова необычны. Познакомьтесь с ними.

Эмиль КОТЛЯРСКИЙ

Глеб СЕДЕЛЬНИКОВ

Вновь накопилось тишины на слово...

Все медленней вращается Земля:
Все больше у нее воспоминаний.

Весна — ответ зимы на все вопросы.

Ведь можно так слова расположить,
Что всем на свете будет хорошо.

Проснулось время — и тянется...

От августа так тихо, так тепло.
От августа так вечером, так вечно!..
Так луково, капустно, огуречно...
Так опьяняют августа уста!..

Две осени через дорогу
Так нежно смотрят друг на друга.

Вокруг любви столпились люди:
Как поделить ее на всех?
По-видимому, так и будет
Неразделенною Любовь.

Дальше себя не уедешь,
Раньше себя не сойдешь.

Звенит весна! Как будто сердцем
Ударили о сердце!..
Звенят сердца! Как будто бьют
Весною о весну!..

Рядом с моей вершиной
Пропасть моя растет...

«Запеть бы!» — тихо пауза мечтает.

Сколько слов о любви написано!..
Не о моей любви.

Тоска... По тому, кто рядом —
В следующем тысячелетии.

Вся-то осень — с опавший лист.

Самой короткой дорогой —
Жизнью моей иду.

Как в раковине жемчуг — я в тебе:
Расту и радуюсь!

Знакомство наше хочет вновь родиться
И услышать опять свой первый крик.

Как долго по дороге я иду!
А все еще я около себя.

Высохли лужи, в которых
Ноги ты промочила,
Когда прибежала ко мне
Сказать, что кончился дождь...

Хотелось о тебе, а получилось
О том, как не могу я без тебя...

Меняю час на шестьдесят минут:
Всегда мне сдачу с часа не дают.

Сидит Нельзаян на моем плече.
Нельзаян, здравствуй! Как живешь, Нельзаян?
В порядке ли, скажи, твое нельзайство?
Здоровы ли Нельзаяиха, Нельзайчик?

Твоя тишина нарушает мою тишину...

Морщины строк...

А жизнь-то состоит из двух-трех дней,
А остальные — так, на всякий случай,
Чтоб этих самых главных два-три дня
В другие дни еще раз пережить.

С этой очередью не знали, что делать.

Кое-кто, правда, утверждал, что делать ничего и не нужно. Что она, очередь, была здесь якобы испокон веку, что родилась раньше тех, кто стоял в ней. И что это неизбежность, неотъемлемая деталь, атрибут пейзажа...

Однако такая версия не всех устраивала.

Очередь ублажали обещаниями, мол, не за горами день, когда этого, за чем она вытянулась, будет навалом. И что следует жить будущим, а не пристраиваться в хвост нашим отдаленным недостаткам.

Ей нашептывали, что употреблять это небезвредно, что оно вызывает склероз, преждевременное ожирение и еще что-то. И вместо того, чтобы выстаивать в полной неподвижности, куда как полезнее побегать трусцой или понырять в проруби.

Ее испытывали на прочность, повышая цены на это в два, в три, в четыре раза. Когда по ней жахнули пятикратным повышением, очередь как бы призадумалась. А после еще одного витка облетела, как клен в студеную ночь.

Однако ствол и ветви «дерева» сохранились и уже вскоре вновь начали обростать кроной.

После этого очередь зауважала.

Ее еще раз пересчитали с применением ЭВМ, взвесили с применением лазеров, определили длину, ширину, занимаемую площадь.

Скоренько разбили всех по парам — девушку с юношей, женщину с мужчиной, бабушку с дедушкой. Парам раздали брошюры и прочитали курс лекций: молодым о гигиене, зрелым о благотворном влиянии супружеских уз на нервную и эндокринную системы, пожилым об исключительной экономии совместной жизни.

Очередь сразу убавилась наполовину, а несколько пар, смущенно улыбаясь, удалились в неизвестном направлении.

Но это, увы, погоды не сделало.

Тогда очередь выстроили колонной по восемь человек, вручили ей транспаранты, врубили бодрую музыку и обязали переступать ногами. Сходство с праздничной демонстрацией было стопроцентное, кроме одного досадного обстоятельства — очередь и без того стояла на месте, а теперь она делала это в восемь раз медленнее. Хотя и маршировала.

Время от времени находились теоретики, утверждавшие, что не-

Владимир КАДЯЕВ



Фельетон

обходимо заглянуть ей в корень. Всякий раз очередь доверчиво расступалась, те проходили, смотрели, даже притрагивались к сложным переплетениям, но вскоре, бормоча под нос что-то невнятное и отводя взоры, исчезали, унося с собой надежды на перемены и кое-что под мышками.

Между тем общественная жизнь очереди в отличие от нее самой на месте не стояла. У нее появилась своя стенгазета «Дни и ночи», где помещались заметки о должностях, которые, уважая законы очереди, стояли в ней с молодых ногтей, и свой «Прожектор», который ярко высвечивал норовивших обойти очередь. А товарищеский суд, заседавший практически без перерывов, сурово наказывал проныр, на разные сроки изолируя их от очереди и конфискуя это, если те успевали получить.

Вокруг очереди, помимо ряда заинтересованных ведомств, хлопотало Управление среднего специального и высшего образования. Поэтому очередь неуклонно расширяла свой кругозор и повышала образовательный ценз. А некоторые, как говорится, не отходя от кассы защитили кандидатские и докторские диссертации, после чего из весьма непрезентабельных «крайних» превратились в начиненных знаниями патриархов, чья очередь была уже на подходе.

Управление здравоохранения, встревоженное изрядным скоплением людей, ударило в набат. В кратчайшие сроки вся очередь прошла флюорографию и сдала, что надо, на анализ.

Писатели брали творческие командировки в очередь и со смиренным видом обычных смертных внедрялись в ее ряды.

А Илья Штемлер накатал очередной бестселлер, который оригинально назвал «Очередь». Переминаясь с ноги на ногу, очередь теперь читала роман о самой себе и с нетерпением ждала встречи с писателем, которому собиралась задать всего один вопрос — когда этого будет, как обещали, навалом и очередь наконец иссякнет?

Этот же вопрос не давал покоя ответственным за очередь, то бишь за ее отсутствие. Дело скорее всего закончилось бы скандалом, если бы кого-то не осенило: очередь — это ж прекрасно!

Во-первых, она живая и, главное, совершенно бесплатная реклама, свидетельствующая о том, что это у нас есть. А значит, можно говорить об увеличении его производства, совершенствовании организации, реорганизации, модернизации и т. д., и т. п.

Во-вторых, хотя и стихийные, но это массы. И они, пока стоят, от нечего делать общаются — знакомятся, женятся, рожают и даже воспитывают детей, устанавливают трудовые рекорды, делают передовым опытом и планами на будущее. Плохо это? Хорошо. Даже очень!

На том и порешили — очередь пока не трогать. Но сделать решительно все, чтобы пребывание в ней приносило обитателям удовлетворение, а то и радость.

Вдоль очереди разбили тенистый сквер, открыли сеть газетных киосков, столовые, шахматные павильоны; торжественно разрезали ленточки перед кинотеатром, сауной, профилакторием с функциональной музыкой и прекрасно оборудованной грязелечебницей.

Теперь в очереди стало, как в санатории.

Люди имели возможность присесть, прилечь, покурить газетой и при этом соблюдать график процедур; молодежь по вечерам отлучалась в кино и на танцплощадку; любители развлечений охотно играли в «ручейки»,

«третий — лишний», «бутылочку»... Но особенной популярностью пользовался «испорченный телефон». Хотя он повторял одни и те же ставшие дежурными шутки — для первого «Вы здесь не стояли!», для последнего «Э то кончается, просьба не занимать», — они неизменно вызвали бурную реакцию.

Очередь заметно повеселела.

Ответственные за очередь, то есть за ее отсутствие, облегченно вздохнули и занялись решением других, более насущных проблем.

г. Саратов



(Из писем Л. Макеева)

«Уважаемая редакция журнала «Здоровье и сила»!

Пишу вам, потому что моя гражданская совесть клокочет, а органы правосудия не понимают меня. Неоднократно обращался я к ним по поводу моего соседа по лестничной клетке гражданина Почкина. Что касается других редакций, то они больше не отвечают мне.

Гражданин Почкин регулярно притаскивает в дом новые дорогие вещи. За последние два года он приволок: женскую шубу, пылесос, мужское пальто, электробритву, костюм, сандалеты и многое другое. Я подсчитал, что при его скромной зарплате ему пришлось бы работать 127 лет для того, чтобы все это купить.

Вчера Почкин приволок цветной телевизор. Я этого не вынес. Дрожа от гнева, я подскочил к нему и, глядя прямо в глаза, спросил, откуда у него взялись такие деньги. Почкин, нагло усмехаясь, ответил мне, что ему бабушка оставила наследство.

Врет он! Не было у него никогда ни одной бабушки! Секрет заключается в том, что он работает на складе зубных щеток. Сама собой напрашивается мысль, что он ворует зубные щетки и продает их по баснословным ценам.

Наблюдая за счастьем и быстро растущими потребностями этого спекулянта, я облысел и высох, как деревце в засуху. Поч-

кин же наоборот — округлился и зарумянился. Меня мучает одышка и сердцебиение. Я увядаю, мучаясь от своего бессилия.

Страдающий Макеев».

* * *

«Уважаемый тов. Макеев!

Мы советуем вам принять поливитамины. Что касается бега трусцой, то об этом вам необходимо посоветоваться со своим лечащим врачом.

Сотрудник редакции Попов».

* * *

«Дорогие «Здоровье и сила»!

Здоровье утекает из меня, как воздух из воздушного шарика. Сегодня утром сердце мое сжалось в предчувствии недоброго, и недаром: Почкин купил себе мотоцикл без коляски.

До каких пор органы правосудия будут равнодушно наблюдать за тем, как режется этот хищник! Когда я умоляю милицию арестовать его, мне отвечают, что для этого нужны улики. Да какие нужны еще улики, если вчера этот Гобсек притащил в свою нору на пятом этаже новую виолончель!

Сердце мое обливается кровью. Почему общественности связывают руки?

Слабеющий телом, но находящийся на страже нашей законности Макеев».

* * *

«Уважаемый тов. Макеев!

Вероятно, вам нужно сделать электрокардиограмму, но для этого обратитесь в районную поликлинику.

Сотрудник редакции Попов».

* * *

«Уважаемые «Здоровье и сила»!

В районной поликлинике мне сделали анализы крови и мочи, но мне лучше не стало.

Сегодня после обеда я вздохнул с облегчением, так как придумал хитроумную операцию для того, чтобы вывести спекулянта Почкина на чистую воду.

После ужина я подошел к Почкину во дворе и спросил его заговорщическим голосом, не поможет ли он мне перепродать японский магнитофон.

Почкин фальшиво выпучил глаза и отшатнулся от меня.

— Не помогу, — пробормотал он.

Конечно, я на мгновенную удачу и не рассчитывал: Почкин же еще не доверяет мне. Когда я шепотом добавил, что от этой сделки и он получил бы полсотни, глаза его вспыхнули. Через час я пришел к нему в квартиру, отозвал в туалет и предложил перепродать американские джинсы. Он понимающе ухмыльнулся и сказал, что подумает, тогда я сунул ему сверток с джинсами.

У меня руки чешутся!

Общественник Макеев».

* * *

«Дорогие «Здоровье и сила»!

Пишу вам из камеры предварительного заключения. Сегодня меня арестовали, так как вероломный Почкин донес на меня в милицию. Таким образом он решил убрать меня с дороги.

Очень прошу вас написать в милицию, что я не спекулянт, а общественник, и выводил на чистую воду хитрого Почкина.

С надеждой подследственный Макеев».

Рисунок И. Оффенгендена

С ЛЮБОВЬЮ К ИНДИИ

Когда слышишь слово «керамика» — сразу представляешь себе вазы, другие некрупные предметы быта... Но существует еще и керамика общественных интерьеров, в которой так нуждаются сегодня безликие массовые застройки наших городов.

Заслуженный художник РСФСР Валерий Малолетков — безусловный лидер московской школы керамистов. Круг тем этого художника трудно уложить в короткий перечень.

В Индии Валерий Малолетков впервые побывал в 1980 году. Зная английский язык, он смог путешествовать один. Пересек Индию вдоль и поперек. Смотрел храмы, разрушенные сотни лет назад, был в Центре космических исследований, на деревенских праздниках и кремациях на берегах священного Ганга, слушал гениальную музыку Рави Шанкара и беседовал со Свято-славом Рерихом... «Когда я вернулся из Индии, мне пришлось заново пересматривать все, что ранее казалось вполне ясным: понятия гармонии, любви, добра, отношение к искусству прошлого и современности».

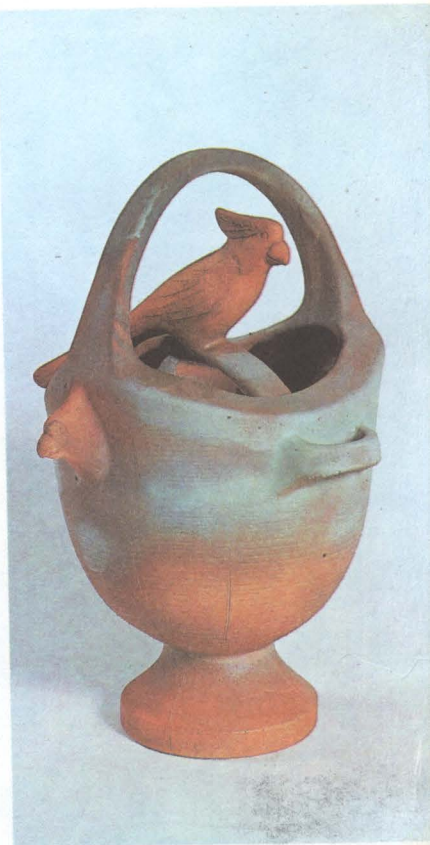
Вторая поездка в Индию состоялась через четыре года. Теперь Валерий уже знал, что его интересует больше всего. Он изучал традиционную культовую индийскую скульптуру и философию, старался постичь всю глубину великой индийской культуры.

Если после первой поездки он создал работы, передающие яркие эмоциональные впечатления — «Диалог», «Жажда», «Дождь в Джайпуре», то теперь, посетив Индию вторично, он попытался проникнуть в тайны, скрытые от глаз праздных туристов. Так появились «Женщины Индии», «Художник и философ», «Две культуры», «Священные воды Ганга»...

Ирина Титова.



Дождь в Джайпуре.
Керамика.



Одинокий попугай. Керамика.

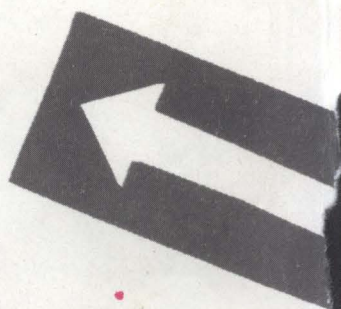
Экспозиция выставки
в Музее народов Востока.



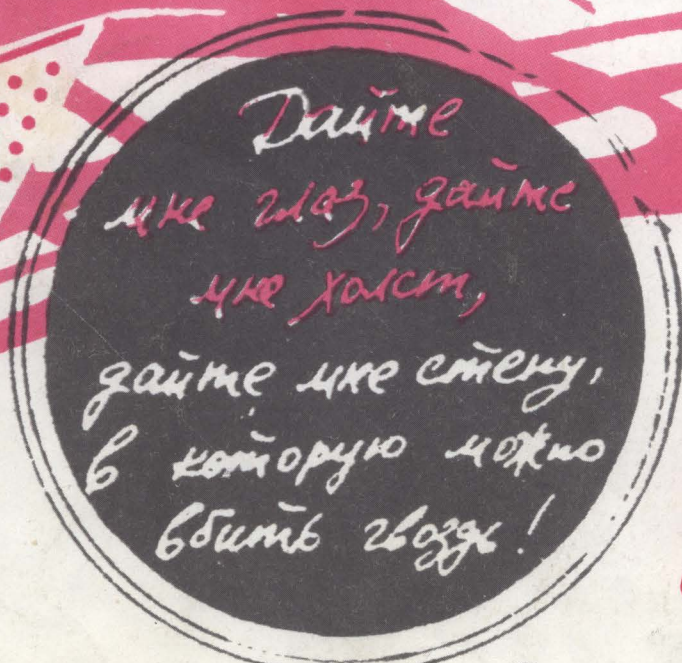


ПОК

АВМОТРАФ



ВЕРБЛИД



ГРЕБЕНЩИКОВ Б.